Исцеление в Елабуге

Отто Рюле

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Мемуары известного немецкого антифашиста Отто Рюле – это правдивый и интересный рассказ очевидца о разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом и пленении многотысячной армии Паулюса, это откровенная исповедь об исцелении от «коричневой чумы» тысяч немецких военнопленных и обретении ими здравого смысла, человеческого достоинства и родины.

- Часть первая
  - В железных тисках
  - Сомнениям нет конца
  - Ультиматум
  - … До последнего солдата
  - Бегство в город
  - Конец
- Часть вторая
  - С неизвестной целью
  - «Хирургический конвейер»
  - Еще один враг – сыпной тиф
  - Клише не годится
  - Без должного масштаба
  - Красные сигналы
- Часть третья
  - Люди на другой стороне
  - Начало выздоровления
  - Призыв к действию
  - Надежды и треволнения
  - Интермеццо
- Часть четвертая
  - Немецкая история на перекрестном допросе
  - Поздние признания некоторых генералов
  - Прозрение
  - Наши учителя
  - Новая Германия
  - Багаж человека, возвращающегося на родину
- Примечания

Часть первая
На берегах Волги

В железных тисках

20 ноября 1942 года на дивизионном медпункте, расположенном в Городище, среди солдат и офицеров санитарной роты распространился слух о том, что части Красной Армии с правого берега Дона перешли в наступление, обратив в паническое бегство румынские войска. Никто не мог сказать, откуда пошел этот слух и соответствует ли он действительности. Ни один человек на медпункте не знал, что противник начал невиданное до сих пор по своим размерам наступление еще 19 ноября.

С самого утра несколько часов подряд со стороны советского плацдарма у Серафимовича и Клетской грохотали пушки, ухали минометы и визжали «катюши», обрушивая на головы иноземных захватчиков тысячи тонн раскаленного смертоносного металла. Особенно трудно приходилось 6-й немецкой армии на левом фланге и примыкающей к ней 3-й румынской армии, полосы обороны которых были в одинаковой мере растянуты. Кроме того, своих союзников немцы не обеспечили ни нужным количеством тяжелой артиллерии, ни современными средствами борьбы с танками. Огневая мощь румынских дивизий была в три раза слабее немецких, что облегчило советским ударным армиям прорыв фронта румынских войск и стремительную переброску своих бронетанковых сил сначала в южном, а затем и в юго-восточном направлениях.

В первый день наступления, к вечеру, передовые части Красной Армии вклинились в румынскую оборону на глубину до шестидесяти километров. Румынские части, понеся большие потери в живой силе, обратились в паническое бегство. По мере продвижения советских войск отступающие румыны все больше теснили немецкие части на запад, и в первую очередь тыловые части 6-й армии, находившиеся на правом берегу Дона. Бросая все на своем пути, бегущие без оглядки войска увеличивали и без того огромную армию отступающих, создавая в целом картину, напоминающую отступление Наполеона.

Нужно сказать, что в частях, находившихся в междуречье Волги и Дона, среди солдат всегда ходили разные слухи. Иногда это было не что иное, как чистейшая фантазия. Война, казалось, парализовала нормальное человеческое мышление. Поэтому я лично не придал особого значения и тем слухам, которые распространились утром 20 ноября.

Усевшись в коляску мотоцикла, я намеревался из Городища поехать в район южнее Сталинграда, где, как мне сказали,

должны были находиться зернохранилища и паровые мельницы. Я тешил себя надеждой пополнить продовольственные запасы нашей санроты, так как кто знает, что нам принесет эта зима.

Наш путь лежал через Разгуляевку, Татарский вал, затем через Царицу к Старому городу, Пуржило. Повалил такой густой снег, что ни шинель, ни френч не спасали: я промок до костей. Нижнее белье прилипало к телу, ноги в кожаных ботинках тоже промокли. Ориентироваться на местности стало очень трудно.

Я начал беспокоиться: вот уже два часа, как мы в пути, а цели нашей поездки все еще не видно, хотя расстояние всего километров тридцать. Уж не проехали ли мы? Впереди показались какие-то солдаты. Они быстро приближались к нам. По высоким барашковым шапкам мы узнали румынских солдат и решили расспросить их. По-видимому, это было довольно крупное соединение. Тут же я увидел солдат и в коричневой форме. Мне показался странным тот беспорядок, в котором они передвигались. Передние ехали верхом на лошадях, за ними двигались артиллерийские передки на конной тяге, но только без орудий. В этом хаотичном потоке многие солдаты были без оружия. Попадались порой автомашины и мотоциклы. Солдат было очень много.

Все спешили в одном направлении. На лицах солдат застыло выражение ужаса, словно за ними по пятам гнался сам сатана.

Наш мотоцикл застрял в этом потоке.

– Скорее выбирайся из этой толпы, а то нас раздавят! – крикнул я своему водителю. – Что хоть случилось?

– Русские прорвались к нам в тыл! – ответил мне кто-то из отступающих.

– Только этого нам и не хватало, черт возьми, – выругался я. – Попытайся взять влево. Мы должны немедленно вернуться в Городище.

Мой водитель старался делать все, чтобы мотоцикл не раздавили. Неожиданно на багажник нашего мотоцикла вскочил какой-то румынский офицер. Он не обращал ни малейшего внимания на мои протесты и кричал на своем родном языке, видимо, что-то страшное, так как румыны тотчас же расступились, освободив нам дорогу. Очень скоро мы доехали до Воропаново, и румынский офицер соскочил с мотоцикла.

В Городище был настоящий бедлам. Я сразу же направился в штабной блиндаж. Когда я вошел, начальник медицинской службы дивизии подполковник д-р Маас говорил:

– Вчера русские прорвали оборону на нашем левом фланге, а сегодня утром из калмыцких степей вышли южнее города. Они дважды нанесли главный удар румынскому армейскому корпусу,

который не устоял и начал отходить. Уцелевшие в панике бегут.

– Это, господин подполковник, могу подтвердить и я, – сказал я и доложил об увиденном мной в пути.

– Где вы попали в это месиво?

– Где-то южнее Елшанки. Началась пурга, и мы сбились с дороги. Потом встретили удирающих румын, – ответил я.

– Господа, – закончил свое выступление д-р Маас, – в штабе дивизии наше положение расценивают как очень серьезное. Более чем вероятно, что противник пытается окружить нас. Вся армия приведена в состояние боевой готовности.

***

Жуткие часы неизвестности и ожидания для нас кончились. На дивизионном медпункте все с головой ушли в работу, а ее было хоть отбавляй. Наращивая силу своего удара, противник начал теснить и немецкие войска, располагавшиеся на отсечных позициях на севере междуречья Волги и Дона и в промышленных районах Сталинграда.

Я выехал на передовую, чтобы оказать помощь раненым. Да и в работе быстрее бежало время.

На санитарном автомобиле мы привезли на медпункт трех раненых: лейтенанта, унтер-офицера и одного солдата. У лейтенанта было ранение в живот, унтер-офицера ранило в предплечье, а солдату осколком раздробило правое бедро. Чтобы остановить кровотечение, солдату наложили тугой жгут. Возможно, солдата и удалось бы спасти, если бы его сразу же положили на операционный стол.

Однако самую первую помощь нужно было оказать лейтенанту с простреленным животом, так как каждую минуту в рану могла попасть инфекция. Принято считать, что раненые в полость живота, если они не были оперированы в течение шести часов после ранения, приговорены к смерти, особенно в полевых условиях. В маленькой записочке полкового врача говорилось, что лейтенант был ранен в четыре часа тридцать минут, а сейчас часы показывали девятый час. Нужно было спешить!

В то время как хирурги мыли руки и натягивали приготовленные для них резиновые перчатки, два санитара раздели раненого лейтенанта и уложили его на операционный стол. Живот слегка опух. На нем было всего несколько царапин, видимо от крошечных осколков.

– Подготовьте наркоз, – сказал мне д-р Гутер. – А вы, фельдфебель Рунге, подготовьте инструмент.

Живот раненого смазали йодом, обложили тампонами из ваты, оставив открытым только место вскрытия. И началась напряженная работа врачей и санитаров.

– Двадцать два, двадцать три… – все медленнее и медленнее считал лейтенант.

Хлороформ делал свое дело. Капля за каплей эфир падал на маску. Дыхание раненого становилось равномерным.

– Скальпель! – скомандовал хирург, когда раненый крепко уснул.

– Тампон! – потребовал ассистент д-р Бальзер.

Ланцет погрузился в брюшину. Рассечены кожный покров, жировая прослойка, мускулы. Д-р Бальзер беспрерывно осушает кровь.

– Острый крючок, – потребовал второй ассистент. Полость живота вскрыта. С помощью двух крючков второй ассистент растянул брюшину. Хирург в это время осторожно что-то делал, чтобы ликвидировать заворот кишок.

Раненый заворочался.

– Больше эфиру! – приказал д-р Гутер. – Пульс?

– Несколько ослаблен, но прощупывается хорошо, – ответил санитар.

Хирург внимательно осматривал кишечник раненого. Тонкая кишка оказалась пробита крошечными осколками в десяти – двенадцати местах. Д-р Гутер нахмурил лоб. Хирурги переглянулись.

– Зажим!

– Скальпель!

– Тампон!

От напряжения и тепла, излучаемого операционной лампой, хирурги вспотели. Но вот каждое пробитое место простерилизовано и зашито.

Прошло сто десять минут с того момента, как первые капли эфира упали на наркозную маску. Старший лейтенант медицинской службы д-р Гутер, обрезав последнюю нитку, положил иглу на стол.

– Повязку и осторожно унести в палату, – распорядился он, вытирая рукавом правой руки пот со лба.

Впервые я познакомился с полевой хирургией несколько месяцев назад, однако до сих пор каждая новая операция производила на меня сильное впечатление. Прежде всего меня удивляло искусство хирурга. Я видел, что его фигура определяла весь ход операции. Он лишь несколькими словами обменивался с раненым перед операцией, интересуясь местом ранения и временем, когда оно произошло. Но говорил он как-то тепло, по-

дружески, сразу же завоевывая доверие оперируемого. Вести пространные разговоры хирургу некогда. Несколько слов с раненым – и хирург должен уловить все признаки, которые позволят ему установить диагноз. Учитывается все – выражение лица раненого, характер ранения, болевые ощущения, пульс и так далее.

Когда наркоз начинал действовать, хирург коротко информировал ассистентов о своих выводах. Затем следовала сама операция, исход которой подчас целиком и полностью зависел от медицинской подготовки и практического опыта хирурга. Конечно, каждое движение ассистентов тоже должно быть строго рассчитано. И ассистенты, и санитары должны владеть искусством умело наложить повязку на рану или же безболезненно уложить раненого на носилки. Но вся группа ассистирующих при операции выполняет одну общую задачу под руководством хирурга. Выражение сочувствия при операции скорее мешает, чем помогает. Оно изнуряет тех, кому вручена человеческая жизнь. Так что успех операции в решающей степени зависит как от умелых действий хирурга, так и всей группы.

Как только операция заканчивалась, хирурги и санитары выпивали по чашке крепкого кофе. Чтобы сэкономить время, хирурги даже не снимали стерильных перчаток. Санитары поили врачей из своих рук.

Между тем военфельдшер д-р Ридель занимался двумя другими ранеными. Касательное ранение унтер-офицера не вызывало особых опасений: легкое ранение в мякоть, на лечение его достаточно двух-трех недель. Унтер-офицера после перевязки смело можно направлять в армейский полевой госпиталь.

А вот солдат с раненым бедром вызывал серьезные опасения. Он потерял слишком много крови. Стоило только снять с бедра повязку, как рана напала сильно кровоточить. Это было очень опасно. В такой ситуации рекомендуется переливание крови, однако в медсанроте не осталось консервированной крови. Удалось разыскать лишь несколько коробок с ампулами глюкозы – из французских трофеев.

В довершение ко всему выяснилось, что у раненого не оказалось ни солдатской книжки, ни личного знака, которые помогли бы узнать о группе крови его владельца. Донора, разумеется, удалось бы найти на месте. Определение же группы крови заново требовало много времени. Оценив обстановку, военфельдшер решил сделать внутривенное вливание глюкозы. Однако состояние раненого продолжало ухудшаться.

Стало ясно, что правую ногу раненому придется ампутировать. Однако хирурги все еще были заняты с раненным в

живот. Лейтенанта оперировали уже два часа. Когда же наконец очередь дошла до раненного в бедро и его внесли в операционную, пульс еле-еле прощупывался.

Осторожно дали наркоз. На три ладони выше колена правой ноги сделали энергичный круговой надрез. Затем пила со скрежетом стала вгрызаться в кость. Еще немного – и санитар уже уносит ампутированную ногу в ведро. Кровеносные сосуды тщательно перевязываются, и на культю накладывают повязку.

Но пульс раненого становится все слабее и слабее. Наконец сердце не выдерживает и останавливается.

Мертвого поднимают с операционного стола и несут на носилках в соседнее помещение.

Одному ему там долго лежать не пришлось. Лейтенант с ранением в живот дожил только до вечера. И вот два новых трупа ложатся в братскую могилу.

***

День и ночь прошли в большом нервном напряжении, однако ничего существенного за это время не произошло. На следующее утро начальник дивизионного медпункта ознакомил врачей и весь персонал с приказом командира 51-го армейского корпуса. Наша дивизия должна была приготовиться к перемещению на новые позиции. Нашей санроте предстоял трехсоткилометровый марш на машинах. Нужно было вывезти наибольшее число раненых. Машины, для которых не хватит горючего, будут сгруппированы у Глубокой балки и по условному сигналу подорваны. С нетранспортабельными ранеными на месте останутся один врач и несколько санитаров. Все личные вещи, кроме тех, что надеты на себя, приказано было оставить в Городище. Все инструкции, акты и даже деньги, находящиеся в кассе, предписывалось сжечь по специальному сигналу. Все оружие и боеприпасы, само собой разумеется, необходимо забрать с собой.

Всем было ясно, что командование приняло решение во что бы то ни стало прорваться на запад.

Повсюду начались судорожные приготовления. У меня было очень много дел: в хозяйстве нашего казначея имелось большое количество разных документов, и нужно было срочно решить, что уничтожить, а что забрать с собой. Целесообразно было захватить с собой и сухой паек на трое суток. Готовить горячую пищу в пути следования не придется. Я занимался тем, что менял солдатам их старое обмундирование, нижнее белье и одеяла на все новое,

которое находилось на складе как резерв. К назначенному сроку нужно было сжечь целую гору старого обмундирования.

Тут неожиданно возникла еще одна проблема: что же делать с медикаментами, перевязочным материалом и медицинским инструментарием?

Начальник аптеки Фриц Ланг неделю назад уехал в Морозовск, чтобы получить там все необходимое. Он вернулся из своей поездки, как раз когда военфельдшер д-р Ридель занимался подбором медикаментов.

Измученный и небритый, начальник полевой аптеки производил неприятное впечатление.

– Сначала дайте мне коньяку, сразу тройную порцию, – попросил он. Залпом осушив стакан, аптекарь задумчиво проговорил: – Мы сидим в ловушке. Позавчера после полудня советские войска разгромили 3-ю румынскую армию в Морозовске и перешли через реку Чир. Я никак не мог этому поверить. Но вчера утром мы на своем грузовичке повернули назад. На обратном пути нам то и дело приходилось пробиваться сквозь толпы отступающих румынских частей. Мы вынуждены были ехать медленно. Однако самое страшное нам пришлось пережить сегодня утром на мосту у Калача. Один поток отступающих хлынул с севера, другой – с востока. Все обезумели, спасая свою шкуру. И все утверждали, что русские гонятся за ними буквально по пятам. С огромным трудом нам удалось переехать через мост. Я думаю, сейчас русские клещи уже сомкнулись.

Начальник аптеки был прав: в первую половину 22 ноября русские войска действительно находились уже восточнее города Калач. Таким образом, 6-я немецкая армия оказалась окруженной. Это событие давало солдатам и офицерам богатую пищу для бесконечных разговоров на эту тему.

«Окружение? Окружить целую армию?! Как такое могло случиться?» – задавал я вопрос самому себе.

– Этого я никак не могу понять, – сказал я вслух.

– Да, все это выглядит очень скверно, – заметил командир нашей санроты старший лейтенант медицинской службы д-р Гутер. Ткнув пальцем в карту, которая лежала на столе, он добавил: – Если мы застрянем там, где находимся, нашим будет очень и очень трудно снабжать нас всем необходимым. А если мы и попытаемся пробиться на запад, то поставим в трудное положение наши войска на Кавказе.

– Мы вообще не должны были допускать этого, – сказал начальник аптеки Ланг. – По опыту прошлого года нам пора бы понять, что зима играет на руку войскам Красной Армии. Однако

вместо этого мы позволили заманить себя в эту мышеловку, и теперь русским остается только захлопнуть ее.

– Господа, зачем так волноваться? Положитесь целиком на нашего фюрера. Он не бросит свою армию на произвол судьбы и сделает все возможное, чтобы отстоять интересы вермахта и народа, – с этими словами вступил в разговор старший лейтенант д-р Бальзер, награжденный в свое время золотым значком нацистской партии.

– Я тоже не могу себе представить, чтобы такая боеспособная армия, как наша 6-я, могла быть уничтожена, – поддакнул Бальзеру д-р Ридель. – Мы, конечно, не имели полного представления о сложившейся ситуации. Однако как бы там ни было, мы достаточно сильны для того, чтобы пробиться на запад. До сих пор мы тоже продвигались с боями, но ведь продвигались!

В этих словах, однако, уже не было логики, так как 6-я армия по состоянию на 22 ноября 1942 года была уже не та, что 22 мая этого же года. За прошедшие полгода она значительно растеряла свою мощь. И сейчас мы не знали наших собственных возможностей, не имели точных данных о силах противника и не представляли общего положения на фронтах.

Исход войны должен решиться на берегах Волги! С этой мыслью мы неделями шагали по бескрайним волжским просторам, оставляя на своем пути инженерные сооружения и кладбища. Горько было отступать, но мы тешили себя мыслью о превосходстве. Прошлой зимой вермахт тоже потерпел поражение под Москвой, но настало лето, и мы снова продвинулись вперед. И вот небо над нашими головами снова закрыли черные тучи. Создавшаяся обстановка причиняла нам много забот, но мы надеялись, что это не надолго, на несколько дней, самое большее – на две-три недели. Потом все утрясется. В конце концов, у нас отборная победоносная армия. Мы и представить себе не могли, что советские войска могут нас уничтожить.

Первый шок, в который нас ввергли известия от 20 ноября, прошел. И теперь сложившуюся ситуацию мы не считали слишком трагичной, так как смотрели на все глазами победителей.

Решающее произошло 25 ноября. Приказа на прорыв не последовало. Все приготовления оказались напрасными.

Хорошо еще, что мы не уничтожили в спешке многие необходимые вещи. В других частях 51-го армейского корпуса такие случаи были. Говорили, например, что командующий корпусом уничтожил все свои личные вещи. Некоторые офицеры сожгли свои меховые шинели, которые при отступлении занимали бы слишком много места. Некоторые казначеи сожгли

деньги, имеющиеся у них в кассе.

Наша санитарная рота осталась на том же месте, где была, – в Городище, то есть в нескольких километрах от промышленных районов Сталинграда. Два месяца назад мы развернули здесь дивизионный медпункт. Тогда на нашу дивизию смотрели как на основную силу, которой суждено захватить район Тракторного завода. Нам было приказано тогда свернуть свои палатки, разбитые на берегу Дона, у хутора Вертячий, и переместиться на пятьдесят километров в восточном направлении. Я получил приказ возглавить группу квартирьеров.

Когда я в начале октября с двумя десятками бойцов прибыл в Городище, там не осталось никого, кто бы мог познакомить нас с городом. На высоком холме стояла церковь с массивными стенами. Вокруг церкви прилепилось несколько невысоких пустых домов, отделенных друг от друга садами и огородами, где свободно можно было отрыть убежища. Несколько дальше мы обнаружили просторный блиндаж. Здесь, по-видимому, располагался штаб одной из советских воинских частей. Кроме того, все местечко было изрезано множеством глубоких оврагов, которые здесь называют балками. Их можно было легко приспособить под убежища для живой силы и техники.

Мы стали устраиваться. В небольшом доме присмотрели место для двух операционных и помещение для оказания помощи легкораненым. Соседнюю комнату отвели под приемный покой. Стационар для раненых разместили в соседних домиках и в самой церкви. В бывшем штабном блиндаже поселились четыре врача, старший казначей и начальник аптеки; в соседних одноэтажных домиках – медицинский персонал…

Кончался последний день ноября, холодный и какой-то на редкость серый. Уже в три часа стало темно и сыро, как ночью. При тусклом свете фонаря я вместе со своими помощниками составлял очередной месячный отчет. Все было как всегда, если не учитывать сокращения в выдаче хлеба, мяса, колбасы и жира начиная с 25 ноября. Как и раньше, были заполнены все необходимые для отчета формы, снабженные соответствующими примечаниями. До сих пор уменьшение пайка было незначительным. У нас остались еще кое-какие запасы, которые позволяли нам маневрировать. К тому же мы надеялись, что такому ненормальному положению скоро придет конец.

Наше положение было довольно забавным: почти целую неделю наша армия находилась в кольце окружения, а мы этого в Городище как-то совсем не ощущали. На участке фронта, в непосредственной близости от нас, царило затишье. Боев в районе промышленных объектов слышно не было. Так что до

этого мы находились в гораздо худшем положении, потому что нас захлестывал бесконечный поток раненых.

Когда я вышел на улицу, шел густой и мокрый снег, беззвучно падая хлопьями на лицо с темного неба, которого, собственно, и видно-то не было. Снег тотчас же запорашивал следы солдат и машин, одевая кусты, деревья, дома и машины в белый наряд.

До штабного блиндажа было всего две сотни шагов. Когда я вошел в блиндаж, мои товарищи сидели за столом. Среди них я сразу же заметил высокого мужчину. На него падал свет карбидной лампы. Это был незнакомый мне офицер. Голова его была перевязана. Однако мне показалось, что где-то я уже видел его лицо. Но где? Мой взгляд невольно скользнул по нашивкам офицера. Полковник! И тут я вдруг вспомнил: я видел его в Вертячем, полковник приходил на наш дивизионный медпункт навестить знакомого раненого офицера.

Поздоровавшись, я повесил фуражку и шинель на гвоздь и сел рядом с начальником аптеки. Полковник говорил о том, что всех нас интересовало.

– Генерал Паулюс по радио подробно доложил фюреру о положении 6-й армии, – рассказывал полковник. – Особое внимание Паулюс обратил на недостаток боеприпасов и продовольствия, а также на то, что если не удастся прорвать кольцо окружения, то армия будет быстро разгромлена и уничтожена. Командующий потребовал свободы действий.

– Неужели наше положение настолько опасно? – спросил д-р Гутер.

– Довольно опасно, – подтвердил полковник. – Русские сжали нас плотным кольцом. На западе линия нашей обороны проходит в двадцати километрах восточнее Дона. Наши части находятся в пустой холодной степи. Такое же положение на юге и севере.

_ А вообще каковы размеры этого котла? – поинтересовался д-р Ридель.

– Котел имеет форму груши, поперечник которой с запада на восток равен почти шестидесяти километрам, а с севера на юг – примерно половине этого. В общей сложности котел занимает площадь в тысячу пятьсот квадратных километров, а общая протяженность нашей обороны равна ста пятидесяти километрам.

– Тогда почему же мы не разорвем кольцо? Ведь силы-то у нас есть? – спросил я.

– Это самый главный вопрос, – согласился полковник. – Командование армии предлагало это, но предложение было отклонено. Видимо, мы во что бы то ни. стало, должны удерживать Сталинград. Адольф Гитлер выступал по радио и

обещал, что он сделает все, чтобы обеспечить нас всем необходимым, а кольцо окружения будет прорвано извне.

На этом месте разговор застопорился. Ничего подобного мы не предполагали. Еще час назад меня удивляла тишина, царящая в Городище, хотя мы и находились в железных клещах. Теперь же мне стало ясно, что все свои основные силы противник направил в восточном и южном направлениях.

Разговор возобновился. Мы переговорили обо всем: о мерах, которые необходимо принять для сохранения мужества в частях, о положении наших войск вне кольца окружения, о том, как будет прорвана блокада. Потом начальник аптеки рассказал мне, каким образом полковник попал в наш блиндаж. Оказалось, что по пути из штаба корпуса в свой полк, который находился на отсечной позиции, полковника ранило осколком в голову неподалеку от нашего медпункта. Ранение не опасное. Утром он сможет ехать дальше, а ночь проведет в нашем убежище.

Я залез на нары, но сон не шел: мысли были заняты тем, что только что услышал. Значит, мы находимся в ловушке и не имеем права даже пытаться выбраться из нее! Странно! А вдруг не удастся подбросить боеприпасы и продовольствие, что тогда? А если прорвать блокаду извне тоже не удастся, тогда что? Советские войска, разумеется, не будут сидеть сложа руки и смотреть, как к окруженной группировке приближаются деблокирующие войска.

Неожиданно мне на лицо с потолка свалился комок земли, и я почувствовал сотрясение от взрыва, который раздался где-то недалеко.

– Дерьмо тут всякое сыплется! – выругался начальник аптеки, лежащий рядом со мной.

Через пять минут повторилось то же самое. Потом еще и еще…

Оказывается, Красная Армия не забыла о нас. После нескольких дней передышки русские снова начали обстреливать шоссе на Сталинград, которое проходило неподалеку от нашего блиндажа. Возможно, русская артиллерия вела огонь с одного из островов. В ту ночь артиллерийская канонада показалась мне особенно назойливой.

После разговора с полковником командир нашей санроты принял кое-какие меры. Для машин были отрыты убежища, усилены перекрытия блиндажей. И все же люди гибли, несмотря ни на что. Иногда довольно оригинально, как, например, один унтер-офицер и пятеро солдат. Они строили убежище, строили усердно, с толком, даже притащили откуда-то для перекрытия железнодорожные рельсы, бревна и доски. И надо же было так

случиться, что именно это убежище и разбомбило. И не какой-нибудь тяжелой авиационной бомбой, а маленькой осколочной, которую руками сбросил с тихоходного биплана У-2 советский летчик. Каждый день между девятью и десятью вечера над медпунктом раздавалось равномерное стрекотание «швейной машинки», как называли этот самолет немецкие солдаты. До сих пор от этих самолетов не было никаких бед, поэтому их никто как-то не принимал всерьез. Это же случилось в декабре. Миниатюрная бомбочка угодила в убежище. И упала-то она но на крышу, а рядом. Но от взрыва обшитая бревнами стенка обвалилась и заживо погребла спящих «строителей». Солдаты из эвакуационной колонны с таким упорством раскапывали завалившийся блиндаж, будто речь шла о их собственной жизни. Однако спасти удалось лишь одного из шести. Остальные задохнулись. Потрясенные, мы слушали рассказ оставшегося в живых. Оказывается, он слышал стук лопат, слышал все, что говорили солдаты, но страх настолько парализовал его, что он не мог даже слова сказать.

Советская артиллерия обстреливала нас теперь не только ночью, но и днем. Ежедневно я по нескольку раз проделывал путь от казначейства до канцелярии роты – всего каких-нибудь двадцать метров. Однажды, незадолго до рождества, я вместе со смотрителем технического имущества шел из канцелярии. Над нашими головами просвистел снаряд. Мы мигом бросились на землю. Взрыв раздался где-то совсем рядом. Фельдфебеля осколками ранило в голову и грудь. Пока я нес его до операционной, он умер. Мне повезло, так как я отделался царапиной на затылке.

К потерям в живой силе прибавились разрушения боевой техники и машин. На третьей неделе со дня нашего окружения некоторые автомашины, хотя и находились в укрытиях, оказались полностью выведенными из строя. И если недостаток горючего значительно сократил наши автоперевозки, то ущерб от артиллерийских налетов просто-таки полностью обескураживал нас. Во время таких налетов мы не рисковали выходить из убежища. Особенно осторожны мы стали после того, как одна из бомб поздним вечером попала в нашу операционную. Хорошо еще, что в это время там никого не было. Зато мы потеряли очень ценное медицинское оборудование.

В первые недели декабря наши солдаты впервые узнали, что такое голод: все запасы были съедены до последнего грамма. Приходилось питаться тем, что удавалось перехватить в продовольственном складе. А этого явно не хватало. С 25 ноября солдатам ежедневно выдавали около двухсот граммов хлеба,

значительно уменьшился рацион мяса, колбасы, жира. Зато трижды в день солдаты получали жиденький супец, в котором плавали редкие горошины и крошечные кусочки мяса. В середине декабря на дивизионном медпункте каждые сутки варили тысячу пятьсот литров такого супа. Помимо двух стационарных полевых кухонь мы развернули десять временных. Кухни требовали большого количества воды и еще больше топлива. И то и другое для нас было неразрешимой проблемой.

Небольшой лесок рос только возле города. Кругом же не было леса. Деревья и кусты в открытой степи попадались очень редко. И в Городище на дрова использовали развалины жилых домов, которые уже нельзя было использовать под убежища. Специальная команда, посланная на грузовике в город, привезла всего-навсего полдюжины разбитых бревен, но и те тайком сгрузили в подразделении, так как каждый начальник старался достать себе побольше топлива.

В Городище небольшими группами бродили солдаты из румынского корпуса, который больше всех пострадал от русского наступления 19 и 20 ноября. По четыре-пять человек, а то и в одиночку румынские солдаты, оборванные и голодные, слонялись по городу в поисках какой-нибудь пищи. Исхудалые и заросшие щетиной, они пугали своим видом. Они отбились от своих частей и не хотели туда возвращаться. Некоторых из них мы пытались за порцию супа заставить носить нам воду или же собирать топливо, но они были настолько измучены, что падали где-нибудь в снег и замерзали.

Зима в тот год была суровой. Резкий восточный ветер насквозь продувал наши одежды, тысячами тонких игл впивался в тело и сковывал каждое движение. Ветер поднимал снежный буран, бросая в лицо колючие снежинки. Нос быстро белел, и его приходилось постоянно оттирать.

Серые, промозглые дни все чаще и чаще сменялись морозами. Огромное яркое солнце показывалось на горизонте, и снежная блестящая равнина сверкала всеми цветами радуги.

Чем выше поднималось солнце, тем ярче оно становилось, и небо окрашивалось в голубые тона. Снег так сверкал и переливался на солнце, что глазам было больно.

Нам никогда прежде не приходилось наблюдать такой великолепной зимней картины. И какой только красоты нет на свете! Однако с голодным желудком было не до красот. На всем участке фронта солдаты страдали от голода. Для нас начался новый период жизни в кольце окружения – период голода и страданий.

В один из декабрьских дней после полудня я выехал на

дивизионный продовольственный склад, который размещался недалеко от населенного пункта Гумрак.

Начальника штаба я застал больным: у него была желтуха. Он с безучастным видом лежал в своем гамаке, держа в левой руке письмо. Конверт со штампом «Авиапочта» валялся на полу. Я наклонился и поднял конверт.

– Письмо из дому? – удивился я. – Надеюсь, известия не плохие? – И подал ему конверт.

– К сожалению, плохие. Жена пишет, что наш фамильный особняк в Нюрнберге разбомбили в пух и прах. Моих родственников засыпало в подвале и контузило. Наша трехлетняя дочка лежит в клинике с тяжелым ранением в голову.

– Очень и очень соболезную и желаю вашей дочери скорейшего выздоровления, – посочувствовал я и, помолчав, продолжал: – Собственно говоря, я приехал к вам по одному делу, но у вас горе и мне как-то даже неудобно…

– Ваше участие меня трогает. Мне слишком тяжело переносить случившееся. Вы, видимо, приехали по вопросу снабжения вашего медпункта продовольствием?

– Да, так оно и есть. К тому же я хотел узнать общее положение со снабжением. Неужели раненые не получат более приличного пайка? Как же мы будем жить дальше? – забросал я его вопросами.

– Положение со снабжением на сегодняшний день очень скверное. Мы охотно помогли бы медицинской роте» но все дело в том, что у нас почти ничего нет. По секрету могу вам сказать, что 6-я армия должна получать около двухсот пятидесяти тысяч пайков, но ведь для снабжения армии нужно не только продовольствие, но и боеприпасы, горючее, медикаменты, зимнее обмундирование По моим подсчетам, мы должны получать ежедневно от девятисот до тысячи двухсот тонн грузов.

– А что же мы получаем на самом деле?

– В среднем за последние десять дней к нам на склады поступило меньше одной десятой. К началу окружения в армии на каждого солдата приходилось семь сутодач. Теперь эти резервы съедены. Скоро у нас не останется ни одной лошади. Вся надежда на то, что нас освободят извне.

На этот раз начальник интендантской службы был со мной разговорчивее, чем когда бы то ни было. Быть может, он просто хотел излить передо мной душу, хотел выговориться. Он сообщил мне кое-какие новости, которые, однако, не уменьшили моего беспокойства. Я узнал, что для того, чтобы ежедневно доставлять окруженной армии тысячу двести тонн продовольствия, требовалось шестьсот самолетов типа «Юнкерс-52» или же

восемьсот самолетов типа «Хейнкель-111». Даже если допустить, что самолеты делали бы по два или три рейса в день, то и тогда для перевозки такого количества грузов пришлось бы использовать от двухсот до трехсот самолетов. При этом но крайней мере каждый двадцатый самолет был бы сбит зенитчиками противника или же его истребителями, или же потерпел бы катастрофу при приземлении на аэродроме Питомник, или еще что-нибудь подобное.

Интендант располагая точными сведениями. Он лично беседовал с пилотами, и те рассказали ему, что каждый раз, поднимаясь в воздух, они рискуют попасть в зону обледенения, а это наверняка катастрофа. Не меньшую опасность представляют и русские истребители. Они легко разделываются с тяжелыми и неповоротливыми транспортными машинами. Я узнал, что собственного прикрытия истребителями у нас почти нет. Несколько машин, что были в 6-й армии, уничтожены или же бездействуют из-за отсутствия горючего.

Начальник интендантской службы поведал мне и о переговорах, которые вели по заданию командующего армией высокопоставленные офицеры 6-й армии с генералами военно-воздушных сил. В ходе этих переговоров выяснилось, что 4-я воздушная армия, а также 8-й воздушный корпус, приданный нам верховным командованием вермахта специально для нужд снабжения нашей армии, делали все от них зависящее, но не могли обеспечить окруженные войска даже минимумом самого необходимого, так как для выполнения столь сложной задачи требовалось гораздо больше машин.

Выложив мне все это, интендант устало махнул рукой. Я попрощался с ним.

На улице было совсем темно. Стоял такой собачий холод, что у меня сразу же защипало щеки, уши, нос. Я быстро застегнул шинель, подбитую мехом, на все пуговицы и поднял воротник.

– Езжай помедленнее, – приказал я своему мотоциклисту, садясь в коляску. – А то ветер нас совсем доконает. Да и тьма такая, что ни черта не видно.

Со средней скоростью мы ехали на северо-восток.

Где-то в самом центре котла, в котором находилась наша армия, был аэродром Питомник. Задрав голову, я вглядывался в ночное небо. Слева от нас темноту ночи перечеркнула трассирующая пуля. Затем на мгновение ночную мглу прорезал ослепительный пучок света. По-видимому, это был прожектор, установленный в конце взлетно-посадочной полосы. И в тот же миг я уловил гудение самолета. «Интересно, что это за самолет? – подумал я. – „Юнкерс-52“ или же „Хейнкель-111“? Сколько груза

он везет: две тонны или же только полторы? Или же это гигантский „фокке-вульф-кондор“, который может поднять в воздух десять тонн груза?» В тот момент меня больше всего интересовало именно это.

Над моей головой, словно чудесный балдахин из черного бархата, украшенный смарагдами, алмазами и рубинами, раскинулось звездное небо. Время от времени в небесной выси появлялась маленькая светящаяся точка, но тут же исчезала. Издалека доносился приглушенный грохот артиллерийской канонады да фыркал мотор нашего мотоцикла. Ночь была тихой, но на душе у меня было неспокойно.

Из головы не выходили слова интенданта о том, что наша армия ежедневно нуждается в подвозе тысячи тонн грузов – продовольствия, боеприпасов, горючего, медикаментов, а доставляется лишь одна десятая часть. Разве так может продолжаться дальше?

***

В последующие дни у нас появилась какая-то надежда. «Держаться во что бы то ни стало! Фюрер вас вызволит! Манштейн идет к вам на помощь!» – передавалось из уст в уста. И солдаты верили в то, что фюрер не оставит их в беде, что скоро они соединятся со своими и все это останется в памяти как дурной сон.

Несколько дней они еще как-нибудь поголодают, потерпят, а там, возможно через недельку, все утрясется, все пойдет на лад. Раненые расположатся в приличном лазарете. Вновь будут разрешены отпуска. И войска, что с мая 1942 года, то есть от самого Харькова, все время находились на передовой, будут отведены в более спокойное место, например в беззаботную Францию или же в солнечную Грецию.

Какую только картину не нарисует солдатская фантазия!

Замечу, что в той обстановке я и сам не был лишен подобных иллюзий. Дни проходили в напряженном ожидании. Работы было очень много. Еще никогда не поступало столько раненых на дивизионный медпункт. Двести, триста, четыреста… Очень много было и больных: одни страдали от сильных припадков малярии, другие – от дизентерии или сыпного тифа, случаи заболевания которым в Германии очень редки.

Снабжение раненых продовольствием стало улучшаться день ото дня, но, несмотря на это, каждый день мы хоронили на городском кладбище все больше и больше умерших. Ежедневно

удавалось отправлять на аэродром не больше десятка тяжелораненых. Их вывозили из котла транспортные самолеты.

С 12 декабря стали поступать сообщения об успешном продвижении армейской группы Гота. Исходный район ее наступления находился в ста двадцати километрах южнее котла – в районе Котельниково. Однако попавшие в котел части не имели ни малейшего представления о том, насколько сильна группировка Гота. По слухам, недостатка в которых в те дни мы не испытывали, у Гота было не менее тысячи танков.

Перед самым рождеством к нам прибыл санитар из южного района котла. Он уверял, что слышал шум боя, который, по его мнению, вела группировка, спешащая к нам на помощь.

На самом же деле Готу с его двумястами танками (никакой тысячи у него и в помине не было!) удалось продвинуться всего-навсего на пятьдесят – шестьдесят километров. На этом все и кончилось, так как противник выставил на пути обеих немецких танковых дивизий и румынского кавалерийского корпуса непреодолимую преграду. Третья по счету немецкая танковая дивизия, переброшенная на этот участок, тоже была остановлена, понеся большие потери. В конце концов части Красной Армии, осуществив прорыв в среднем течении Дона, принудили все три танковые дивизии Гота отступить. Таким образом, 23 декабря 1942 года операция по деблокированию окруженных войск потерпела фиаско. Стало очевидно, что противник целиком и полностью овладел инициативой и не выпустит ее из своих рук.

***

Итак, рождество 1942 года я встречал в сталинградском котле – на дивизионном медпункте в Городище. И если в другие дни между девятью и четырнадцатью часами бывало довольно светло, то 24 декабря, казалось, дня вообще не было. Густой туман плотной пеленой окутал засыпанные снегом и покрытые толстым слоем инея дома, убежища и машины санроты. Словно призраки, бродили солдаты, спешили санитары с носилками, повара орудовали у своих полевых кухонь. Из пелены тумана неожиданно появлялись санитарные машины. Они были похожи на странные бесформенные чудовища. Освободившись от раненых, они так же неожиданно исчезали. На севере котла и вдоль Волги разгоралась жаркая битва.

Было это в ночь под рождество 1942 года, всего в семи километрах от Волги и в двух тысячах трехстах километрах от Берлина.

Среди солдат, очутившихся в котле, царили растерянность и отчаяние. И хирург в операционной, и раненый, валявшийся на соломенном матраце, и водитель санитарного автомобиля, и санитар у стерилизатора, и казначей – все они толком ничего не знали о положении в танковой армии Гота, однако всем стало ясно, что прорыв кольца окружения извне явно не удался, так как иначе бы в санроте начались кое-какие приготовления, а их и в помине не было.

Вот тебе и рождество! Праздник мира и спокойствия, праздник радости и подарков. Этот праздник принято проводить в кругу семьи у сверкающей огнями елки.

Накануне рождества я посмотрел очень скудные запасы санроты. Оказалось, что у нас еще есть целых три мешка сушеных овощей. Мы прозвали их «проволочным заграждением». Раньше, когда недостатка в продовольствии не ощущалось, к этим овощам мы не притрагивались. Теперь же я очень обрадовался, что они у нас оказались. Было решено из содержимого одного мешка сварить «рождественский» суп, добавив в него конины, благо что дивизионный интендант по случаю рождества прислал нам часть убитой лошади.

Я ломал себе голову над тем, чем еще скрасить наш рождественский ужин. В ящиках лежал неприкосновенный запас роты на трое суток. До сих пор к нему никто не смел притронуться. Но теперь личный состав медроты насчитывал не сто шестьдесят пять человек, а только восемьдесят пять. А что, если изъять из НЗ восемьдесят порций и пустить их в ход? В этом случае и здоровые, и раненые, вместе с которыми нас было пятьсот человек, получат дополнительно по триста граммов хлеба в специальной упаковке и по сто граммов мясных консервов. Командир роты согласился с моим предложением. Мы рассчитали, что на каждые пять человек выдадим буханку хлеба, а на семь человек – по банке консервов. Обшарив все закутки, мы раздобыли немного спиртного, сигарет, шоколада и конфет. По нашим подсчетам, одна бутылка ликера или водки приходилась на пятнадцать человек, по десять сигарет и три сигары на двоих, плитка шоколада на пятерых и каждому по трубочке леденцов.

В рождественский сочельник я сопровождал нашего старшего лейтенанта и гауптфельдфебеля во время их обхода больных и раненых. В каждой палате командир роты говорил несколько слов о нашем тяжелом, но отнюдь не безнадежном положении и о том, что, несмотря ни на что, наш фронт и тыл тесно связаны и живут одними и теми же мыслями. В заключение командир желал всем скорейшего выздоровления. В этот момент я присоединялся к поздравлениям старшего лейтенанта и раздавал дополнительный

паек. Затем все обменивались рукопожатиями.

В тусклом свете карбидных ламп и свечей наша тройка переходила от одного соломенного матраца к другому, из одной палаты в другую. Некоторые встречали нас со слезами на глазах, но все старались быть мужественными. И когда раздавался вопрос: «Как вы себя чувствуете?» или «Как дела?» – никто не жаловался, а отвечал, что очень рад тому, что находится именно здесь.

– Мы еще вырвемся из этого котла, – утешал доктор.

– Благодарю вас, господин доктор, я наверняка дождусь этого.

Однако были и такие раненые или больные, которые уже не могли сказать даже слова: так они ослабли. Нам оставалось только сочувственно улыбаться им.

После обхода всех раненых и больных я наконец направился в блиндаж личного состава роты, а еще точнее – к моим подчиненным: начальнику финансовой части унтер-офицеру Эрлиху, писарю ефрейтору Шнайдеру и нашему водителю (теперь уже без машины) ефрейтору Вайсу.

Они уже ждали меня и сразу же усадили на самое почетное место – на какой-то ящик. Импровизированный стол вместо скатерти был застелен белой простыней. На столе горели три красные свечи. Рядом – елочные веточки, по-видимому, из какой-нибудь посылки, которую удалось кому-то получить в последние дни.

– Мы очень рады, что вы пришли к нам. В этот прекрасный праздник мы все желаем вам лично и всей вашей семье здоровья и скорой встречи! – приветствовал меня Эрлих.

Потом поднялся Шнайдер и продекламировал несколько стихотворений, которые они сочинили втроем. В них говорилось о том пути, что мы все вместе прошли от Бретани до Сталинграда на Волге. Затем следовало что-то о верной дружбе в любой обстановке. И о том, что наша дружба должна помочь нам и сейчас, когда мы находимся на особенно ответственном и трудном посту.

Стихи были несколько нескладными, но чувствовалось – написаны они от души. «Однако как следует понимать дружбу? – Думал я, слушая Шнайдера. – Разумеется, дружба сплачивает людей. Если веришь другу, то готов в случае необходимости пожертвовать ради него даже жизнью. Разве это плохо? Нет, это хорошее человеческое чувство…»

И все же мне казалось: что-то тут не так. Я невольно вспомнил свой разговор с начальником интендантской службы дивизии и его слова о том, что нам доставляется лишь десятая

часть положенного. Если так будет продолжаться, то вся наша армия через несколько недель вымрет от голода. Разве здесь поможет наша дружба? А почему, собственно, мы попали в такое положение? Почему, собственно, четверть миллиона немцев должна встречать рождество в такой обстановке?

Об этом следовало бы подумать. Но тогда думать было некогда: товарищи ждали, чтобы я тоже что-то сказал.

– Дорогие друзья! – тихо начал я. – В рождество принято говорить о чем-то светлом, а нам в последнее время не светит ни одна звезда. Зато на каждом шагу любого из нас подстерегает голод, холод и смерть. На наших глазах растет на кладбище лес крестов на могилах наших соотечественников. До наших войск – тысячи километров, и нас отделяет вал огня и стали. Грустно вспоминать сейчас о мире и спокойствии на земле, но нас не покидает надежда. Сейчас невольно вспоминаешь беззаботное детство, когда мы встречали этот праздник у сверкающей нарядной елки. Мысленно мы все сейчас с нашими родными и близкими, и они в этот праздник с тревогой думают о нас. Но чтобы встретиться с ними, нам нужно стойко и мужественно перенести все трудности, которые выпали на нашу долю. Мы, конечно, никогда не забудем этого рождества и всегда будем помнить тех, кто в эти трудные дни был рядом с нами, разделял вместе с нами все трудности и лишения. Но весь вопрос в том, как возникла эта пропасть между миром, о котором обычно так много говорят в рождество, и той страшной действительностью, в которой мы оказались?

Я по очереди пожал всем собравшимся руки. В глазах Эрлиха блеснули слезы, но он быстро отвернулся и пошел к печке. Взяв котелок, унтер-офицер налил всем горячего сладкого чая.

– А что дальше будет? – спросил он.

– Трудно сказать, – ответил я. – Во всяком случае, нашему положению не позавидуешь. Невольно возникают три вопроса. Во-первых, почему у наших не ладится с доставкой продовольствия на самолетах? От ста граммов хлеба, которые мы получаем вот уже целую неделю, и обезжиренной баланды силенок не прибавится. Во-вторых, как же это получается? Сверху нам твердят, что Сталинград практически уже в наших руках, и в то же время части Красной Армии, находящиеся, по словам тех же лиц сверху, при последнем издыхании, на самом деле переходят в контрнаступление и сажают в котел сильнейшую армию, какая только есть в Германии. И в-третьих, уж сколько дней нам обещают освобождение, а результата по сей день не видно. Сначала говорили о грандиозном успехе армейской группировки Гота, потом вдруг замолчали, как в рот воды набрали. Чему же

после этого можно верить?

– Как вы считаете, не надорвалась ли Германия в этой войне? – спросил ефрейтор Шнайдер. – В «Майн кампф» фюрер писал относительно войны 1918 года, что ведение войны на два фронта явилось основной причиной поражения Германии. А сколько фронтов у нас сейчас? По меньшей мере полтора десятка. Разве мы их все сможем удержать? Сам Роммель и тот бежал от англичан.

– Меня лично тоже беспокоит мысль о том, каким образом нам удастся изменить положение в нашу пользу на таком огромном по своим масштабам театре военных действий, – высказался я. – Вместе с союзниками мы не наскребем и третьей доли того, что имеют в своем распоряжении русские, англичане и американцы. Вместо каждого убитого русского, англичанина или американца противник в состоянии выставить по меньшей мере двух солдат. А как обстоят дела у нас? И это не только сейчас, когда мы находимся в окружении.

– Не нужно видеть все в черном цвете, – заговорил вдруг ефрейтор Вайс. Он был, так сказать, оптимистом из принципа. – За каждым декабрем приходит май, как-нибудь и мы выберемся из этой ловушки. И всех нас пошлют в отпуск. Придет время, и мы увидим родных.

Отпуск. Жена. Ребенок. Три недели назад я мечтал провести рождество дома. И считал это вполне возможным. Интересно, как выглядит сейчас моя квартира в Шварцвальде? Наверняка дома стоит елка, украшенная свечами. Разумеется, у моей жены немало забот. Мои подчиненные вряд ли представляют, что делается на родине. Я не сказал им всей правды, чтобы без нужды не пугать их.

Разговор пошел о доме. Недавно некоторые из нас получили письма и даже крошечные посылочки (не более ста граммов). Их доставили самолеты. Мне прислали фотографии сынишки. Фотографии переходили из рук в руки. Вайс показывал снимки своей жены и двух маленьких дочек. Эрлих был еще не женат, но носил с собой фотографию матери. Шнайдер женился незадолго до отправки нашей роты во Францию и не успел завести детей.

В блиндаже стало тихо. Разговор постепенно пошел на убыль. Его не смог оживить даже Вайс. Каждый думал о своем, вспоминал близких и родных, которые находились далеко отсюда. Когда-то удастся увидеть и обнять их?

Я вышел из убежища наверх. Туман так и не рассеялся. Казалось, вот-вот пойдет снег. Стало совсем темно: не видно было даже вытянутой руки. Со стороны фронта иногда доносилось стрекотание пулеметов, да где-то далеко ухала артиллерия.

Наверное, в такую погоду противник отказался от активных действий. Окруженные все равно никуда не денутся, раз попытка армии Гота прорваться на помощь была отбита.

Сколько я ни напрягал зрение, ничего не было видно. Наконец разглядел обломки грузовика. Значит, чтобы пройти к операционной, нужно взять вправо, а потом тридцать шагов влево – и я в штабном блиндаже.

Ощупью я спустился по лестнице, нащупал ручку двери. Из радиоприемника доносился бодрый голос диктора: «Говорит Сталинград. Мы находимся у развалин Тракторного завода на самом берегу Волги, которая блестит у нас перед глазами. Здесь, на берегах крупнейшей реки Европы, стоит на посту германский часовой. Это солдат Сталинграда. Вы слышите стрекотание пулеметов и треск ружейной стрельбы? Это, дорогие мои слушательницы и слушатели Германии, русские ведут огонь. Они хотят помешать нам, вашим храбрым солдатам, отпраздновать рождество. Вот я вижу лейтенанта с решительным волевым лицом. Он в каске. В руках он держит автомат. Он готов в любую минуту открыть по противнику огонь. А рядом его стойкие солдаты…»

– Выключите вы наконец этот бред, – раздался раздраженный голос старшего лейтенанта Гутера. – Парень, который сейчас говорит по радио, никогда не был в котле. Сидит себе небось где-нибудь в Харькове или в Берлине и читает перед микрофоном.

– Что здесь случилось? – спрашиваю я.

– Передача германского радио, мой дорогой, – ответил мне начальник аптеки. – Вам посчастливилось, доктор Гутер, что старший лейтенант Бальзер не слышал ваших слов. Вот уж он-то действительно обрадовался бы.

– А что с Бальзером? – поинтересовался я.

– Где он может быть? Разумеется, сидит у подполковника, – заметил д-р Ридель. – Наверняка уже пропустили пару бутылочек и сидят наслаждаются.

Любивший поболтать старший лейтенант Бальзер всегда стеснял присутствующих, поэтому у него в роте и не было друзей. Все старались по возможности избавиться от его общества.

Всеобщего любимца нашего блиндажа военфельдшера д-ра Кайндля тоже не было в этот вечер. Несколько недель назад он заболел тяжелой формой гепатита, но продолжал работать, так как приток раненых был очень большой. День ото дня состояние его здоровья ухудшалось, болезнь победила. За восемь дней до окружения 6-й армии д-ра Кайндля уложили на нары рядом с печкой и с первым транспортом раненых отправили в тыл. С тех пор о его судьбе никто ничего не знал, хотя все надеялись, что он

выздоровел.

Так что в рождественский вечер в штабном блиндаже оказалось только два врача, казначей и начальник аптеки. Сварили крепкий грог, пытаясь с его помощью оживить беседу, но и грог не помог: разговор как-то не клеился. О чем мы могли говорить? О том, что русские остановили Гота, или же о поражении немецкого корпуса в Африке? О нашей работе в операционной – по пятнадцать часов в сутки – или же о наших родных?

Никакой разговор о нашем положении ничего не мог изменить. А если же обо всем задуматься серьезно, то легко дойти до того, что начнешь проклинать всех, кто загнал нас в эту братскую могилу. Но что может изменить маленький винтик? Голова шла кругом. Из этого замкнутого чертового круга, казалось, нет никакого выхода.

Кто-то снова включил радио. Передавали мелодии, хорошо знакомые каждому из нас с детских лет.

Тихая ночь, святая ночь…

Христос, спаситель, ты пришел!

Спаситель? Раньше мне очень нравилась эта песня, но сейчас я не мог ее петь. Неужели спасение в вере? Сколько десятилетий верующие христиане поют эту песню, и как мало помогла их вера исправить мир.

Видимо, это ничего не дает. И придется нести свой крест, тяжелый крест солдата, разгромленного под Сталинградом.

О ты, счастливое, о ты, святое,

Милость несущее рождество…

Тот же самый смысл, те же самые слова. Эта мелодия вызывала в памяти многие счастливые часы, но стоило вспомнить наши страшные будни и не менее мрачное будущее – и даже эта песня не приносила ни капли утешения.

Нужно было найти другой ответ. Но какой?

Незаметно я направился к своей постели и при свете коптилки стал перебирать старые письма. Но никакого ответа в них я для себя не нашел.

***

Рождественское утро было очень холодным: термометр показывал минус двадцать три градуса. Так холодно еще никогда не было. К тому же дул резкий восточный ветер, не ветер, а настоящий буран.

Новые события отбрасывали новые тени, и очень черные.

Первым понял это по-своему старший лейтенант д-р Бальзер, награжденный когда-то золотым значком нацистской партии.

Несколько дней подряд д-р Бальзер жаловался на боли в правой ноге, которую отморозил якобы еще в прошлом году под Ленинградом. Время от времени он уходил из операционной, шел в блиндаж и ложился на свои нары. В первый и второй день рождества д-р Бальзер вообще не появился на работе. В довершение ко всему он подал рапорт на имя дивизионного врача, чем очень удивил командира роты и всех остальных офицеров. В рапорте д-р Бальзер писал, что из-за своего обморожения не может выполнять обязанности хирурга в полевых условиях, так как ему очень трудно подолгу стоять на ногах, и потому он не хочет быть в тягость своим коллегам. Заканчивал он свой рапорт просьбой к господину дивизионному врачу откомандировать его из роты как неспособного выполнять свои служебные обязанности и разрешить вылететь в тыл.

Старший лейтенант д-р Гутер не собирался ходатайствовать перед командованием об удовлетворении просьбы Бальзера, но не передать этот рапорт по команде он не мог. Однако начальник медицинской службы дивизии удовлетворил рапорт. Таким образом, «старый борец» д-р Бальзер покинул котел еще до Нового года.

А ведь какие геройские речи произносил этот вояка! Незадолго до сочинения своего рапорта Бальзер говорил о необходимости выполнить историческую миссию по искоренению большевизма. Он призывал верить фюреру и, несмотря на коварство противника, проявлять исключительную твердость. Только так можно выполнить те задачи, что поставила перед храбрыми германскими солдатами любимая родина! А теперь он вдруг улепетывает, видите ли, еще с прошлого года у него обморожена правая нога! В лазарете лежали десятки солдат и офицеров с обморожением третьей степени, у некоторых от ног и рук остались одни кости, но их не отправляли на самолетах в тыл. Для них не находилось места.

История с д-ром Бальзером оставила неприятный осадок. Солдаты нашей роты частенько злословили по этому поводу: они, мол, тут должны выполнять «историческую миссию», жертвуя жизнью, а нацистские демагоги бегут в безопасное место. Вот тут как хочешь, так и понимай боевую дружбу.

Подобное случалось и раньше. Старший лейтенант Бальзер и подполковник Маас были замешаны в одной истории, которая произошла в начале декабря. Во время очередной попойки в блиндаже туда явился дивизионный ветеринар в чине полковника медицинской службы. Спускаясь по лестнице, он вывихнул ногу.

Подполковник Маас и старший лейтенант Бальзер незамедлительно снабдили его соответствующими бумагами. Дивизионный ветеринар выехал на аэродром и через час покинул театр военных действий, где он так «мужественно сражался».

Раз такое дозволено полковнику-ветеринару, то генерал-майору и подавно! Это произошло еще в октябре. Как-то к вечеру, войдя в наш блиндаж, я увидел за столом всех наших врачей. Вид у них был довольно смущенный. Говорил подполковник Маас. Я уловил только слова «заслуженный генерал» и «Рыцарский крест». Заметив меня, подполковник вежливо попросил оставить их одних, так как они обсуждают секретное дело.

Несколько позже д-р Гутер рассказал мне буквально следующее. В дни, когда наши полки вели тяжелые бои за промышленный район Сталинграда, командир корпуса, прибыв на командный пункт дивизии в Разгуляевке, увидел генерал-майора – командира дивизии – пьяным. Генерал не руководил боем, да и не мог в таком состоянии им руководить. Командир корпуса начал отчитывать генерала, напомнил ему об ответственности и офицерской чести, после чего отстранил от занимаемой должности. Однако под суд военного трибунала командира дивизии не отдали. Более того, врачам нашей медроты было приказано подготовить документы, согласно которым командир дивизии признавался неспособным к выполнению своих служебных обязанностей по состоянию здоровья. Во врачебном заключении говорилось, что после тяжелого ранения в годы первой мировой войны генерал-майор вынужден прибегать к алкоголю и никотину для заглушения сильных болей. Некоторые из моих коллег-врачей пробовали было возражать против такого диагноза, однако дивизионный врач настоял на своем. Получив такое заключение, генерал-майор вместе со своим Рыцарским крестом улетел на самолете в Германию. Там он получил место в родном гарнизоне Людвигсбург-Вюртемберг. Его встретили как настоящего героя: произносили восторженные речи, генерала засыпали цветами.

Для подобных господ начальство находило всяческие уловки, чтобы избавить их от «мельницы смерти» на берегах Волги и помочь «с честью» вернуться в Германию. А для раненых и тяжелобольных не было свободных мест в самолетах, летящих на родину. Этим тысячам бедняг ничего другого не оставалось, как умереть.

Конечно, таких случаев было не так уж много. Большинство офицеров, врачей и военных чиновников разделяли с солдатами все лишения и невзгоды.

Сомнениям нет конца

Старый год подходил к концу. Итоги года были для Германии неприглядны. В Африке и на восточном фронте противник перешел в победоносное контрнаступление, в ходе которого была измотана и уничтожена почти дюжина немецких, итальянских, румынских и венгерских армий. Никогда еще Германия не несла таких больших потерь в живой силе и технике, как за двенадцать месяцев 1942 года. Без всякого сомнения, самым тяжелым поражением для Германии явилось окружение 6-й немецкой армии, части 4-й танковой армии и двух румынских армий под Сталинградом.

Это было самое крупное поражение гитлеровской Германии и ее сателлитов. И все же в нас еще жила крошечная искорка надежды. Она помогала огромной массе окруженных, измученных и полуголодных солдат быть в состоянии боевой готовности. Неизвестно откуда пошли разговоры, что в ближайшее время предстоят бои. Блиндажи, дивизионные медицинские пункты и лазареты прочесывались на предмет выявления солдат, которым можно было всучить в руки оружие и заставить идти в окопы.

На дивизионном медпункте в Городище также отобрали группу солдат и отправили в окопы защищать 6-ю армию.

Все это было ни больше ни меньше бессмысленно. Все наши укрепления состояли из блиндажей с толстыми стенами и метровым перекрытием. А наши убежища скорее можно было назвать норой для кротов – кучи развалин да ячейки, отрытые в снегу. Вместо крепостной артиллерии, снабженной всем необходимым, у нас было несколько сот старых орудий и до смешного скудный запас боеприпасов. А солдаты, которым предстояло оборонять эти укрепления! Со своими исхудалыми физиономиями они в основном походили на приговоренных к смерти.

В канун Нового года даже самый последний солдат, находившийся в котле, понимал, что спасительная группа Гота разбита. Правда, открыто в сводках вермахта об этом не говорилось, однако между строк каждый читал именно это. Окруженные войска вот уже три недели со дня на день ждали приказа начать двигаться в направлении частей, наносивших деблокирующий удар.

Но такого приказа никто не отдавал, и мы были обречены на бездеятельное ожидание. Все это страшно угнетало.

Мои коллеги по блиндажу тоже были удручены сложившейся ситуацией. Они терялись в догадках и ничего не могли понять:

внезапное окружение, запрет на разрыв кольца, голод, резкое увеличение числа раненых, отсутствие медикаментов, неудача с попыткой деблокации извне. Лозунг, которого мы раньше придерживались: «Трудности для того и существуют, чтобы их преодолевать!» – звучал теперь избито и пошло. Разумеется, находясь среди солдат роты, среди раненых и больных, мы старались держаться мужественно и не показывать виду, что дела наши плохи. Но стоило нам прийти в свой блиндаж, где после отлета д-ра Кайндля и д-ра Бальзера нас осталось четверо, как уныние и хандра брали верх.

– Пойдешь подышать свежим воздухом? – спросил я как-то начальника аптеки.

– Может, все вместе посмотрим в последний раз на уходящий год? – предложил д-р Гутер.

Все надели шинели и шапки и вышли из блиндажа. Нас сразу охватило холодом. Стояла гробовая тишина. Все небо было усыпано звездами. Я без особого труда отыскал Большую Медведицу – ковш из семи крупных звезд. За ним ярко сверкала Полярная звезда. Еще из школьных учебников мне было известно, что она намного больше и ярче Солнца…

Вдруг тишину разорвал огромной силы взрыв. Небо на горизонте перерезали снопы красноватых и оранжевых траекторий. Вспышки от залпа тысячи орудий слились в один раскаленный поток. Земля содрогалась от взрывов.

– Красная Армия приветствует Новый год, – заметил д-р Ридель. – У них есть причины для триумфа. Хотел бы я знать, что с нами будет недели через четыре?

– Наше «жизненное пространство» вряд ли останется таким же, как сейчас, – проговорил начальник аптеки. – Огненное кольцо еще больше сомкнется, и мы все сгорим в нем.

– Слушая эту канонаду, трудно представить, что из такого положения есть выход, – не удержался я.

– Я вспоминаю слова нашего полковника. Недели четыре назад он сказал нам, будто бы Гитлер заявил по радио о том, что сделает все возможное, чтобы обеспечить нас всем необходимым и вовремя освободить из котла усилиями войск извне.

– Он явно поспешил, сделав такое заявление, – заметил д-р Гутер, который до этого не проронил ни слова, внимательно наблюдая за артиллерийской канонадой. – Боюсь, что нам не только не говорят правду, но даже лгут.

– Так оно и есть, – согласился я. – Нас и так довольно долго дурачили гитлеровскими лозунгами и достигнутыми успехами. Теперь же мы попали в западню, из которой не выбраться.

***

С первых же дней Нового года части Красной Армии начали стягивать кольцо. То тут, то там внушительные территории переходили в руки советских войск, что вынуждало и без того потрепанные немецкие полки и дивизии оставлять свои оборудованные позиции и в тридцатиградусный мороз уходить в голую степь междуречья Волги и Дона.

Уже сорок пять суток находились мы в котле. Неожиданно Я получил приказ. Мне его лично вручил дивизионный интендант. Он приехал в Городище, хотя еще не оправился от желтухи.

– Мне очень жаль, что мы должны расстаться, однако согласно приказу командующего армией от нашего корпуса нужно откомандировать одного из опытных казначеев санитарной службы в полевой лазарет на юге котла. Выбор пал на вас. Рассматривайте это как повышение по службе.

Я чуть было не заплакал, так как уезжать от своих товарищей в такое время, переводиться в новую, незнакомую часть мне совсем не хотелось. И это я должен был рассматривать как повышение по службе!

– Господии интендантский советник, – начал я, – меня радует ваше доверие, но я все же очень прошу вас разрешить мне остаться в роте. Ведь я прослужил здесь десять месяцев. Не сомневаюсь, что в войсках есть более достойные казначеи, которые заслуживают такого повышения.

– Я вас понимаю, – сказал мне интендант, – но вопрос о вашем назначении уже решен. Если хотите, можете взять с собой двух-трех человек из вашей группы. На ваше же место прибудут офицер из штаба расформированного полка и несколько хозяйственников.

– А почему бы этого полкового казначея не послать в полевой лазарет? Как штабной казначей, он вполне там справится. Я просто не понимаю, – защищался я как мог.

– Нам обязательно нужен человек, хорошо знающий санитарное дело. В Елшанке – тысячи раненых. Вам в помощь выделен один инспектор. Начальник лазарета – подполковник медицинской службы профессор Кутчера, он назначен на эту должность с личного согласия начальника медицинской службы армии и начальника тыла армии.

Мне ничего не оставалось, как согласиться. Спорить было бесполезно.

– Желаю вам всего наилучшего. Надеюсь встретиться с вами в добром здравии после войны у вас в Нюрнберге или же у нас в Шварцвальде.

– Я тоже желаю вам пережить этот хаос. И разумеется, буду очень рад встретиться с вами на родине.

Мы обменялись крепким рукопожатием. Встретиться с интендантом больше мне уже не пришлось. Позже я узнал, что господин интендантский советник умер, не вынеся выпавших на нашу долю испытаний.

Я пошел попрощаться с солдатами роты. Вместе с ними я прожил триста дней. Когда формировался нага медпункт в небольшом городке на берегу Дона, личный состав медроты насчитывал сто шестьдесят человек. Теперь же в Городище осталась только половина. Многие из оставшихся в живых охотно бы поехали со мной в Песчанку, но по приказу я мог взять только троих. Я выбрал унтер-офицера Эрлиха и ефрейторов Вайса и Шнайдера.

Перед отъездом мы вчетвером долго сидели в блиндаже. Военная обстановка, ежедневное балансирование на грани жизни и смерти, постоянные заботы и беспокойство за жизнь раненых сплотили нас. И сейчас мы тихо пели о настоящих и верных товарищах. Эта песня не была для нас ложью. Правда, пели мы ее очень и очень редко, но она постоянно жила в каждом из нас.

Однако были вещи, понять которые я никак не мог. Речь идет здесь не о моем назначении, нет. Это о дружбе. Впервые я задумался над этим в тот рождественский вечер, когда наш доморощенный поэт Шнайдер декламировал стихи о дружбе и верности. С тех пор мысль об этом не выходила у меня из головы. В чем же смысл дружбы? Я мог привести многочисленные примеры из действительности, когда люди умирали за друга. Но ради какой цели они это делали? Ради чего живем, боремся и умираем мы?

Все эти вопросы не давали мне покоя. Взять хотя бы старшего лейтенанта Бальзера и полковника – дивизионного ветеринара, которые бросили своих подчиненных на произвол судьбы и позорно улетели в тыл. А кто помог им бежать? Почему? Уж не из соображений ли укрепления дружбы?

Горящие глаза раненых, мужество больных и ежедневные картины смерти – все это требовало немедленного ответа на мучившие меня вопросы.

Я не мог обвинить себя в трусости или отсутствии энергии. Нет, я просто хотел знать, в чем смысл нашей дружбы.

Как ужасно, если наша дружба служит неправому, несправедливому делу! Чем же тогда отличается эта дружба от обычного соучастия в разбое?

А если это действительно так? Сомнения росли и мучили меня.

За шесть недель окружения во мне что-то треснуло, надломилось, и я чувствовал, что склеить меня уже невозможно.

На сорок седьмой день пребывания в котле я в последний раз окинул взглядом Городище: церковь, окруженную лесом крестов на могилах немецких солдат, полуразрушенные домишки и глинобитные помещения дивизионного медпункта, наше убежище в саду, глубокие балки, на дне которых дымили полевые кухни и стояли полуразбитые санитарные машины и грузовики.

Усевшись в машину рядом с водителем, я на прощание помахал рукой своим товарищам.

Водитель санитарной машины, присланной за мной из полевого лазарета, ехал по маршруту Гумрак – Воропаново, вдоль окружной железной дороги, которая опоясывала Сталинград. Поезда по этой дороге давно уже не ходили: паровозы и вагоны были разбиты, рельсы использованы при строительстве убежищ, шпалы сожжены. И в то же время на полотне были какие-то люди, казалось, они ждали поезда. Я заметил их еще издалека: черные фигурки хорошо виднелись на снегу. Это были русские беженцы: старики, женщины и дети. Одни из них лежали, другие стояли или сидели. Те, что лежали на снегу, были уже мертвы. Некоторые из беженцев толпились вокруг околевшей лошади, видимо, хотели разжиться куском конины. И тут я увидел женщину с грудным ребенком на руках. Возможно, это был мальчик и ему, быть может, лак и моему сыну, три месяца. «Боже мой, – неожиданно осенило меня, – что будет, если однажды такое обрушится и на их головы?»

Война принесла много бед русскому мирному населению. В ходе наступления мы довольно часто встречались с беженцами. Старики и старухи, женщины и дети были вынуждены бежать из горящих сел, из родного гнезда. Узелок с одеждой, чугунок да жестяная кружка – вот все их имущество. Но часто и этого не было. Я и раньше сочувствовал этим людям, мне было жаль их. Но только здесь, в Гумраке, я вдруг подумал: что, собственно, значит в данной обстановке сочувствие? Разве нет виновных в этом? Кто понесет наказание за муки этих людей?

И это был еще один вопрос из вопросов, которые в последнее время все больше и больше беспокоили меня. И чем неразрешимей был вопрос, тем больше он меня мучил.

Когда мы победоносно наступали в сорок втором году, я, видя подобные сцены, убеждал себя, что это, лишь временные явления войны, что все это можно быстро уладить. И старался по-своему решить эти проблемы: заботился, чтобы русских женщин, которые стирали белье на медпункте, накормили, пленным давал сигареты, запрещал нашим солдатам умышленно разрушать

жилища.

На этот раз, встретив группу русских беженцев, страдающих от голода и холода, я не мог предложить им даже куска хлеба. Но если бы даже у меня и оказался хлеб и я попытался бы раздать его беженцам, то стоявший возле них немецкий жандарм навел бы на меня автомат.

Так что есть ли смысл решать такие крошечные проблемы?

Более того, верховное командование вермахта, генерал-фельдмаршал Манштейн и только что произведенный в генерал-полковники командующий 6-й армией Паулюс требовали от нас в своих многочисленных приказах вести борьбу до последнего патрона. И это в то время, когда тысячи немецких солдат от истощения, ран или обморожений не в состоянии были держать в руках оружие. А как известно, тем, кто не мог держать в руках оружие, выдавали сокращенный паек. Больные и раненые на дивизионном медпункте получали только половину нормального рациона. И это тогда, когда весь рацион, начиная с января сорок третьего года, состоял из ста граммов хлеба, тридцати граммов гороха или чечевицы, пятидесяти граммов конского мяса и десяти граммов солодового кофе или зеленого чая. На таком пайке жили десятки тысяч солдат. Некоторые части, как, например, 71-я пехотная дивизия, которой удалось захватить зерновой силос и сохранить его только для себя, были в несколько лучшем положении. Штабы же некоторых частей снабжались совсем неплохо. Но все это я узнал слишком поздно, когда окруженная армия доживала последние дни. И предложенные раненым продукты, те, что не успели съесть в штабах, оказались ненужными – слишком поздно. Разве это пример боевой дружбы?

Невеселые размышления преследовали меня всю дорогу, пока мы ехали в Песчанку. Ноги мои одеревенели, спина, казалось, совсем не сгибалась. Невольно я стал сравнивать солдат 6-й армии с русскими беженцами – вот с этими стариками, женщинами, детьми. Еще совсем недавно мы чувствовали себя победителями, а разве теперь мы не так же приговорены к смерти, как и эти люди, которым я только что сочувствовал?

Так кто же в этом виноват? И где выход из этого положения?

Я смотрел прямо перед собой. Местность, по которой мы ехали, была ничем не примечательна. После Гумрака нам не встретилось ни одного более или менее крупного населенного пункта. Кое-где лишь попадались разрушенные крестьянские усадьбы. Наших войск почти не было видно. Основные силы находились по внутреннему кольцу окружения, остальные – в развалинах городов и сел или же на медпунктах и в лазаретах. Справа и слева от шоссе, которое тянулось параллельно железной

дороге, виднелись блиндажи тыловых подразделений и штабов. Войска, насколько могли, закопались в землю. Все, кому нечего было делать снаружи, прятались в блиндажах, чтобы хоть как-нибудь согреться. В воздухе целиком и полностью господствовала русская авиация. Над окруженной группировкой больше не летал ни один немецкий истребитель. Немногочисленные уцелевшие зенитные орудия мы использовали для отражения танков противника.

Проехали Воропаново – сильно разрушенный населенный пункт, расположенный возле разъезда окружной железной дороги и железнодорожной ветки, уходящей на запад. Особенно бросались в глаза развалины водонапорной башни. После Воропаново наш путь лежал на восток.

– Скоро приедем, – сказал мне водитель.

– Смотрите-ка, советские самолеты разбрасывают листовки! – воскликнул я.

Над землей плыли низкие облака, и я хорошо видел красные листовки, сыплющиеся с неба. В Городище я но раз слышал о том, что русские частенько сбрасывают листовки на позиции наших войск, но видеть это собственными глазами мне еще никогда не приходилось.

– Здесь подобная картина не редкость. Русские бросают листовки чуть ли не каждый день. Большинство листовок подписано Ульбрихтом и Вайнертом. Это немецкие коммунисты. Говорят, в этом деле участвуют и пленные немецкие офицеры – какой-то капитан и с ним старший лейтенант. Фамилии я забыл, но считаю, что это уже свинство! Я не могу себе представить, чтобы немецкие офицеры проводили враждебную нам пропаганду, – выложил мне водитель.

– А о чем же пишут в этих листовках? – поинтересовался я.

– В них говорится, что нам якобы уже не вырваться из этого котла. Советуют бросить воевать и переходить на сторону Красной Армии, чтобы спасти свою жизнь.

– А как к этому относятся офицеры и солдаты?

– Сначала все смеялись, мол, обычная вражеская пропаганда, да и только. Теперь же, когда мы уже шесть недель торчим в котле и щелкаем зубами, смеются далеко не все. Некоторые даже стали поговаривать о том, что, возможно, коммунисты и правы. Но перебегать к русским ни у кого охоты нет: кому хочется получить пулю в спину. Ходят слухи, что нас все-таки освободят. Болтают, будто наши парашютисты захватили мост у Калача и нам на выручку идет целая эсэсовская армия.

Такие слухи действительно ходили по войскам. Многие еще верили им и передавали дальше. Особенно много говорили о

каком-то новом «чудо-оружии», которое якобы применят войска, идущие нам на выручку. Болтали, что такие части уже прибыли в Питомник и в ближайшие ночи на самолетах будут переброшены сюда. Распространились слухи, будто турки наступают на Кавказ, а японцы продвинулись глубоко в Сибирь. Выдумкам не было конца. Да и о чем мог мечтать солдат, если он в течение нескольких недель пролежал в снегу, отрезанный от всего мира? В голове у него жила одна-единственная мысль – как бы вырваться из этого кольца. А разве могли думать о чем-нибудь другом раненые и больные, валяясь в лазаретах? Даже в штабах, где, собственно, хорошо знали, что нечего питать никаких иллюзий на освобождение, и то ждали какого-то чуда. В конце концов ведь каждому солдату в окружении были хорошо известны слова Гитлера о том, что он вызволит их из котла. А ведь до сих пор этому человеку все удавалось. Каких только чудес он не натворил! Так почему бы не удалось и это?

Простой солдат или рядовой офицер не раскидывал умом широко. В каждом жила хоть слабенькая искорка надежды остаться в живых. Эту искорку каждый солдат положил в свой ранец, отправляясь на фронт. Эта искорка была в каждом письме, которое солдат посылал домой или получал из дому. Она была в каждом воспоминании и разговоре о доме, о близких, о своей мирной профессии, о селе или городе, в которых жили до войны. Искорка эта тлела, несмотря на все пережитое в котле. Иногда она вдруг потухала под грузом сомнений, но потом вновь разгоралась. А какой-нибудь слух мог превратить ее даже в пламя надежды.

Рассказ водителя о приближении к нам эсэсовских частей мог соответствовать действительности. Однако тот огневой вал, в рождественскую ночь, настраивал меня на скептический лад. Картина, которую я только что увидел в Гумраке, больно поразила меня. А тут еще эти листовки так и кружились над моим санитарным автомобилем.

– Остановите. Давайте посмотрим, что там, в этих листовках, – сказал я водителю.

– Только вы никому не должны рассказывать о содержании листовки, а ее самое сдайте в штаб. Оттуда ее отправят в штаб дивизии, – с видом знатока поучал меня водитель.

– Так и сделаю, – буркнул я и схватил на лету одну листовку. – Поезжайте дальше. Да тут какое-то стихотворение. «Прекрати стрелять, солдат!..» – начал было я читать вслух и, замолчав, прочитал все стихотворение про себя. Под стихотворением стояла подпись Эриха Вайнерта. Мне это ничего не говорило. Стихотворение было умное и правдивое, и слова

Вайнерта о том, что мы сами себя губим, соответствовали действительности: в сталинградских степях пролито немало солдатской крови. А утверждение поэта, что скоро вся Германия окажется в котле, производило сильное впечатление.

Мой скептицизм и сомнения получили новую пищу. Неужели мы и на самом деле проданы Гитлером? Этот Вайнерт, видимо, коммунист. Он, разумеется, ненавидит Гитлера, но я-то никакой не коммунист. Даже несмотря на ту трагедию, невольным свидетелем, участником и жертвой которой стал я сам, я не мог еще сказать, что я ненавижу Гитлера. Правда, за последние недели я начал сомневаться в целесообразности наших методов ведения военных действий, и только, а до ненависти к Гитлеру дело не доходило. Обвинения Вайнерта в адрес фюрера казались мне не совсем обоснованными. Однако одна строчка стихотворения врезалась мне в память и заставила задуматься: «… Лучше честно сдаться в плен, чем бессмысленно погибнуть…»

***

– Я рад вашему приезду и от души говорю вам: «Добро пожаловать!» – такими словами приветствовал меня профессор Кутчера, пожимая руку и с любопытством оглядывая меня. Я выдержал его взгляд и тоже изучал своего нового начальника. Это был светловолосый мужчина лет сорока, чуть поменьше меня ростом и покоренастей. Из-за очков в золотой оправе на меня смотрели умные голубые глаза.

– Прошу вас, садитесь, – предложил мне профессор. – У нас еще есть несколько минут до нашего скромного обеда. Это мы обычно делаем в блиндаже. Там, между прочим, будет и ваше место. А пока расскажите мне, пожалуйста, о жизни в Городище и все, что вы знаете о котле. Вам, видимо, известно, что я прилетел сюда только в конце декабря? И, как вы понимаете, считаю себя еще необстрелянным юнцом…

Слушая профессора, я невольно отметил, что держится он непринужденно. Коротко и корректно я рассказал ему о жизни в медпункте, а также о том, что с большой неохотой расстался со своими товарищами.

– Я вас понимаю, – согласился со мной профессор. – А что вообще говорят солдаты о нашем положении?

– Мне порой кажется, будто я в каком-то лабиринте. Только пройдешь один запутанный коридор, как попадаешь в другой, более замысловатый. До сих пор я не нашел выхода из этого лабиринта. Разумеется, ни о каком прусском величии не может

быть и речи. Будет ли предпринята еще раз попытка деблокировать нас после неудачи Гота? Мы же не знаем, что делается вне котла? Во всяком случае, снабжение становится все хуже и хуже. К тому же у меня такое впечатление, что противник сделал еще далеко не все, на что способен.

– Вы довольно сдержанно выражаетесь. Положение с питанием просто ужасно. В наших землянках – почти тысяча сто раненых и больных. На каждого из них мы получаем по крошечному кусочку хлеба да по миске баланды, где, словно инфузории, плавают редкие горошины. И на всех – два бачка солодового кофе или зеленого чая. Вот и все. Как врач, я просто не знаю, как так можно. Ведь это же зверство!

– Извините, господин подполковник. Я тоже считаю это зверством, и у меня уже нет сил больше переносить это. В этой войне меня многое угнетает. Однако нельзя совсем отказаться от надежды. Ведь так мы сами себя обезоруживаем. Нам необходимо быть мужественными, чтобы как-то поддержать наших раненых, которым гораздо хуже.

– Пусть господь бог даст им силы и наградит за все муки. А мы, как верные друзья, сделаем все возможное, чтобы помочь им!

И профессор Кутчера еще раз протянул мне руку. Мы обменялись крепким рукопожатием.

– Сейчас я познакомлю вас с нашим персоналом, – сказал мне профессор, – а завтра вы осмотрите хозяйственное подразделение и обойдете все помещения лазарета. Послезавтра же вы поедете за продовольствием в Гумрак.

– Это меня устраивает. Да, я хотел передать вам листовку, которую нашел на дороге возле Воропаново. Кое с чем можно согласиться, но ненависти к Гитлеру я разделить с автором не могу.

Профессор бегло пробежал листовку. И чем больше он читал ее, тем серьезнее становилось его лицо.

– «Проданы!» А ведь мы только что договорились с вами, что не будем предаваться унынию и пессимизму. Скажем тогда, что мы никем не проданы. Это звучит лучше, не так ли? – Профессор устало рассмеялся. – Вайнерт – коммунист, а я по своим взглядам очень далек от коммунистического мировоззрения. Правда, в студенческие годы я везде совал нос. В двадцатых годах выступал в «Красном ревю». В Гамбурге, где я был ассистентом, как-то попал на митинг, слушал Тельмана. Он говорил о том, что Гитлер – это война. В то время я не знал, верить этим словам или нет. Теперь же я вижу, что коммунисты оказались правы. И вот мы в сталинградском котле хлебаем баланду.

Когда я вошел в офицерский блиндаж, слова профессора все

еще звенели у меня в ушах. Это было квадратное помещение метров шесть на шесть. У входа стояли скамья, стол и несколько табуреток. Все это было сколочено кое-как. В другом конце я заметил нечто похожее на нары. Комната освещалась скупым светом карбидной лампы. Когда мы вошли, все, кто был в блиндаже, встали.

– Господа, я хочу представить вам нашего нового казначея, – начал профессор. – Вот это наш ведущий хирург штабной врач доктор Герлах. Это – начальник аптеки Клайн. Это – второй хирург и ассистент доктор Вальтер, зубной врач доктор Шрадер, доктор Штарке, доктор Рот, а вот это – ваш непосредственный сотрудник инспектор Винтер.

Мы поздоровались. Штабному врачу, зубному врачу и инспектору было лет по тридцать, остальным и того меньше, примерно столько же, сколько и мне, – лет по двадцать пять.

Мы сели ужинать. Ужин состоял из куска хлеба грубого помола и миски баланды. Определить, из чего она, было просто невозможно. Инспектор Винтер пытался утверждать, что похлебка сварена из пшеницы. На самом же деле на приготовление этого супа пошел силос, захваченный 71-й пехотной дивизией.

Ели молча. Через пять минут весь ужин был съеден. Подполковник попрощался со всеми и ушел в свой бункер. Он жил там в гордом одиночестве. Герлах и Рот пошли навестить тяжелораненых. Оставшиеся в блиндаже попросили меня рассказать о жизни в Городище.

Оказалось, что находящиеся в Елшанке солдаты и офицеры не имели ни малейшего понятия о тех ожесточенных боях, которые разгорелись начиная с августа в индустриальном районе Сталинграда за каждый дом, за каждую развалину.

Из разговора с моими новыми друзьями я понял, что они настроены менее скептично, чем их шеф, хотя так же, как и все, страдали от недостатка продовольствия. Елшанка находилась в каких-нибудь полутора километрах от Волги и в двух километрах от юго-восточного края кольца окружения, но до сих пор здесь было значительно тише, чем в Городище. Сюда лишь изредка долетал шум боя.

В середине декабря в полевом госпитале в Елшанке было около трехсот раненых и больных. Позже прилив раненых сильно увеличился. Я узнал, что почти до самого рождества в Елшанке выдавали лучший паек, чем в других частях: у госпиталя имелись кое-какие свои запасы; кроме того, он получил пшеницу из складов в южной части города.

Я заметил, что мой рассказ несколько испортил им настроение.

– Поживем – увидим, – выразил свое мнение Вальтер. – Как бы там ни было, я не склонен думать, что наше верховное командование может списать в расход такую сильную армию, как наша. Мы еще выкарабкаемся отсюда. В этом я твердо уверен.

Так день за днем мы жили надеждами и страдали от сомнений. У одних было больше надежд, чем сомнений, у других – наоборот.

Ультиматум

На следующий день я в сопровождении инспектора Винтера сделал свой первый обход. Начиная с сентября полевой госпиталь размещался в землянках, которые в свое время отрыли русские. Землянки были неглубокими, с полуметровым земляным покрытием. Инспектор откуда-то узнал, что русские рыли такие землянки с незапамятных времен.

В первую очередь меня интересовало оборудование кухонь и складов. Под временным навесом стояли две полевые кухни. Кроме того, в печь были вмазаны четыре столитровых котла. Ежедневно варилось две с половиной тысячи литров супа и прочих жидкостей. Четыре солдата постоянно подносили воду из ближайшего колодца в двухстах метрах от кухни, а шестеро солдат топили воду из снега.

Все запасы продовольствия хранились в подземном убежище. На складе не было освещения, и глаза не сразу привыкали к темноте. Постепенно я разглядел, что почти все мешки пустые. Весь запас продовольствия состоял из нескольких килограммов чечевицы, бобов, гороха и сушеных овощей. На одной из полок лежала замороженная конская нога. Справа у стены стоял ящик с солдатским хлебом, в другом ящике находились пакеты с сухарями.

– Таковы наши продовольственные запасы для тысячи ста девяноста раненых и пятидесяти шести человек обслуживающего персонала до завтрашнего вечера, – объяснил мне инспектор Винтер. – А вот в этих картонках – солодовый кофе и зеленый чай.

– Сколько граммов хлеба входит в паек?

– В зависимости от количества получаемого на складе хлеба порция колеблется от пятидесяти до семидесяти пяти граммов ежедневно. А вот здесь у нас есть полмешка пшеницы. Это мы нашли в силосной башне. Пшеницу мы приберегаем на случай, если однажды совсем не будет хлеба.

– А что там лежит под брезентом?

– Это неприкосновенный запас – три суткодачи для семидесяти человек. Имеется в виду обслуживающий персонал госпиталя.

– А начальство знает о существовании этого НЗ? – поинтересовался я.

– Я полагаю, что нет.

– Нужно предложить начальнику госпиталя использовать одну суткодачу для всех. Тогда по крайней мере в супе будут

плавать звездочки жира. К тому же каждый раненый и больной получит дополнительно по маленькому кусочку хлеба.

Однако мое предложение отнюдь не привело в восторг инспектора. Ему хотелось, чтобы НЗ попал только в руки обслуживающего персонала, при этом Винтер даже сослался на устав. Я же назвал его доводы нетоварищескими и категорически отклонил их. Начальник госпиталя согласился со мной и принял мое предложение.

Недалеко от кухни располагалась администрация госпиталя и канцелярия. Унтер-офицер Эрлих и ефрейтор Шнайдер, по-видимому, уже нашли общий язык и вместе с фельдфебелем Гребером составляли меню. Работы в канцелярии было мало. Бумажную волокиту в те дни сократили до минимума, и Вайс, Эрлих и Шнайдер помогали везде, где только могли.

Землянки оказались длинными и довольно темными. В каждой – по две-три печурки из глины, однако и дрова, и уголь давно кончились. Но в землянках было тепло от обилия человеческих тел: в каждой землянке размещалось ни много ни мало по двести раненых. Тесно прижавшись друг к другу, они лежали на нарах, расставленных справа и слева от прохода. В каждом отделении несли службу два санитара. Через двенадцать часов они менялись. В помощи санитаров нуждалось так много раненых, что при всем желании не было возможности подойти к каждому. Некоторые санитары заболевали и лежали вместе с ранеными.

Один тяжелораненый в бреду просил пить, другой умолял дать ему что-нибудь болеутоляющее, третьему понадобилось ведро. Из одного угла нужно было вынести умершего, в другом – перевернуть с боку на бок парализованного. Освободившееся после умершего место долго не пустовало – раненые и больные все поступали и поступали.

Собственно говоря, полевой госпиталь обычно принимает только раненых, доставленных с дивизионного медицинского пункта. Наш госпиталь был рассчитан на восемьдесят – сто раненых, однако в условиях окружения этот порядок продержался недолго. Вскоре госпиталь превратился в огромный своеобразный дивизионный медицинский пункт. Мы принимали раненых в десять раз больше положенного. Раненые и больные поступали прямо с фронта. Дело в том, что в результате наступления Красной Армии многие дивизионные медпункты перестали существовать.

Работать врачам и фельдшерам приходилось прямо в землянках, так что о квалифицированной медицинской помощи не могло быть и речи.

Морфий, сульфамидные препараты, болеутоляющие таблетки и прочее – все это строго учитывалось, как и хлеб. Перевязочного материала тоже не хватало. В тех условиях приходилось не обращать внимания на то, что повязка на голове или теле раненого пропитывалась кровью и загрязнялась. Часто от раны несло зловонием. Воздух, где лежали раненые, был насквозь пропитан тяжелыми испарениями. Дышать, казалось, абсолютно печем. От такого воздуха у новичка голова шла кругом, и его выворачивало наизнанку.

Я не впервые видел такие картины. Подобное я не раз наблюдал в Городище, однако здесь раненых и больных оказалось в два с лишним раза больше. В Городище почти все хорошо знали друг друга в лицо. Сюда же прибывали раненые из самых разных частей и соединений: пехотинцы, танкисты, артиллеристы, саперы, связисты. Но это не мешало всем раненым быстро находить общий язык. Близость смерти уравнивала всех..

Правда, о смерти можно было и не думать, имей мы нормальное питание, медикаменты, своевременный уход, чистые повязки на раны, чистое белье, хорошо продезинфицированные помещения и тому подобное. Но об этом не могло быть и речи. Ведь армия ежедневно не получала и десятой доли всего необходимого ей продовольствия и медикаментов, а в переполненных землянках не было самых элементарных санитарных условий!

Чего только не насмотрелся я во время этого обхода! Заглянул я и в операционную. Доктор Герлах со скальпелем в руках склонился над операционным столом. Голова доктора Герлаха почти касалась головы ассистента доктора Вальтера. Они, видимо, оперировали раненого в живот. У обоих врачей на лбу выступили крупные капли пота. Рукава окровавленных халатов закатаны по локоть.

Это была уже пятая операция за сегодняшний день. А сколько еще предстояло сделать!

Санитары раздевали раненых. Одежду или обувь иногда приходилось разрезать. Санитары же давали наркоз, подавали врачам инструменты, держали раненых, делали им перевязки, переносили на операционный стол и снимали с него оперированных. Все движения заучены, однако к нормальной медицинской помощи все это не имело никакого отношения. Это было не что иное, как тяжелая физическая работа с ножом и пилой в руках, причем в самых неблагоприятных условиях.

В другом углу операционной доктор Шрадер и доктор Штарке обрабатывали легкораненых. Им помогал провизор Клайн. Лишние руки много значили. Через несколько дней я, и сам

решил прийти помочь в операционную, однако первой моей обязанностью было обеспечить госпиталь продовольствием. Я решил во что бы то ни стало лично присутствовать при получении продуктов в Гумраке, надеясь, что это принесет несомненную пользу. Однако я слишком обольщал себя надеждами.

Продовольственный склад под Гумраком поражал своей пустотой. Полевой госпиталь в Елшанке на 8 января насчитывал тысячу сто пятьдесят едоков. По нормальным нормам при трехразовом питании на такое количество людей следовало бы получить на трое суток пять тонн продуктов. В те дни раненым выдавали только восьмую часть нормального пайка, то есть паек на всех можно было увезти на полуторке, заполнив ее кузов лишь наполовину.

И все же мне удалось получить сверх положенного несколько коробок с фруктовыми леденцами, один килограмм кофе в зернах для медицинского персонала и две тысячи сигарет. А хозяйственник дал даже двадцать бутылок хлебной водки. Помимо всего этого мне посчастливилось раздобыть тысячу литров бензина.

На обратном пути фельдфебель Гребер предложил заехать в балку неподалеку, где находилась какая-то румынская часть. Там, объяснил Гребер, один лейтенант на бутылку водки менял килограмм конины. Быть может, и сегодня удастся это сделать. Сначала я несколько колебался, не желая вступать в спекулятивные сделки с румынами, но потом согласился.

Сделали небольшой крюк. Спустившись в убежище, мы без особого труда нашли нужного лейтенанта. Он вместе с капитаном и старшим лейтенантом как раз что-то готовил из конского мяса. В убежище вкусно пахло. На столе стояли полупустая бутылка и три жестяные кружки. На полу уже валялась пустая бутылка.

Меня и фельдфебеля встретили с радостью. Нам наполнили кружки и пододвинули кастрюлю с кониной. Румыны на чем свет стоит ругали эту войну, так как очень трудно стало достать водку. Упоминание об этом помогло мне начать разговор, ради которого мы и попали к ним в гости. Капитан, как старший по званию, моментально согласился на наше предложение. За пять бутылок водки мы получили лошадиную ляжку, которую тотчас же принес румынский солдат. Нам объяснили, что эта лошадь из той самой кавалерийской дивизии, что в ноябре попала в окружение. В сводке для штаба армии бедная лошадь была, конечно, показана как павшая на поле боя.

Учитывая, что зимой быстро темнеет, я поспешил распрощаться. Уходя, фельдфебель прихватил из кастрюли три

куска конины для нашего водителя и двух сопровождающих нас солдат.

В пути я вспоминал все события сегодняшнего дня, однако в голову лезли невеселые мысли.

***

Что такое? Уж не схожу ли я с ума? С серого неба снова посыпались пропагандистские листовки.

– Останови! – кричу я водителю. Он с удивлением смотрит на меня, но все же выполняет приказание. Я распахиваю дверку кабины и спрыгиваю на землю.

И действительно, листовки! Я быстро хватаю несколько светло-красных листков бумаги, сажусь в кабину и говорю водителю:

– Поехали дальше!

Темнеет, и я с грехом пополам разбираю текст. Читаю медленно и вслух:

«КОМАНДУЮЩЕМУ ОКРУЖЕННОЙ ПОД СТАЛИНГРАДОМ 6-Й ГЕРМАНСКОЙ АРМИЕЙ – ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ ПАУЛЮСУ ИЛИ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЮ.

6-я германская армия, соединения 4-й танковой армии и приданные им части усиления находятся в полном окружении с 23 ноября 1942 года. Части Красной Армии окружили эту группу германских войск плотным кольцом. Все надежды на спасение ваших войск путем наступления германских войск с Юга и Юго-Запада не оправдались. Спешившие вам на помощь германские войска разбиты Красной Армией и остатки этих войск отступают на Ростов».

– Наконец-то мы точно знаем, что танки Гота разгромлены, – проговорил сидящий между мной и водителем фельдфебель Гребер. – И это мы узнаем от русских! Но зачем они пишут об отходе наших на Ростов?

– Это значит, главная линия фронта проходит западнее нас километров на триста – четыреста, – объясняю я. – Почитаем дальше… «Германская транспортная авиация, перевозящая вам голодную норму продовольствия, боеприпасов и горючего, в связи с успешным, стремительным продвижением Красной Армии вынуждена часто менять аэродромы и летать в расположение окруженных издалека. К тому же германская транспортная авиация несет огромные потери в самолетах и экипажах от русской авиации. Ее помощь окруженным войскам становится нереальной».

– Это уж точно, – говорит водитель. – Об этом свидетельствуют те крохи, что получили мы сегодня на складе. «Положение ваших окруженных войск тяжелое. Они испытывают голод, болезни и холод. Суровая русская зима только начинается; сильные морозы, холодные ветры и метели еще впереди, а ваши солдаты не обеспечены зимним обмундированием и находятся в тяжелых антисанитарных условиях.

Вы, как командующий, и все ваши офицеры окруженных войск отлично понимаете, что у вас нет никаких реальных возможностей прорвать кольцо окружения. Ваше положение безнадежное, и дальнейшее сопротивление не имеет никакого смысла».

– Ну тут уж они явно перегнули, – замечает наш водитель. – Что значит безнадежно? Пусть только попробуют перейти в наступление – мы им покажем. Если…

– Может быть, вы не будете мне мешать! – злюсь я. «В условиях сложившейся для вас безвыходной обстановки, во избежание напрасного кровопролития, предлагаю Вам принять следующие условия капитуляции:

1. Всем германским окруженным войскам во главе с Вами и Вашим штабом прекратить сопротивление.

2. Вам организованно передать в наше распоряжение весь личный состав, вооружение, всю боевую технику и военное имущество в исправном состоянии.

Мы гарантируем всем прекратившим сопротивление офицерам, унтер-офицерам и солдатам жизнь и безопасность, а после окончания войны – возвращение в Германию или любую страну, куда изъявят желание военнопленные.

Всему личному составу сдавшихся войск сохраняем военную форму, знаки различия и ордена, личные вещи, ценности, а высшему офицерскому составу и холодное оружие».

– Носить холодное оружие офицерам! В сталинградском котле! – ворчит водитель. – Это уже не смешно.

Я не обращаю внимания на замечание водителя и читаю дальше: «Всем сдавшимся офицерам, унтер-офицерам и солдатам немедленно будет установлено нормальное питание. Всем раненым, больным и обмороженным будет оказана медицинская помощь.

Ваш ответ ожидается в 15 часов 00 минут по московскому времени 9 января 1943 года в письменном виде через лично Вами назначенного представителя, которому надлежит следовать в легковой машине с белым флагом по дороге разъезд Конный – станция Котлубань.

Ваш представитель будет встречен русскими доверенными

командирами в районе «Б» 0,5 км юго-восточнее разъезда 564 в 15 часов 00 минут 9 января 1943 года.

При отклонении Вами нашего предложения о капитуляции предупреждаем, что войска Красной Армии и Красного Воздушного Флота будут вынуждены вести дело на уничтожение окруженных германских войск, а за их уничтожение Вы будете нести ответственность.

Представитель Ставки
Верховного Главнокомандования Красной Армии
Генерал-полковник ВОРОНОВ
Командующий войсками Донского фронта
Генерал-лейтенант РОКОССОВСКИЙ»

Пораженные, мы несколько минут молчали. Первым заговорил фельдфебель:

– Да это самая настоящая угроза. Понимаете, что это значит? – спросил он, глядя на меня.

– Все, что здесь написано о положении наших войск в котле, – чистая правда. Это мы испытываем на собственной шкуре. Меня тревожит другое – наши войска отходят к Ростову. Это для нас новость. Если это и на самом деле так, то никакая армия уже нам не поможет.

– Что же тогда будет? Значит, мы должны здесь околевать? Здесь больше нет солдат, – возмутился фельдфебель.

– Советское командование требует от нас капитуляции, – показал я на листовку.

– Капитуляции? Это плен. А плен означает или выстрел в спину, или же пожизненную каторгу где-нибудь в Сибири. Для меня лично это не подходит. Уж лучше я пущу себе пулю в лоб.

Эти слова проговорил наш шофер, двадцатилетний лаборант из Гисена. Мне он казался смышленым малым. Он был общителен, находчив, о Гитлере говорил восторженно, даже подобострастно, и был убежден, что фюрер просто не знает истинного положения окруженных войск. Этот парень восторгался всем, что сделали нацисты, – от рабочих законов и до установления нового порядка в Европе. Главную же миссию нацизма он видел в спасении мира от большевизма.

Леденящая душу пустота продовольственного склада и советская листовка с требованием капитуляции, конечно, произвели на него некоторое впечатление, однако пребывание в гитлерюгенде оставило в его душе столь глубокие следы, что он скорее был готов пойти на самоубийство, чем сдаться в плен к русским.

Водитель затронул больной для всех вопрос. Я и сам уже давно думал об этом.

– Я тоже боюсь плена, – осторожно начал я. – И пойду сражаться с оружием в руках, как только моя помощь раненым будет не нужна. Если мне суждено погибнуть, погибну в бою, но сам рук на себя никогда не наложу. Мы обязаны жить.

Все молчали.

Между тем ночь полностью вступила в свои права. Уже невозможно было разглядеть лицо соседа, но мы знали, что всех нас беспокоит один и тот же вопрос.

***

По возвращении в госпиталь я явился к главному врачу.

– Ну, что хорошенького вы мне расскажете? Прошу вас, садитесь!

– Больше плохого, чем хорошего, – ответил я и подробно рассказал о получении голодного рациона в Гумраке, о сделке с румынами.

– Пусть это вас не волнует. К сожалению, подобные офицеры и чиновники имеются не только в румынской армии, но и у нас, – заметил главврач.

– Я хочу рассказать вам еще кое-что, – продолжал я. – Только вот не знаю, хорошее это известие или плохое. – Я вынул из кармана листовку с текстом о капитуляции и протянул профессору. По мере того как он читал листовку, выражение его лица становилось все серьезнее.

– Неужели у Паулюса хватит на это мужества? – проговорил вслух доктор. – Верховное командование Красной Армии совершенно правильно оценивает наше положение. У них есть все возможности уничтожить нас. Это они могут сделать за две-три недели.

– Значит, вы стоите за капитуляцию, господин подполковник?

Профессор ответил не сразу, а когда заговорил, я понял, что каждое его слово было хорошо обдумано.

– Речь идет не о моей личной капитуляции, а о том, отдаст ли Паулюс приказ сложить оружие. По-моему, он обязан это сделать ради интересов германского народа.

– Почему ради интересов германского народа? Ведь командующий подчиняется Гитлеру. Неужели он пренебрежет приказом фюрера «держаться во что бы то ни стало»?

– А кто такой Гитлер? Неужели вы на самом дело верите в то, что он – выразитель национальных интересов? Верите в его национал-социализм? – И обычно спокойный главврач повысил голос. – Беру на себя смелость утверждать, что все его слова ни

больше ни меньше как пустая болтовня. Гитлер – это олицетворение никем не ограниченной власти. И война для него – большой гешефт.

– Так-то оно так, но без власти тоже ничего не сделаешь, – возразил я.

– Правильно. Только власть необходимо поставить на благо народу, а в третьей империи такого произойти не может. Или вы считаете, что, если здесь, на берегах Волги, околеет четверть миллиона немецких граждан, это сделает наш народ более счастливым?..

– Вы говорите почти так же, как коммунист Вайнерт…

– Я далек от того, чтобы считать себя коммунистом. Я – убежденный христианин. Не знаю, как бы я отнесся к установлению коммунистического режима в Германии, но не об этом сейчас речь. То, что произошло с 6-й армией по приказу фюрера, я считаю преступлением.

Последние слова профессор произнес в сильном гневе. Меня тоже охватило волнение. Мне еще ни разу здесь не приходилось слышать подобные речи. Я понимал, что главврач ставит вопросы, связанные с нашим окружением, на более принципиальную основу, чем это делал я. Как он дошел до таких серьезных обвинений?

– Господин подполковник, ваши слова буквально убивают меня. Я тоже во многом сомневаюсь. И давно спорю с самим собой. Но я не могу поверить, что Гитлер всему немецкому народу готовит судьбу 6-й армии.

– Дорогой друг, мы с вами знакомы всего-навсего шестьдесят четыре часа. На самом же деле я знаю вас давно, быть может, лет десять. В свое время я думал так же, как вы. Верил, что фюрер может вывести Германию из экономического кризиса. Верил, что он выражает интересы Германии, которая своим трудом и своими достижениями в области науки достигнет настоящего расцвета и признания во всем мире. Надеялся, что будет создана Германия, в которой для всех без исключения будет господствовать справедливость, свобода совести и вероисповедания. Но я горько заблуждался.

Профессор задумался, а затем стал рассказывать о своей жизни, главным образом о том, как он попал в Сталинград. Я внимательно слушал его, невольно сравнивая свою жизнь с жизнью главного врача.

Отец профессора, юрист по образованию, занимал видный пост в Бреслау. Это был очень образованный человек с высоко развитым чувством справедливости. Мать профессора, добрая христианка, на редкость уравновешенная женщина, сумела

создать гармоничную жизнь в семье. Отец профессора приветствовал приход Гитлера к власти, так как, будучи в свое время офицером (когда бушевал огонь первой мировой войны), поверил демагогическим разглагольствованиям нацистов о том, что они ведут борьбу против Версальского договора. А потом началась фашистская практика тридцать третьего года. Отец доктора вступил в какой-то конфликт с тузами «коричневой» юриспруденции, и его просто-напросто уволили. Хорошо еще, что он не угодил в концлагерь.

Сын увлекался научной работой, полагая, что в область медицины нацистские руководители вмешиваться не будут. Но и он ошибся. Законы о стерилизации лишили его покоя. Он, настоящий христианин и беспартийный, постоянно наталкивался на всевозможные препятствия в своей работе. В тридцать пять лет он с большим трудом стал ординатором.

Его разногласия с нацистами настолько обострились, что, казалось, вот-вот должно что-то произойти. И он решил избежать гибели: осенью тридцать седьмого года доктор вступил в вермахт. Сначала ему присвоили звание майора медицинской службы, после занятия Франции – подполковника, а теперь вот пора бы и полковника дать, но этого не случилось!

Я чувствовал, что подполковнику нелегко рассказывать мне обо всем этом. Но он, как и я, искал взаимопонимания. Доверие, которое оказал мне профессор, произвело на меня большое впечатление. И все же одно мне было непонятно: как мог христианин и человек гуманистических взглядов стать кадровым офицером германской армии?

Я не удержался и задал подполковнику этот вопрос.

– Вы задали вопрос, который мне самому не дает покоя. – Подполковник несколько раз провел ладонью по лбу, словно отгоняя невеселые воспоминания. Между бровями залегла глубокая морщина. Профессор неподвижным взглядом уставился в противоположную стенку бункера. Казалось, он забыл о моем присутствии. Все, что он говорил дальше, он говорил скорее самому себе, чем мне.

В тридцать седьмом году, продолжал профессор, он думал, что вермахт – вне зоны влияния Гитлера. Доктор полагал, что генералитет недолюбливает нацистскую партию и держится автономно и независимо от фюрера. Однако очень скоро он понял, что это далеко не так. Оказалось, что генералитет целиком и полностью подчинен Гитлеру.

Подполковник разволновался и замолчал. Он тяжело вздохнул.

– Шесть недель назад меня перевели в 6-ю армию. Так я из

Бретани попал под Сталинград. После двухнедельного отпуска я доложил о своем прибытии в санитарном управлении главной штаб-квартиры фюрера в Виннице. Там я встретил многих своих знакомых. Они-то и помогли мне разобраться в ситуации. От них я узнал, что фюрера окружают подобострастные лакеи.

Профессор довольно подробно обрисовал мне атмосферу в ставке фюрера. Стоило только кому-нибудь открыть рот и высказать мнение, которое не совпадало с мнением фюрера, как смельчака заставляли замолчать. Многие генералы и высшие офицеры ударились в пьянство и превратились в самых настоящих алкоголиков, однако никто из них не уходил в отставку.

Профессор замолчал. После небольшой паузы он заговорил усталым голосом:

– Через шесть дней я уже не мог выносить всего этого. И хотя мне советовали остаться в Виннице, и у меня была такая возможность, я все же решил вылететь в котел окружения.

– А не было ли это бегством вперед? – спросил я. – Как господа из Винницы вообще оценивают положение 6-й армии?

– Ваше замечание о бегстве вперед не лишено правдоподобности. В штаб-квартире фюрера нас, собственно говоря, вообще списали со счета. Сталинградский котел считают, извините меня, пожалуйста, за сравнение, но я его не раз там слышал, задним местом германского вермахта.

– А как же понимать тогда торжественное обещание освободить нас извне?

– Все это ложь. Никто уже больше не поможет нам. Если же говорить о помощи, которую мы получаем по воздуху, то это ни больше ни меньше как мертвому припарка. Гитлеру необходима наша гибель, чтобы создать нам героический ореол. К тому же непогрешимость нашего престижа заключается, оказывается, в том, чтобы не отводить армию от Сталинграда. Фюрер давным-давно всей Европе прожужжал уши, что Сталинград немцы взяли.

– Об этом знает и командование нашей армии, – согласился я. – Однако оно не должно способствовать столь подлой игре.

– Я думаю, генерал-полковник Паулюс не хуже господ из штаб-квартиры фюрера в Виннице видит, что его армия обречена на гибель. И он должен сделать выбор: или же слепо следовать приказу фюрера, или же спасти жизнь подчиненных ему солдат. И этого решения никто у него не может отнять.

– Как же он, по-вашему, должен поступить?

– Мне кажется, самое разумное сейчас – это согласиться на капитуляцию, – ответил профессор. – По солдатским понятиям, это не только честное решение, но даже прямая обязанность. И

если Паулюс отдаст войскам приказ продолжать сопротивляться, он совершит преступление, страшнее которого, пожалуй, не было еще за всю немецкую военную историю.

Слова подполковника звучали угрожающе. Казалось, он призывал немедленно принять решительные меры.

Между тем уже стемнело, и мы распрощались. На улице было холодно. В ясном звездном небе слышался гул моторов. Это транспортная авиация доставляла продовольствие в Питомник. Со стороны Волги поднимался диск луны. На наших позициях царила тишина. Казалось, вся жизнь замерла. Неужели за этой тишиной наступит капитуляция?

В эту ночь я долго не мог заснуть.

На другой день, 9 января, я пошел в госпиталь. Врачи вскрывали трупы дистрофиков. Таких больных в котле были тысячи, и все они находились на грани жизни и смерти. Температура тела у дистрофиков обычно такая низкая, что термометр вообще никак не реагирует.

У двадцатилетних дистрофиков общее паталого-анатомическое состояние оказалось настолько отрицательным, что можно было подумать, будто это глубокие старики. Постоянное нервное перенапряжение, недоедание и холод сделали свое дело.

Все увиденное мной в госпитальном морге наглядно продемонстрировало правильность слов профессора: душевное и физическое состояние наших солдат тоже требовало принять условия капитуляции.

Вечером того же дня подполковник зачитал в офицерской землянке бумагу, присланную из штаба армейского корпуса. В ней говорилось, что советские требования капитуляции – акт вражеской пропаганды. Но одновременно это вселяет в нас надежду, что фюрер подготавливает новое наступление, чтобы освободить нас из котла. Заканчивалось послание призывом открыть огонь по русским парламентерам.

Брезгливым жестом профессор отложил в сторону приказ и посмотрел в мою сторону, словно говоря: «Ну вот видите, до чего мы дожили!»

Я понял, на что намекал профессор: он хотел тонко подчеркнуть, что командование корпуса ставит приказ фюрера о продолжении сопротивления выше личной ответственности за состояние подчиненных войск. Верховный главнокомандующий сидел в это время где-нибудь в Восточной Пруссии, за две тысячи километров от Сталинграда, в комфортабельном бомбоубежище.

Неделю спустя в Гумраке во время получения продовольствия на складе мне рассказали одну историю, связанную с

отклонением немцами капитуляции. Продовольственный склад играл роль своеобразного информационного центра – ведь там встречались представители разных штабов и частей. Там-то я и узнал, что командир 14-го танкового корпуса генерал Хубе незадолго до Нового года встречался с Гитлером и получил из его рук мечи к Рыцарскому кресту с «Дубовыми листьями». По указанию Паулюса Хубе должен был доложить фюреру всю правду о катастрофическом положении окруженных войск под Сталинградом. Хубе было обещано, что вновь организуемый южный фронт, о существовании которого никто не знал, получит приказ на новое наступление, чтобы деблокировать окруженные войска.

Ко всеобщему удивлению, Хубе вернулся в войска только 8 января 1943 года, а в ночь на 10 января сел в самолет, чтобы по приказу командующего сухопутными силами организовать снабжение вне котла.

… До последнего солдата

«При отклонении Вами нашего предложения о капитуляции предупреждаем, что войска Красной Армии и Красного Воздушного Флота будут вынуждены вести дело на уничтожение окруженных германских войск…»

Так было написано в письме советского командования, направленном 8 января 1943 года генерал-полковнику Паулюсу. «А за их уничтожение Вы будете нести ответственность».

К этому времени в междуречье Волги и Дона находилось более двухсот тысяч войск. Заключительный акт страшной трагедии начался 10 января утром.

В полевом госпитале в Елшанке об этом узнали, услышав залп русской артиллерии. Землянка, где проводилась операция, задрожала, как от землетрясения. Хирург отложил скальпель, ассистент забыл дать раненому эфир. Все так и застыли на месте. Подполковник не договорил, как мне обеспечить госпиталь водой.

Залпы следовали один за другим. Выстрелы и разрывы перемешались до невероятности.

Вскоре началось такое, что вообще ничего нельзя было разобрать.

– Пойдемте со мной наверх, – приказал мне подполковник. – Посмотрим, что там происходит.

А пушки все стреляли и стреляли. По-видимому, их было очень много, не меньше нескольких тысяч. Ничего подобного до сих пор мне не приходилось ни слышать, ни переживать.

На горизонте показались бомбардировщики, несколько эскадрилий в боевом порядке. На юго-западе я увидел вспышки артиллерийских орудий. По-моему, стреляли из-под Цыбенко, километрах в пятидесяти от госпиталя. Все небо на юго-западе и западе было объято пламенем и дымом.

– Это и есть начало нашего конца, – заметил стоявший рядом со мной профессор.

– На Волге, кажется, пока еще тихо, – заметил я.

Они, наверное, начнут сжимать котел с запада и юго-запада. Это легче, чем вести бой в городе. А мы между тем будем продолжать голодать, да и аэродром в Питомнике мы скоро потеряем.

11 января 1943 года полевому госпиталю предписывалось доставить в Питомник двадцать раненых, чтобы на Ю-52 или Хе-111 переправить их в тыл.

Сначала врачи получили указания из армейского корпуса не

перевозить на самолетах тяжелораненых, так как лежащие раненые занимали слишком много места. Потом этот приказ отменили.

Но счастливчик, которому удалось попасть в грузовик, еще не мог считать себя полностью счастливым. На аэродроме бригадный генерал медицинской службы со свитой врачей решал, транспортабелен этот раненый или нет. Если рана казалась им слишком легкой, раненого оставляли воевать в котле. В то же время ранение не должно было быть и слишком тяжелым.

Те же, кому удалось успешно преодолеть все препятствия и получить от бригадного генерала пропуск, должны были еще «сражаться» за место в самолете. Как протекал этот «бой», не знали ни я и ни один из двадцати раненых, которые на рассвете со счастливыми лицами влезли в полуторку. В мирной обстановке перевезти на полуторатонном автомобиле двадцать пять взрослых мужчин было бы очень трудно, а сейчас получилась даже некоторая недогрузка – настолько мы были худы.

Со средней скоростью, километров двадцать в час, наш грузовик двигался по замерзшему, исковерканному воронками шоссе. Большая часть маршрута проходила по дороге, по которой я пять дней назад ехал из Городища. На полпути от Воропаново до Гумрака водитель вдруг неожиданно свернул с шоссе в сторону. Вскоре в небе послышался гул моторов. Оказалось, это был наш Ю-52. Ему чудом удалось миновать зону зенитного огня русских, и теперь он шел на посадку.

Немецкие солдаты любовно называли эти самолеты «доброй тетушкой Ю». Такой самолет поднимал в воздух две тонны боеприпасов, горючего или продовольствия.

Всех сидевших в грузовике охватило радостное волнение. Раненые видели в этом самолете свое спасение, сопровождавшие их санитары радовались, что самолет привез хлеб и оружие.

Однако радоваться в общем-то было нечему. Что значит один Ю-52? Их должно быть по крайней мере в десять раз больше!

Раненые, конечно, не разделяли моих мыслей. Сквозь окошечко в задней стенке кабины я видел их радостные лица. Они думали только о самолете, который вывезет их из котла, и больше ни о чем.

Когда наш грузовик въехал на аэродром, самолет как раз приземлялся. К нему бежали солдаты из аэродромной команды и несколько жандармов. Вскоре подъехали и два грузовика.

Самолет вырулил на отведенное ему место. Пропеллеры вращались все медленнее и наконец совсем остановились. Затем открылась дверь, вниз полетели ящики, мешки, картонные коробки, видимо с продовольствием. Жандармы оцепили место

посадки самолета. Между тем к самолету приближались санитары с носилками, спешили раненые. Все они должны были улететь из котла. Однако самолет мог забрать всего-навсего двадцать человек! Кому же посчастливится попасть в это число?

Я приказал остановить нашу полуторку недалеко от палатки, на крыше которой красовались два больших красных креста в белых кругах. По моим представлениям, я должен был организованно передать своих двадцать раненых, что подлежали отправке в тыл в самое ближайшее время. Но каково же было мое удивление, когда я увидел сцену, разыгравшуюся перед самолетом! Ни о каком порядке здесь не могло быть и речи.

Жандармы, оцепившие самолет (а они питались, видно, неплохо, потому что были сильны, как быки), с трудом сдерживали натиск раненых. Жандармы пинали раненых ногами, отбивались от них прикладами, совали стволы автоматов прямо им в лицо. Однако, несмотря на все это, кольцо жандармов постепенно сжималось. Неистово крича, ругаясь, кусаясь и жестикулируя, раненые все ближе и ближе приближались к самолету. Слабые падали на землю, их топтали ногами.

Картонки и ящики с продовольствием были тут же растерзаны. Жадные руки хватали хлеб, шоколад, горох, водку – все, что попадалось под руку. Одновременно все лезли в самолет, который мог забрать только двадцать человек. А желающих улететь было несколько сотен, причем все они словно обезумели в своем желании.

Наконец первые добрались до двери самолета, и здесь «борьба» достигла своей кульминационной точки. В эту «борьбу» включились теперь не только раненые, но и охрана аэродрома, и солдаты транспортного подразделения. Самые сильные, отбрасывая слабых, лезли по самолетному трапу. На какое-то мгновение в открытой двери самолета показалась фигура человека в летном комбинезоне. Пилот, по-видимому, понял, что сдержать этих обезумевших людей уже невозможно. И он запустил моторы. Крика не стало слышно. Только широко раскрытые рты и вытаращенные глаза свидетельствовали о том, что люди орали как одержимые.

Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее самолет побежал по взлетной полосе. За открытую дверь самолета держались десятки рук. Многие из этих отчаявшихся людей сразу же свалились в снег и больше не поднялись. Тех, кто сидел на крыльях, сбросило воздушной волной. И только одному человеку удалось забраться внутрь самолета!

Поодаль от этого места стояло несколько носилок с ранеными: санитары не рискнули поднести их ближе к самолету.

Наблюдая эту сцену, ни один раненый из Елшанки не проронил ни слова. Я с трудом взял себя в руки.

– Кто хочет пойти со мной, – предложил я раненым, – пошли. А вы, двое на носилках, лежите спокойно. Мы за вами вернемся.

Я направился к палатке. У входа было написано «Прием раненых». В палатке сидели врач и санитары.

– Я привез раненых из елшанского полевого госпиталя. Двадцать человек. Все они отобраны для отправки в тыл согласно приказу командования армии. Надеюсь, вы сегодня же их отправите?

– Желание у вас хорошее, – заметил мне врач, капитан медицинской службы, – но вы не знаете, что здесь творится.

– Я только что наблюдал одну сцену. Это настоящее сумасшествие. Так у вас всегда бывает? Неужели нельзя навести здесь порядок?

– Порядок, когда речь идет о спасении собственной шкуры? Поначалу кое-какой порядок был, когда раненых и больных поступало не так много. Да и люди тогда еще надеялись на помощь извне. Теперь же, когда наши войска вот уже семь недель сидят в котле, никто уже ничему не верит. В этой толпе, что сейчас штурмовала самолет, не столько раненых, сколько здоровых. Эти типы во что бы то ни стало, всеми правдами и неправдами хотят улететь из котла.

– Но почему же вы не усилите охрану аэродрома? – спросил я. – Тогда можно было бы обеспечить посадку раненых в самолет.

– Честь и хвала вашему идеализму! На самом же деле все гораздо сложнее. Мы не раз просили усилить охрану аэродрома. Но где ее взять? Или вы полагаете, что нам пришлют подмогу из 6-й армии, дела которой и без того плохи? Но дело не только в охране. Несколько дней назад отсюда улетел штаб одной дивизии во главе с генералом фон Шверином. Только сели два самолета, как все штабные офицеры в легковых автомашинах на большой скорости подъехали к самолетам. Тут же появилась охрана. Самолеты быстро разгрузились, и офицеры улетели.

– Это такой пример показывают наши генералы? – спросил я с возмущением.

– Такой вопрос и мне в голову приходил. А чего они только не увезли с собой! Разные ящики, чемоданы, мешки. Все свое барахло и продукты, по крайней мере недели на две. Погрузили даже два мотоцикла, чтобы генералу после благополучного приземления не пришлось идти пешком. Бегство штабных офицеров этой дивизии видели сотни солдат и офицеров. Представьте себе, какое настроение теперь у них? Какой дисциплины можно от них требовать? Разве будут они после

этого верить своим командирам?

Все это было настолько возмутительно, что меня охватило одновременно чувство отвращения и гнева. Вот тебе и «сражайся до последнего патрона», как приказал генерал-лейтенант Шверин. Оказывается, до последнего патрона должны сражаться другие, а сам генерал позорно бежал из котла, заведомо бросив на гибель свою дивизию. Неужели все генералы именно так поняли приказ фюрера «Держаться!»? И как только фюрер и главное командование вермахта могли разрешить всему штабу дивизии вылететь ив котла? И в то же время обещать целой армии помощь и поддержку?

Невольно я вспомнил случай с полковником-ветеринаром и нашим старшим лейтенантом, награжденным золотым партийным значком. Они ведь тоже удрали из котла по протекции. А теперь очередь дошла и до генерала фон Шверина. На самом же деле это было не что иное, как дезертирство и предательство перед лицом тысяч и тысяч солдат, которые всерьез воспринимали понятия верности и дружбы.

Капитан провел раненых из Елшанки в большую палатку с красными крестами на крыше. В той обстановке он, разумеется, не мог назвать день, когда они смогут вылететь из котла. Сказав каждому раненому что-нибудь утешительное, я попрощался с ними и вместе с фельдфебелем и двумя санитарами направился к грузовику.

Настроение мое после поездки на аэродром резко ухудшилось. «Неужели, – думал я, – на самом деле нет никакого выхода из создавшегося положения? Неужели всем нам суждено погибнуть? И это не смерть в бою. Это самая что ни на есть бессмысленная гибель…»

Погруженный в свои невеселые мысли, я рассеянно смотрел из окна кабины на заснеженную равнину. Слева от дороги валялись корпуса разбитых самолетов. Их стащили в одну кучу, чтобы не загромождать поле аэродрома. Эти самолеты или были сбиты над аэродромом советскими истребителями, или же уничтожены во время бомбардировок. Сейчас это было кладбище железного лома. Каких только типов машин тут не увидишь: и «юнкерсы», и «хейнкели», и даже «кондоры».

Несколько в сторонке стояли «мессершмитты». Но ведь они совсем целехонькие? Они и на самом деле были не повреждены, однако подняться в воздух не могли из-за отсутствия горючего. Достать же авиационный бензин не было никакой возможности, так как склады горючего находились не менее чем за триста километров от Питомника. Кроме того, полеты в котел сквозь зону заградительного огня русской зенитной артиллерии, а также

в районе воздушного патрулирования советских истребителей были очень рискованными. Бывали дни, когда в воздух за целый день не поднималась ни одна машина. Особенно часто это случалось при густом тумане.

Слова начальника госпиталя оправдывались: наступление, предпринятое Красной Армией, было действительно началом нашего конца. Вот уже трое суток подряд, днем и ночью, продолжались бои по уничтожению основных сил окруженных войск. Это был первый этап Сталинградской битвы. На юге и западе котла русские добились крупных успехов. Части Красной Армии захватили населенные пункты Цыбенко, Карповка, Мариновка, Дмитриевка. Полдюжины немецких дивизий понесли тяжелые потери в вооружении и транспортных средствах. Пришлось оставить многие инженерные сооружения, построенные с большим трудом. Вновь занятые немецкими солдатами позиции были совершенно не оборудованы.

В эти дни в госпиталь прибывало особенно много раненых и солдат, отставших от своих частей. Все коридоры и углы у нас были заняты. Ко мне явились два казначея с дивизионного медпункта. Одному из них я дал задание обеспечить госпиталь водой. Другому поручил не менее сложное дело – достать топливо.

В госпитале попросили убежища несколько священников. Они отбились от подразделений санслужбы, к которым были приписаны. Пришлось принять и их. Теперь в каждой землянке для раненых дежурили не только санитары, но и один или двое священников. Они давали пить раненым, утешали страждущих.

У каждого из обитателей набитых до отказа землянок была своя жизнь. Большинство раненых были молоды, дома их ждали родители, жены или невесты. Многие еще не успели обзавестись детьми. За исключением нескольких кадровых солдат, большинство имели гражданские специальности: одни были промышленными рабочими, другие – ремесленниками, третьи – крестьянами, четвертые – учителями, пятые – инженерами.

В одной из землянок, уставившись в потолок, лежал худой блондин. Он хотел стать строителем, однако под Песчаной ему осколком бомбы раздробило правую руку. В данном случае без ампутации никак нельзя было обойтись. Парень уже никогда не возьмет в руки карандаш или линейку, не сделает самого простого чертежа.

Рядом с блондином валялся на нарах мелкий лавочник, из Ростока. Когда его привезли в операционную, я как раз был там. С искаженным от страха лицом парень рассказал, как его ранило. Во время очередной контратаки шедший впереди солдат

подорвался на мине. Его же поразило в обе ноги. Все это произошло день назад. Когда стали перебинтовывать его ноги, солдат увидел, что они покрыты множеством мелких, рваных ран. Врач начал ощупывать раны. От боли солдат закричал как оглашенный и чуть было не свалился с носилок.

– Сейчас мы сделаем вам небольшое вспрыскивание, – успокоил раненого врач, – и вы ничего не будете чувствовать.

Когда раненый уснул, капитан сказал только два слова: «Газовая гангрена».

Эти слова мне не раз приходилось слышать на дивизионном медпункте. В свое время доктор Гутер объяснял мне, что это значит. Поэтому, когда капитан осторожными движениями ощупывал раны солдата из Ростока и я явственно услышал легкое потрескивание, мне тоже все стало ясно.

– Правую ногу уже не удастся спасти, – сказал доктор Герлах. – Повреждены главные артерии. Нужно ампутировать.

Раны на левой ноге были не так опасны: кровеносные артерии функционировали. Раны тщательно обработали.

Это была очень сложная операция. Она требовала большого мастерства и заняла много времени. Даже при самых благоприятных условиях нельзя было на сто процентов ручаться за жизнь раненого, тем более сейчас.

Многие раненые находились при смерти. Они нуждались в поддержке и утешении. День ото дня число умерших росло. Не все умирающие покорно слушали последние напутствия священника. Были и такие, которые отказывались от исповеди: они больше не верили в бога.

***

– Скоро мы потеряем и аэродром в Питомнике, – сказал мне профессор Кутчера, когда мы из-за железнодорожной насыпи наблюдали за налетом советской артиллерии. Сказаны эти слова были 10 января, а через четыре дня наступило это самое «скоро».

После первого сильного натиска Красная Армия сделала небольшую передышку, затем огонь ее артиллерии обрушился на сооружения второй полосы немецких войск. Эта полоса создавалась в далеко не благоприятных условиях и не отличалась прочностью. 14 января противник овладел аэродромом Питомник, который был для 6-й армии все равно что сердце для человека. Благодаря Питомнику армия получала продовольствие, горючее, боеприпасы, медикаменты, короче говоря, все необходимое. Правда, явно в недостаточном количестве, но все

же получала, что, разумеется, лучше, чем ничего.

Теперь положение немецких войск стало критическим. На запасной аэродром в Гумраке нечего было и надеяться, так как он находился всего в пяти километрах северо-восточнее Питомника. Район, занимаемый 6-й армией, к этому времени сократился примерно на одну треть по сравнению с положением на 8 января 1943 года. Линия фронта от берегов Волги проходила теперь мимо Елшанки, через Воропаново, затем вдоль полотна окружной железной дороги до Гумрака, далее несколько южнее Конной, Орловки и на Рынок. Район котла уменьшился настолько, что советская артиллерия могла простреливать его насквозь в любом направлении.

В первые два дня в районе Гумрака не приземлилось ни одного самолета. Напрасно мы смотрели на небо и прислушивались к каждому гулу. Наконец с юго-запада показался один «хейнкель», однако на посадку не пошел. Мы видели, как из фюзеляжа полетели какие-то крупные предметы. Через несколько секунд раскрылись купола парашютов, груз плавно опустился на землю.

– Бомбы с продовольствием! – ехидно пошутил кто-то.

За сутки до этого, получая на складе продовольствие, я слышал разговор о том, что наша армия насчитывает ровно сто семьдесят тысяч человек. «Интересно, – подумал я, глядя на опускающийся груз, – а как же теперь будут доставляться к нам боеприпасы и горючее? Тоже будут сбрасываться на парашютах?»

Правда, некоторые самолеты все же стали садиться на аэродроме, но продовольствия они привозили очень мало. За период с 12 по 16 января в среднем в день доставлялось около шестидесяти тонн продовольствия. В последующие пять суток эта цифра выросла до семидесяти девяти тонн, а 22 и 23 января она упала до сорока пяти тонн.

Чем меньше становился район котла, тем чаще продовольствие, сброшенное с самолетов, попадало в руки противника. Когда уже нельзя было использовать парашюты, пилоты сбрасывали хлеб, колбасу, горох и прочие продукты прямо в мешках или картонных ящиках. По 6-й армии был издан строгий приказ – под страхом смертной казни сдавать все найденное продовольствие на продсклад.

Вечером в землянке врачей все только и говорили о положении в Питомнике.

– Давайте включим радио, – предложил старший провизор. – Сейчас как раз должны передавать последние известия.

И он начал вращать ручку настройки приемника. Послышались музыка, позывные солдатского радиопередатчика

«Густав». Когда музыка кончилась, диктор зачитал сводку верховного главнокомандующего от 16 января 1943 года.

Нас, конечно, больше всего интересовали события, имеющие непосредственное отношение к Сталинграду.

Наконец дошла очередь и до них:

«… В районе Сталинграда наши части вот уже несколько недель мужественно обороняются от наседающею со всех сторон противника. Вчера они отбили сильные контратаки пехоты и танков противника, нанеся им большие потери».

– Ну вот видите, господа, – заговорил доктор Шрадер. – Выходит, положение наше не так уж и плохо! Фронт держится, а разговоры о том, что аэродром Питомник захвачен противником, – просто выдумка.

– Было бы очень хорошо, – заметил я, – если бы все это было правдой. Я же лично считаю, что эта сводка главного командования вермахта – самая настоящая небылица. Жаль, что вчера вас не было вместе со мной в Гумраке. Вы бы собственными ушами послушали, что рассказывают штабные офицеры, которым 14 января чудом удалось спастись от русских танков.

– Значит, вы осмеливаетесь утверждать, что верховное главнокомандование лжет? – с гневом спросил дантист.

– По-видимому, да, – ответил я. – Больше того, считаю, что это не первая и не последняя ложь, которой нас пичкают в течение восьми недель.

– Своими разговорами вы подрываете дух наших войск, – бросил мне в лицо дантист. – Это пораженчество чистой воды.

При слове «пораженчество» я невольно вспомнил капитана медслужбы Бальзера, который незаметно удрал из котла, как только почувствовал опасность. А уж какие красивые слова он только не говорил! Не хуже этого дантиста.

В наш разговор вмешался доктор Герлах.

– Не так горячо, господин Шрадер, – сказал он. – Лучше объясните, что именно вы понимаете под «духом наших войск»? Уж не имеете ли вы в виду дух этих несчастных, которые, как перепуганные и загнанные до смерти зверюшки, прячутся по землянкам и убежищам? Скажите, думали ли вы когда-нибудь о том, что вот вам, врачу, придется работать и, быть может, умереть в такой дыре?

– Я знаю только то, – с перекошенным от злости лицом проговорил дантист, – что мы обязаны спасти Германию и нацию от смертельной опасности. Ради этой цели мы участвуем в этой битве. Ради этой цели мы должны держаться и выстоять.

– Господин Шрадер, – сказал я, – все мы выполнили свой долг. Мы и дальше будем оказывать посильную помощь больным

и раненым. И, если потребуется, умрем вместе с ними. Однако все это не мешает нам задать самим себе вопрос: «Почему?» Спросить это мы имеем полное право – и как люди, и как немцы.

– Первый и самый главный долг солдата – стойкость, – возразил мне Шрадер. – Война – большое испытание для немцев. И тот, кто этого не понимает, зря носит военную форму.

– Изволите понимать это как оскорбление? – спросил капитан. – Но меня вам этим не оскорбить. То, что вы называете «стойкостью», – не что иное, как глупое упрямство. Перестаньте бросать на ветер красивые фразы и не называйте других пораженцами.

– Нервы у всех нас сильно взвинчены, – заметил я, – поэтому ваши слова мы не принимаем всерьез. И все же в одном я хочу вам возразить, а именно: стойкость становится пустой формальностью, если не учитываются реальные возможности. Я, правда, не могу похвастаться тем, что мне известна первопричина всех наших страданий. Однако я хочу найти ее. В сегодняшней сводке верховного командования ее нет, так как сводка лжива.

На следующий день в офицерской землянке разговор как-то не клеился: разногласия были слишком серьезными.

По установившейся традиции, у нас врачи и санитары ходили и работали без оружия. В то утро доктор Шрадер, отправляясь на работу, нацепил на пояс кобуру с пистолетом.

– Господа, – обратился он ко всем, – не следует забывать, что эта штука стреляет. Русские у нас под носом. Семь пуль для них, последняя – себе в грудь.

– Как прикажете понимать вас, господин Шрадер? – спросил его капитан Герлах. – Уж не хотите ли вы стрелять по русским прямо в лазарете?

– Именно так. Прежде чем пустить себе пулю в лоб, я убью нескольких большевиков.

– Это безумие! Что вы предлагаете? – оборвал его я. – Подумайте о раненых. Если хоть кто-нибудь из нас окажет сопротивление, начнется перестрелка, в ходе которой могут пострадать невинные.

– Подумайте о жене и детях, – добавил доктор Герлах. – Уж не думаете ли вы, что они обрадуются вашему самоубийству?

– Пусть вас это не тревожит! Как бы там ни было, русским я живым в руки не дамся! И перед смертью уложу не одного из них…

– Точно так же поступлю и я, – раздался вдруг голос фельдшера Рота. – Неужели вы верите, что русски* берут в плен? Они схватят нас, допросят, а потом – пулю в затылок или отправят на пожизненную каторгу в Сибирь. Нет, благодарю, я на

это не пойду!

В то время как капитан Герлах встал на мою сторону, доктор Вальтер и Штарке разделили мнение дантиста. Инспектор же остался нейтральным. Он не присоединился ни к одной из сторон.

Я понимал, что при такой расстановке сил может получиться большая неприятность.

– Господин Шрадер, – обратился я к дантисту, – вы что-нибудь слышали о Женевской конвенции в отношении военнопленных? Советский Союз тоже подписал эту конвенцию. Кроме того, предлагая нам капитуляцию 8 января 1943 года, советское командование ясно написало, что всем раненым, больным и обмороженным будет оказана медицинская помощь. Если мы сами будем придерживаться Женевской конвенции, не будем применять оружие, не снимем повязок Красного Креста, противник не откроет огня.

– Вы можете делать, что вам заблагорассудится! Я же поступлю так, как считаю нужным. – С этими словами дантист схватил свою меховую шапку и вышел из землянки. На ремне у него болтался пистолет.

Я решил немедленно рассказать обо всем этом главному врачу.

***

Связной мотоциклист сообщил нам, что 23 января будет последняя выдача продовольствия, после чего склад прекращает свое существование. 21 января части Красной Армии заняли аэродром западнее Гумрака, а восточнее окружной железной дороги советские минометы обстреливали продовольственный склад.

Рано утром, когда густой туман еще не поднялся над. землей, мы выехали из Елшанки.

Кроме меня и водителя в полуторке было двое солдат, которых я взял на случай, если машина где-нибудь застрянет в снегу и нужно будет ее откапывать.

По всему чувствовалось, что Красная Армия и в этот день не оставит нас в покое. Накануне русская артиллерия вела в течение получаса ураганный огонь по юго-западному району котла. Отдельные снаряды взрывались километрах в двух от госпиталя. Минометные обстрелы продолжались часами. Очень часто мы видели в небе огненные хвосты, оставляемые от залпов «катюш». После полудня к нам стали прибывать новые раненые. Все они

были перепуганы до смерти.

По всей видимости, русские вели наступление в направлении Воропаново.

Этот населенный пункт находился в восьми километрах западнее госпиталя. Наш путь лежал через Воропаново.

Не успели мы проехать и десяти минут, как впереди увидели два грузовика. Неужели это «катюши»?

Это были обыкновенные грузовики. В темноте они, видимо, съехали с дороги и скатились в эскарп. Я приказал шоферу остановиться и вылез из кабины.

В кабине первого грузовика никого не было. Возле заднего левого колеса лежал мертвый. Левая рука его была в гипсе. Я заглянул в кузов. В нем оказалось двадцать замерзших раненых.

Такая же картина и во второй машине.

Это были тяжелораненые. Их, видимо, спешно пытались вывезти из дивизионного медпункта, испугавшись русских танковых частей. Возможно, их хотели доставить в госпиталь в Елшанке или же везли на южную окраину Сталинграда. По следам на снегу было видно, что шоферы пытались выехать на дорогу. Когда же это не удалось, они пошли пешком, вероятно, в надежде позвать кого-нибудь на помощь.

Дальше по дороге все чаще и чаще нам стали попадаться одиноко бредущие солдаты. У них был страшный вид. Это были жалкие остатки тех подразделений, на которые вчера обрушился огневой вал русских. Оружия ни у кого из солдат не было, разве что кое у кого на голове еще осталась каска. Редко у кого можно было увидеть зимнюю шапку, ботинки или сапоги. У большинства обмороженные ноги обмотаны какими-то тряпками, головы закутаны шарфами, да так, что виднелись только ввалившиеся глаза да отмороженный нос сине-черного цвета.

Нередко среди этих солдат попадались и раненые с повязками. Некоторые брели по двое – по трое, крепко держась друг за друга или опираясь на палки. Когда кто-нибудь хотел на минутку присесть, товарищи долго уговаривали его идти дальше. Однако если уговоры не действовали, товарищ махал рукой и шел дальше один. Остановившийся же садился на снег и сразу же засыпал крепким сном. И больше уже никогда не просыпался. Через час-другой несчастный замерзал, и ветер заносил его снегом.

***

Вскоре показалась водонапорная башня Воропанова.

Подъехав ближе, мы увидели развалины вокзала, жилых домов, взорванные паровозы, вагоны, разбитые вдребезги грузовики, пушки, танки. Кругом валялись каски, ранцы, котелки, коробки от противогазов, карабины, автоматы.

И повсюду мертвые, над которыми носились стаи ворон.

Воропаново находилось под обстрелом русской артиллерии. Над головой то и дело свистели снаряды. Они взрывались то перед нами, то позади нас. Едкий дым пожарищ резал глаза, мешал дышать.

Мы решили как можно скорее проскочить через Воропаново, но сделать это было нелегко. На шоссе почти на каждом шагу попадались глубокие воронки или же перевернутые машины. Часто проехать мешали группы солдат или брошенная ими амуниция.

Чтобы выбраться из Воропаново, нам понадобилось больше часа. Наконец мы выехали на открытую дорогу. Но в это время в небе послышался гул самолетов. На небольшой высоте летели краснозвездные истребители. Шли они как раз над шоссе.

Увидев первый «ил», я приказал остановиться. Отбежав в сторону от дороги, мы залегли в снег. Бомбы упали точно на шоссе. Однако нам повезло, грузовик наш остался цел и невредим. Только мы забрались в машину, как снова показался самолет. Бежать в сторону уже было поздно, и нам ничего не оставалось, как дать газ в надежде, что и на этот раз нам повезет.

На продовольственном складе на окраине Гумрака царило невообразимое оживление. Интенданты, казначеи, фельдфебели, унтер-офицеры и солдаты – все были на своих постах, помогая поскорее ликвидировать склад. Сделать это было нетрудно, так как складские помещения и без того были почти пусты. Минометный огонь, пулеметные и автоматные очереди нервировали персонал склада. Приехавшие за продуктами представители частей получали очень понемногу продуктов.

После потери гумракского аэродрома на запасном аэродроме у Сталинграда садилось очень мало самолетов. Поле аэродрома было таким маленьким, что сесть на него мог лишь первоклассный летчик, да и то только днем. Кроме того, действовал этот аэродром всего лишь двое суток. С 26 января уже ни один самолет не мог приземлиться в районе расположения 6-й армии.

Спустя час я вместе со своими товарищами ехал обратно в госпиталь. В грузовике мы везли лишь десятую долю суточной дачи для всей нашей голодной оравы в тысячу четыреста человек.

И это были последние продукты, полученные на складе! Далее планировалось доставлять продовольствие самолетами,

если им, конечно, удастся перелететь через линию фронта. Да и то сброшенные продукты в первую очередь попадут частям первого эшелона.

На обратном пути нас захватил страшный снежный буран. Радовало, что в такую погоду на нас не могли налететь «илы», но двигаться приходилось лишь с черепашьей скоростью.

Однако самое плохое заключалось не в этом. Чем ближе мы подъезжали к Воропаново, тем чаще нам навстречу попадались немецкие и румынские солдаты. Они брели безо всякою порядка. Раненые, обмороженные, больные – все шли в одном направлении – к городу на Волге, словно надеялись найти в его развалинах хлеб и тепло.

Глядя на эту охваченную паникой, измученную орду, я чувствовал, как у меня сжимается сердце. Эти люди уже перестали быть солдатами. Для них уже не существовало больше никаких приказов. Они были готовы пойти на что угодно, лишь бы спасти свою жизнь.

И во что только превратили этих людей война и голод! А ведь было время, когда они спокойно жили в родительском доме, ходили в школу, учились. У них было определенное представление о жизни, были свои цели. И вдруг такое!

Настоящую оргию ужасов мы увидели перед самым Воропаново. Три немецких танка на скорости ворвались на улицу, не обращая никакого внимания на то, что давили гусеницами собственных солдат. Это была уже пляска смерти 6-й армии.

Кольцо окружения в этот день сжалось до окружной дороги. Командование армии в своей новой передаче по радио описало результаты прорыва противника и снова отклонило условия капитуляции.

Генералы, находящиеся в котле, покорно повиновались приказу, а их подчиненные снова должны были воевать.

Никогда я не чувствовал себя таким разбитым душевно и физически, как в тот вечер, когда стал невольным свидетелем предсмертной судороги немецкого южного фронта. У меня было такое ощущение, будто руки и ноги отказываются повиноваться, а на мои плечи давит неимоверный груз. Голова раскалывалась от боли. Механически я доложил начальнику госпиталя о получении продуктов и об увиденном мною в пути. Спокойным голосом он пригласил меня спуститься в его землянку и там поговорить.

– Конец очень близок. Русские каждую минуту могут оказаться здесь. Это, может, произойдет сегодня ночью или завтра днем. Нам следует подумать о том, что делать. Что у нас есть из продовольствия?

– Только то, что я сегодня привез из Гумрака, – ответил я. – И

еще до семидесяти пайков НЗ на два дня. Я предлагаю семьдесят пайков на одни сутки погрузить в машину, в которой мы перевозим самое необходимое медицинское оборудование. Все же остальное пустить в котел, каждый получит по половинке супа и по полбулки хлеба. Это и будет наша последняя выдача пайка, на дорогу.

– Хорошо. Так и сделаем. Я думаю, мы получим приказ направить раненых, способных передвигаться, и медперсонал в город. Хорошо еще, что символический запас продовольствия у нас все же есть, – сказал, горько усмехнувшись, профессор.

– Я никак не могу всего этого понять. Можно с ума сойти! Вот уже девять недель нас кормят обещаниями: «Держитесь! Фюрер вас вызволит, спасет!» или «Вся Германия прилетит в Сталинград!» А мы здесь дохнем, как крысы. Неужели такое возможно?

– Работая врачом, я всегда думал, что у меня самая гуманная, самая необходимая людям профессия, – начал профессор. – Все гуманное уничтожено, все национальное попрано.

Кутчера схватил в руки небольшую книжку и начал листать, отыскивая какое-то место.

– Это книжка Канта. Я его неплохо знаю. И эта книжка – моя постоянная спутница.

– Я тоже немного знаком с Кантом, – заметил я. – Сейчас вы, наверное, ищете место, где Кант пишет о нравах и обычаях.

– Да, да, именно это место я и ищу. Сейчас мы посмотрим, что говорит старый философ по этому поводу. – Профессор перевернул еще одну страницу и начал читать, водя пальцем по строчкам. – По Канту выходит, что я, как человек, должен действовать, неся ответственность за свои действия, так чтобы мои действия отвечали действиям всех других людей. Но все те, кто поставил нас в положение убийц и гонит на верную гибель, действуют против этого завета.

– Значит, бесчеловечно приказывать идти на верную гибель не ради высокой цели? А кто несет за это ответственность? А что делаем мы? Мы вот рассуждаем об этом, а сами маршируем дальше.

– Да, мы и сами не безгрешны, – заметил профессор. – Я вот пошел служить в вермахт, хотя имел много претензий к режиму. Пять лет назад я ни за что бы не поверил в возможность того, что мы сейчас видим и переживаем. Да, я не был последователен. Гитлер как хамелеон, да и в те времена его личность чем-то привлекала меня. Сейчас я уже точно знаю, что Гитлер – олицетворение преступления.

– Возможно, он не знает о нашем положении? – попытался

возразить я профессору. – Но Паулюс-то и наши генералы прекрасно это знают.

– И Гитлер, и все верховное командование вермахта точно информированы о нашем положении. Они ведь главные виновники случившегося. Это не меняет ничего, даже если командующий 6-й армией со своей стороны тоже виновен в отдаче бессмысленных приказов.

– Это ужасно. Но вы правы, – сказал я. – Незадолго перед Новым годом мы в Городище дали приют одному майору. Он пробирался в западный район котла, но был застигнут бураном. Он рассказал нам о старом Блюхере. Когда в его войсках в 1807 году кончился хлеб и порох, он капитулировал перед французами и сдался в плен. Ни один историк никогда не упрекнул его за это. И ведь его корпус не находился так долго в таком положении, как наша армия. Непонятно, почему Паулюс не сделает такого же шага?

– Паулюс не Блюхер и не Зейдлиц, – твердо сказал подполковник.

– Вы имеете в виду командира нашего корпуса? – спросил я.

– Да, Вальтера фон Зейдлица. Еще в начале нашего окружения он написал Паулюсу письмо, в котором советовал в случае необходимости действовать самостоятельно – вопреки требованиям Гитлера, хотя тогда еще все надеялись прорваться. В прошлом году я видел Зейдлица в котле под Демянском. Благодаря его мужеству и энергии окруженные пробились к своим. Но там в окружение попало лишь сто тысяч, а не двести пятьдесят тысяч, как у нас. И главный фронт находился в нескольких десятках километров, а не в нескольких сотнях километров, как у нас. Начиная с января свобода действий для нашей приговоренной к смерти армии – не в попытке прорваться, а в необходимости принять капитуляцию.

***

Капитуляция.

Плен.

Другого выхода для нас не было.

Прежде чем прийти к этой мысли, я много и мучительно передумал.

– Вы считаете, что, сдавшись в плен, мы сможем надеяться когда-нибудь увидеть своих близких? – спросил я профессора.

– По этому поводу я мало что могу сказать определенного. Каждый должен решать по-своему. Как врач, я знаю, что через три

недели все мы перемрем, если не будем получать хотя бы минимального пайка. Понимая это, я требую принять капитуляцию.

– Извините, господин подполковник. Задавая свой вопрос, я думал не о капитуляции, а о плене.

– А вы, я вижу, упрямы. Чтобы вы меня поняли, расскажу вам кое-что из своей жизни. В течение десяти лет после 1933 года я столько пережил, что стал смотреть на жизнь скептически. Это даже немного пугало меня, так как я понимал, что такое отношение принесет мне еще больше разочарований. Вряд ли мы можем надеяться, что русские примут нас по-дружески. Мы, немцы, слишком виноваты перед русским народом. И большую долю этой вины придется искупать военнопленным. Что касается лично меня, я сомневаюсь, что жизнь за колючей проволокой будет чего-то стоить.

Это признание профессора меня испугало. Я ведь хотел поговорить с ним о заявлении доктора Шрадера и фельдшера Рота о самоубийстве и надеялся, что профессор Кутчера будет в этом вопросе моим единомышленником. А он сам засомневался. Я не ожидал такого поворота, так как незаметно он, как старший, стал для меня своего рода примером.

– Ваши слова обеспокоили меня. До сих пор я решительно отклонял любую мысль о самоубийстве и думал, что и вы придерживаетесь такого же мнения. Разумеется, советский плен будет для нас нелегким, но нужно надеяться пережить его. Мысли о жене и сыне помогут мне в этом.

– Я благодарю вас за откровенность. Я не боюсь каких-то там психических последствий плена. Но меня беспокоит духовная жизнь. Над Германией темная ночь, и я не вижу никакого просвета. Я не знаю, найду ли в себе силы постоянно носить в душе муки совести.

– Вы должны найти эту силу. У вас есть товарищи, которые будут идти по такому же трудному пути. Какой пример вы покажете персоналу госпиталя и раненым, если старший офицер и профессор университета покончит жизнь самоубийством?

– Я еще раз благодарю вас за сочувствие, дорогой друг. Я хорошенько подумаю над вашими словами. Можете быть уверены, я выполню свой долг до тех пор, пока я, как офицер и врач, буду необходим. Ну а пока спокойной ночи! Завтра у нас будет очень тяжелый день.

Когда я повернулся к двери, профессор быстро подошел ко мне и еще раз пожал руку: – Всего вам хорошего.

***

На улице все еще шел снег. Дул юго-западный ветер, бросая в лицо колючие снежные хлопья. Там, на юго-западе, решалась наша судьба. Возможно, все кончится даже в самые ближайшие часы.

Как было бы хорошо заглянуть в будущее! Но кто знает, быть может, лучше и не заглядывать?

Фельдфебель Гребер лежал в землянке для рядовых у самого входа. Он еще не спал, так как сразу же откликнулся, когда я тихо позвал его по имени. Его «так точно» свидетельствовало о том, что он прекрасно понял все мои указания в отношении порядка при раздаче талонов на паек.

Я пошел в свою землянку. Не зажигая огня, снял сапоги и поставил их поближе, чтобы они были под рукой. Шапку я тоже положил рядом. Расстегнув пуговицы френча, не раздеваясь, лег на свое соломенное ложе и накрылся шинелью.

С соседних нар доносилось спокойное дыхание спящих. И только я ворочался с боку на бок.

Итак, что-то будет завтра!

Противник снова продвинется вперед, и еще меньше станет кольцо окружения вокруг Сталинграда. В этом кольце, в руинах, норах, отрытых в снегу, в балках, уже некому будет сражаться. Измученные люди, которые до сих пор оказывали противнику сопротивление, попадут или в плен, или навсегда останутся лежать на поле боя, или же побредут на восток, к городу.

Вероятнее всего, Елшанку, где находился наш полевой госпиталь, войска Красной Армии займут завтра.

В приказе по армии говорилось, что при приближении советских войск всех раненых необходимо отправить в город. Один наш священник, вернувшись из Сталинграда, рассказывал, что подвалы домов в центре города, здания городской комендатуры, а также лазареты на окраинах забиты ранеными, обмороженными, больными и ослабевшими от голода солдатами. Что же будет с полевым госпиталем в Гумраке? Сейчас части Красной Армии, вероятно, совсем близко.

– Из дивизионного медпункта в Городище, – продолжал священник, – я еле выбрался. Положение там очень тяжелое. Из других медпунктов удалось эвакуировать три-четыре тысячи больных и раненых. В Городище же очень плохо.

Раненые и больные, рассказывал дальше священник, лежали в коридорах и помещениях многоэтажного привокзального здания. Раненые лежали, тесно прижавшись друг к другу, страдая от ран и голода. Лежали в полной темноте: все стекла выбиты, а окна заколочены досками или же заложены кирпичами. Санитары не успевали справляться со своими обязанностями, а в темноте

вообще было нелегко отличить умершего от еще живого. Многих умерших поэтому не сразу выносили из помещения, и с каждым днем таких становилось все больше и больше. Такую же картину можно было увидеть и в полуразрушенных товарных вагонах. Там было еще холоднее. Когда столбик термометра падал до двадцати – двадцати восьми градусов, собственного тепла для ослабленного организма уже не хватало.

Армейский госпиталь в Гумраке был своеобразным массовым лагерем смерти. До 16 января командование армии находилось неподалеку от этого госпиталя. Но, невзирая ни на что, оно требовало: «Сопротивляться до последнего человека!»

В полевом госпитале в Елшанке тоже было уже несколько десятков трупов, замерзших как льдышки. Их сложили в углу двора штабелями, так как невозможно было раскопать мерзлую землю. Санитары старались прикрыть эти штабеля снегом, но это удавалось далеко не всегда. А что же ждет живых – раненых и тех, кто еще здоров?

Я долго ворочался, лежа на своих нарах в полной темноте. Меня вдруг охватило чувство одиночества и страха. Неужели профессор Кутчера прав? Смогу ли я несколько долгих лет провести за колючей проволокой, не видя Эльзу и Хельмута?

Вчера, когда я уже не надеялся получить весточку из дому, мне принесли письмо. Письмо, отправленное авиапочтой еще в середине декабря. Оно было послано на мою старую полевую почту в Городище. Один из моих товарищей захватил его, отправляясь на склад за продуктами. Жена писала, что она еще надеется на мой рождественский отпуск. А я за несколько дней до этого написал ей, что вряд ли она еще получит от меня письмо. Возможно, мы долго не увидимся. Разве что судьба будет благосклонна ко мне…

Судьба?

Бегство в город

Взрыв. Потом еще один взрыв.

Сон как рукой сняло.

В крошечное оконце, вырезанное в двери, пробивался слабый свет. В землянке было темно. Кто-то бросился зажигать фонарь на столе.

Потом еще два взрыва. А может, это и не взрывы вовсе, а выстрелы? Как бы там ни было, стреляли совсем близко. Землянка содрогалась.

– Танки! Танки!.. – кричал кто-то снаружи.

Все мигом стали натягивать сапоги и одеваться. Хватали автоматы, висевшие на стене, и выскакивали в предрассветную мглу. У входа в нашу землянку подполковник выслушивал доклад гауптфельдфебеля.

Изо всех землянок безо всякого приказа вылезали раненые: кто без руки, кто на одной доге, кто с повязкой на голове. Все, кто мог хоть как-нибудь передвигаться. Появились санитары и священники.

Я хорошо различал гул танков. Со стороны высотки, что была сбоку от землянок, слышались выстрелы. Оттуда бежали несколько солдат и долговязый дивизионный священник в фиолетовой шапке. Но вот они упали, окрасив снег кровью. Тем временем группа вооруженных солдат под руководством доктора Шрадера устанавливала на крыше два легких пулемета. Они открыли огонь в том направлении, откуда слышались выстрелы.

Минут через десять противник прекратил стрельбу. Гул танков стал тише: видимо, они удалялись.

Наверное, это была танковая разведка. Дантист Шрадер утверждал, что, сидя на крыше, он собственными глазами видел русские танки и автоматчиков на них.

Вместе с фельдшером Ротом он отправился на место, где недавно прошли танки. Действительно, в каких-нибудь двухстах метрах от госпиталя на снегу отпечатались следы двух танков. Тут же лежали три мертвых красноармейца, убитых из пулемета дантистом. Доктор Шрадер так и сиял от радости, что ему удалось заставить русских танкистов повернуть обратно.

Мне лично от всего этого стало как-то не по себе. Я считал, что в сложившейся обстановке было бы лучше вывесить флаг Красного Креста, чем затевать эту бессмысленную стрельбу и подвергать тем самым опасности жизнь нескольких сот раненых.

Мои опасения не были напрасными. Не прошло и двадцати минут, как на довольно небольшой высоте над госпиталем

пролетел советский штурмовик. Он сбросил несколько бомб, которые, к нашему счастью, взорвались на таком расстоянии от землянок, что не причинили нам никакого вреда.

– Быстро вывесьте флаги Красного Креста! – закричал начальник госпиталя.

Гауптфельдфебель и унтер-офицер принесли флаги.

– Один повесьте на крайнюю землянку, – Кутчера показал в направлении, в котором скрылся самолет и откуда он, видимо, мог появиться еще раз. – А второй флаг установите в самом центре госпиталя.

Унтер-офицер и фельдфебель поспешили выполнить приказ подполковника. Едва они успели разложить на снегу длинные полотнища с красными крестами, как снова послышался шум самолета. На этот раз он летел на большой высоте.

Правда, бомб теперь самолет не сбрасывал. То ли пилот заметил выброшенные нами полотнища с красными крестами, то ли он уже сбросил свой смертоносный груз на другие цели.

Главный врач приказал всему персоналу собраться на короткое совещание перед землянкой хозяйственников.

– Мы должны передислоцироваться в центр города. Все раненые и больные, способные самостоятельно передвигаться, пойдут в колонне. Ответственность за них несет капитан медслужбы доктор Герлах. Старший казначей, вы возьмите два грузовика, захватите самое необходимое медицинское оборудование, остатки пайка НЗ и езжайте вперед, чтобы подготовить временный лазарет для приема раненых. Весь персонал, кроме меня, старшего аптекаря Клейна, доктора Шрадера, фельдшера Рота, инспектора Винтера, двух унтер-офицеров и шести солдат, которых отберет гауптфельдфебель, отправится в город. Если корпусной врач пришлет нам машины и горючее, то завтра утром мы постараемся перевезти тяжелораненых. Вопросы есть?

– Господин подполковник, суп готов и хлеб нарезан.

– Немедленно приступить к раздаче пищи. Раздавать не все, так как многие раненые отправятся в путь самостоятельно. Тяжелораненые получат дополнительный паек.

Когда танки дали первый залп из пушек, многие раненые бросились бежать в северо-восточном направлении. Страх поднял на ноги даже тех, у кого были серьезно обморожены ноги, и тех, кому каждый шаг причинял страшную боль. Они еле плелись, иногда ползли – лишь бы только подальше уйти от этого места. Некоторые за пять минут проходили всего сто метров. Пройдя километр, они полностью выдохлись и уже не могли двигаться дальше. Сели. Остальное сделал сильный мороз.

Дорога в город превратилась в дорогу смерти.

Я старался поскорее снарядить в путь оба грузовика, а инспектор охранял НЗ и наблюдал за раздачей пищи.

Неожиданно в воздухе что-то заклекотало. И в тот же миг перед госпиталем взорвался снаряд, брызнуло во все стороны комьями мерзлой земли и льдом. Снег мгновенно стал черным. Второй снаряд разорвался между землянками. Третий угодил прямо в толпу солдат, стоявших у полевой кухни за супом.

Появились новые убитые и раненые.

Площадка перед полевой кухней мгновенно опустела.

Даже капитан Герлах со своей группой быстро покинул территорию госпиталя. В землянках остались только тяжелораненые да врачи и санитары, назначенные начальником госпиталя. С ними добровольно остался один священник.

Я только собрался было доложить начальнику госпиталя о готовности к выезду, как он сам вышел из офицерской землянки.

– Вы, случайно, не видели инспектора? Я хочу знать, что здесь осталось из продовольствия? – обратился он ко мне.

Сколько мы ни искали, Винтера и след простыл. Страх, видимо, и его заставил забыть обо всем, и инспектор присоединился к бежавшим в город.

– В таком случае я прошу вас остаться здесь, – сказал мне профессор. – Повяжите себе на рукав повязку Красного Креста. Мы сдадим госпиталь русским.

В душе я обрадовался такому решению.

Больше профессор уже не вспоминал о поездке в город. Значит, он серьезно решил дождаться прихода русских в Елшанку.

Мне это казалось разумным.

***

В госпитале снова воцарилась тишина. Артиллерийский обстрел прекратился. Но оставшихся в госпитале раненых и медперсонал это обеспокоило.

Время тянулось мучительно долго. Секунды казались минутами, минуты – часами.

Когда же придет этот час?

А может, он станет последним часом нашей жизни?

Оставалось только ждать.

Врачи, казначей, аптекарь и санитары были распределены по землянкам. Дежурство в землянках, где лежали раненые, вот уже несколько недель вызывало споры. Обходя землянки и глядя на

бледные изможденные лица раненых, было трудно не потерять веры в человечность. Раненых осталось человек триста. Все они лежали на соломе, разбросанной прямо на полу. По их виду уже невозможно было определить возраст. Казалось, все лица стали одинаковыми – заострившийся нос, торчащие скулы и огромные запавшие глаза, блестевшие из глубоких глазниц.

И все же в этих людях еще жили человеческие чувства. Я посмотрел на лицо солдата, который лежал совершенно неподвижно. Он только что исповедовался у священника. Крест, висящий на груди солдата, был для него в этот момент символом духовного спасения. Губы раненого шевелились, повторяя за священником слова молитвы, призывающей бога ниспослать свою благодать на голову несчастного страждущего. Этот солдат умирал с верой в бога, с надеждой, что увидится со своими родными и близкими в лучшем мире.

У другого такой веры не было. «С нами бог» было написано на пряжке ремня у каждого, но для этого солдата бога больше не существовало. Раненого беспокоила судьба его жены и детей. И особенно его мучило то, что он так бессмысленно кончает свою жизнь. Он судорожно хватал ртом воздух и снова впадал в летаргическое состояние.

Некоторые были вообще настолько слабы, что не могли ни исповедоваться, ни возмущаться. Смерти оставалось только дохнуть, и они попадут в ее лапы. Этим людям не помогут и победители, пусть даже у них самые лучшие врачи, санитары, медикаменты и продукты питания.

Около полудня был роздан суп, который остался в котле. Нашелся и хлеб. Однако некоторые раненые были в таком состоянии, что уже не реагировали, когда им под нос клали кусок хлеба.

Мы ничего уже не могли сделать. Оставалось только ждать.

– Начальник просит вас зайти к нему, – передал мне вошедший в землянку солдат.

Начальник госпиталя взволнованно шагал из угла в угол.

– Вы знаете, что получилось? Корпус послал нам автобусы для перевозки транспортабельных раненых. Но об этом я сейчас случайно узнал из разговора по телефону с полковником медслужбы. Он удивился, что мы до сих пор торчим здесь. Вопреки приказу штаба корпуса начальник соседнего полевого госпиталя забрал себе наши автобусы и погрузил в них своих раненых. Я только что побывал там. Госпиталь совершенно пуст. В землянках – только мертвые.

– Это же настоящее свинство! – возмутился я. – Что же нам теперь делать?

– Для этого я вас и позвал. Вы единственный человек, который знает, где находится командный пункт армейского корпуса. Возьмите с собой унтер-офицера – и быстро туда! Доложите полковнику и квартирмейстеру о том, что у нас здесь произошло. И от моего имени попросите, чтобы нам немедленно прислали машины, иначе я снимаю с себя всякую ответственность за судьбу находящихся здесь тяжелораненых.

Утомленный, он повалился на стул и, положив руки на стол, уронил на них голову.

Я молчал. Затем попытался хоть как-нибудь утешить подполковника:

– Никто никогда вас не упрекнет. Вы сделали все возможное. Я сейчас сразу же отправлюсь в путь. Через час уже доложу обо всем корпусному врачу, квартирмейстеру или начальнику штаба.

– Благодарю вас, – со слезами на глазах сказал профессор. – Ко мне пришлите унтер-офицера. Он доложит о результатах ваших переговоров. Сами же отправляйтесь в город, разыщите наши машины и постарайтесь получить какое-нибудь помещение для госпиталя. Самое позднее завтра утром я должен забрать тяжелораненых и выехать отсюда. Ну, а теперь прощайте.

Он так и сказал: не «до свидания», а «прощайте».

***

Схватив пистолет и быстро нацепив каску, я поспешил к товарищам. Мешочек для провизии я пристегнул к ремню. Туда же положил книжку с бланками донесений, шапку, носовой платок, мыло и бритву. Все свои остальные вещи – белье, шерстяное одеяло, плащ-палатку – я поручил привезти потом. Последние письма, полученные из дому, сунул себе в карман. Прощаясь с товарищами, я надеялся на скорую встречу с ними.

Я и унтер-офицер спешно отправились в путь. Миновали следы танков, которые были здесь утром, и вышли на шоссе. На всем пути шоссе было усеяно обломками техники и трупами солдат 6-й армии.

Из-за темноты и тумана ничего не было видно метров за двадцать, зато все звуки слышались, как никогда, отчетливо.

Пройдя по шоссе минут десять, мы вдруг услышали какие-то металлические звуки и приглушенную человеческую речь.

Мы остановились и прислушались. Слава богу, это были немцы!

– Пароль?! – раздался неожиданно чей-то твердый голос. Из темноты нам навстречу вынырнули три темные фигуры –

немецкие солдаты с оружием наперевес.

– Мы из госпиталя в Елшанке, идем на НП корпуса с донесением. Пароля мы не знаем.

Нам поверили. И я в свою очередь спросил:

– Что означают эти инженерные работы?

– Здесь будет проходить новый передний край обороны, – ответил мне фельдфебель, который был старшим в патруле.

– Новый передний край? Как же так? Ведь там остались сотни раненых. До полевого госпиталя – буквально пятнадцать минут ходьбы. Ни одна живая душа там и не подозревает, в какой опасности они находятся.

Фельдфебель пожал плечами:

– Очень жаль, но мы ничего изменить не можем. Мы пошли дальше еще быстрее, и оба скоро вспотели.

Подумать только, наш полевой госпиталь оказался вдруг на ничейной земле! Между двух фронтов! В полосе огня с обеих сторон!

Как только начнется бой, не поможет никакое напоминание о Женевской конвенции. Никакой флаг Красного Креста! Стрелять будут не только красноармейцы, но и немецкие пушки и гаубицы. Крыши землянок загорятся, и раненые погибнут. Снаряды будут разрываться прямо в землянках.

Немцы будут погибать от рук немцев.

Какое безумие!

***

В туманной дымке показались контуры силосной башни. Теперь нам нужно свернуть вправо. В этих местах я был всего лишь один раз, да и то белым днем. Я старался правильно сориентироваться, зная, что штаб корпуса находится где-то недалеко от железной дороги и в то же время почти на берегу Волги.

Через час после того как мы вышли из Елшанки, я уже стоял перед корпусным врачом – пожилым господином. Он по-отечески внимательно выслушал меня, ни разу не перебив. А уж я-то вложил: в свой доклад всю душу.

– Я охотно помог бы вам и профессору Кутчере, – сказал он, – но у меня ничего нет. Автобусы отправили сегодня утром. Они были предназначены для вашего госпиталя. На них вы бы вывезли раненых, которых можно было еще вылечить. Ваш сосед поступил неправильно, не по-товарищески.

Старый человек с погонами полковника на плечах казался

невероятно утомленным. Чувствовалось, что он, как и очень многие врачи в те дни, никак не мог увязать все происходящее со своей гуманной профессией.

Я старался не смотреть на полковника.

– Господин полковник, как вы полагаете, квартирмейстер тоже ничем не поможет нам? – спросил я. – Мне поручено разыскать его.

– Подождите минутку, я узнаю, на месте ли он. – С этими словами полковник встал и вышел, прикрыв за собой дверь.

До сих пор мне еще ни разу не приходилось лично беседовать с квартирмейстером. Мне было известно, что это – офицер генерального штаба, отвечающий за расквартирование войск, за транспорт и подвоз. Интересно, что он за человек? И тут я вдруг вспомнил, что мне рассказывал один офицер о квартирмейстере корпуса.

В этот момент в комнату вошли полковник-врач и молодой еще подполковник с широкими лампасами на брюках. Это и был квартирмейстер. Я доложил обо всем. По сравнению с врачом подполковник показался мне холодным и сухим человеком. И я не ошибся.

– Что вы хотите со своими тремястами ранеными? У командования хватает и без вас забот. Здесь пропадает целая армия. Все, что может произойти сегодня ночью с вашими ранеными, завтра или послезавтра может случиться со всеми нами.

– Прошу прощения, господин подполковник, но ведь речь идет о раненых, которые долгие месяцы сражались на поле боя. Мы с вами еще можем стоять на ногах, а они беспомощны. Им необходимо помочь. Это наша обязанность.

– Что значит «обязанность», «помочь» в таких условиях? Я уже сказал вам: бессмысленно тащить сейчас этих раненых в город. Мы и так забили все убежища небоеспособными людьми. Кроме того, ваш полевой госпиталь уже более часа находится позади линии обороны. Ни одна немецкая машина не сможет уже попасть в Елшанку. Все!

Подполковник повернулся и вышел.

Все мои усилия оказались напрасными.

Справившись, где мне переночевать, я попрощался с корпусным врачом.

Поведение квартирмейстера возмутило меня до глубины души. Даже если он и прав как военный, то зачем этот цинизм? К сожалению, все высшие офицеры в котле, даже из штаба армии, вели себя крайне цинично. Они во всем руководствовались не человеческими отношениями, а слепым беспрекословным

подчинением приказу, даже если из-за этого бессмысленно гибли люди. Такие говорили: «Так точно!» и гнали целые дивизии на убой, вот такие превращали улицы в развалины, а госпитали и лазареты – в передний край обороны.

Мне стало страшно, когда я вспомнил о своих товарищах, которые остались в Елшанке. Что я могу сделать для них?

И я решил послать нашего унтер-офицера обратно в госпиталь, чтобы доложить об обстановке. Быть может, кое-кому все же удастся избежать гибели? Пусть в госпитале знают, что я добрался до центра города и разыскиваю наших.

При свете свечи я набросал несколько фраз на листке бланка для донесений и отдал записку унтер-офицеру.

***

В холодном помещении, куда я был определен на ночлег, кроме меня находился один капитан из пехотной дивизии. Батальон, в котором служил капитан, две недели назад был разгромлен противником. После этого капитан командовал разными сводными подразделениями, и они тоже были разгромлены противником. На завтра он получил новый боевой приказ.

Я коротко рассказал капитану о цели моего прибытия в город и встрече с квартирмейстером. Выслушав меня, капитан проговорил:

– Все, что вы рассказали, меня уже давно не волнует. Хотя жизненное пространство 6-й армии вот уже в течении семидесяти суток становится все меньше и меньше, между вышестоящими штабами и фронтом все еще громадная пропасть. Господа из штабов ругают тех, кто стоит над ними, а сами отдают приказ за приказом с требованием сражаться до последнего патрона. Сами они получают лучшее расквартирование и продовольствие. И жертвуют фронтом.

– Это просто невозможно понять! – вырвалось у меня. – И здешний квартирмейстер еще смеет говорить о каком-то военном руководстве. На деле же выходит, что давным-давно тут нет никакого руководства. Одни лишь бездушные автоматы, которые забыли выключить.

– Так оно и есть, – подтвердил мое определение офицер. – Все эти люди, даже генералы, воспитаны по принципу «Так точно! Будет выполнено!». На их картах – огромное количество всевозможных флажков, показаны линии фронтов, нарисованы стрелки наступлений, однако на самом деле обстановка на

фронте совсем иная. Вот мне, например, приказано завтра утром в который уже раз прочесать лазареты и убежища, чтобы набрать команду из полумертвецов и провести с ними «операцию», которую выдумали умники из вышестоящего штаба.

– Все это самое настоящее безумие!

– Самое печальное во всей этой истории то, что многие из них с самого начала затвердили, будто круговая оборона означает для армии крах. Они прекрасно знали, что обещание снабжать нас по воздуху крайне легкомысленно и что после провала операции Гота по деблокированию вообще нечего надеяться на войска, которые якобы извне прорвут кольцо окружения. Но, несмотря на это, наши командиры по-прежнему покорно щелкали каблуками, когда из штаб-квартиры фюрера приходил приказ держаться до последнего.

– Но ведь и мы делаем то же самое. Машина пущена в ход, и ни у кого не хватает мужества остановить ее и капитулировать. Это какой-то заколдованный круг, – сказал я.

– Одно дело, когда о капитуляции заявляет командующий целой армией или генерал – командир крупного соединения. И совсем другое – когда какой-то там капитан, у которого под командой всего-то двадцать – тридцать солдат. У небольшого подразделения на передовой возможностей на прорыв почти нет. К тому же ты не знаешь, не перестреляет ли тебя и всех твоих солдат сосед справа или слева. А что вы можете сделать, находясь в госпитале? Вам ничего не остается, как сидеть и ждать до тех пор, пока русские не подойдут к вам вплотную. Вот тогда вы сможете сделать попытку перейти на их сторону.

– Это так, – согласился я.

– По законам войны и военной иерархии, только самый старший начальник, командующий окруженной группировкой, может дать приказ войскам сложить оружие и прекратить всякое сопротивление. Небольшие группы могут самостоятельно сдаться в плен только в том случае, если они отрезаны от основных сил и находятся в непосредственной близости от противника.

Разумеется, наш ночной разговор с моим случайным соседом ничего не мог изменить. Однако мы оба еще больше укрепились в мысли, что командование армией и прочие вышестоящие штабы действуют вопреки интересам наших войск.

На следующий день я отправился на поиски моих товарищей из госпиталя. Я облазил все руины консервной фабрики, обшарил район южного вокзала, элеватора и паровой мельницы.

Но безуспешно.

Тогда я пошел в северном направлении, осматривая дымящиеся развалины зданий. Однажды меня чуть было не

придавило обвалившейся стеной. Заслышав вой снарядов, я бросался на почерневший от дыма и копоти снег. А потом опять перешагивал через замерзшие трупы, заглядывал в темноту многих убежищ и подвалов.

Однако ни одного человека из Елшанки я не нашел.

Между тем начало темнеть. До смерти устав, грязный как черт, с пустым желудком, я наконец остановился в одном из подвалов недалеко от большой площади. Это был один из многих подвалов, где умирали от голода тяжелораненые. Врачи и санитары находились тоже на грани полного истощения в борьбе за жизнь своих подопечных. Вчера в Елшанке в это же время я сам был примерно в такой же ситуации и добрым словом пытался утешить того или другого раненого: больше я ничем но мог им помочь. Сейчас же я так устал, что не было сил даже говорить. Я молча наблюдал, как группа врачей при тусклом свете свечи возилась с каким-то раненым.

Отдохнув немного, я вышел на улицу.

Занимался новый день.

Это было 26 января 1943 года, три дня спустя после моей последней поездки в Гумрак.

***

«Стоит ли мне еще лазить по развалинам? – подумал я. – Так можно и погибнуть».

И тут я вспомнил о своих старых сослуживцах из Городища. Не лучше ли разыскать их, вместо того чтобы бесплодно бродить по руинам?

От вокзала, где я находился, до Городища было километров десять. Если идти вдоль Татарского Вала, я выйду прямо к дивизионному медпункту. На это потребуется три-четыре часа.

Итак, в Городище. Теперь у меня появилась новая цель. Я приободрился и зашагал к окраине города. Миновал центральный район, и вскоре прямо передо мной раскинулась снежная равнина. Где-то справа должен был находиться бывший аэродром. В сентябре прошлого года, возвращаясь с Вертячего, я пережил на этом аэродроме налет «яков». Тогда Н-ская пехотная дивизия вбила узкий клин в оборону противника в районе Волги.

Какие большие изменения произошли с тех пор! В ту зиму, а она была тоже очень суровой, я нисколько не сомневался в нашей победе на Волге. «Войска вермахта победной поступью прошли не одну тысячу километров, – рассуждал я тогда. – Так почему же фортуна изменит нам здесь, в этом городе?» Так думал я в

прошлом году, проезжая эти места на своем велосипеде. Мне тогда и в голову не могло прийти, что через год я буду плестись пешком по этой же самой дороге, разбитый и обессиленный.

Степь была огромным кладбищем. То тут, то там я видел трупы. Эти солдаты перешли в мир небытия. Трупы заносило снегом, получались маленькие холмики. Некоторых погибших снег еще не успел запорошить, и они лежали в страшных позах на дне или же на краях воронок. Тут же валялись оружие и машины самых различных марок, обломки мебели, рации, ящики, бочки. Все уже полузанесло снегом. Дорога красноречиво свидетельствовала о паническом отступлении наших войск.

Занятый этими грустными размышлениями, я не сразу заметил, что вокруг меня рвутся мины и снаряды. Но ближе к аэродрому разрывы стали гуще. Опомнившись, я испугался и залег. Скорее всего, это был не заградительный огонь, а артиллерийская подготовка перед наступлением.

Что же мне делать? В это время на дороге показалась машина. Убедившись, что это немецкий грузовик, я вскочил и побежал ему наперерез. Водитель, видимо, заметил меня, так как сбавил скорость.

– Чудак, ты что, к русским захотел? – крикнул мне кто-то из машины. – Мы – последние…

Чьи-то руки помогли мне влезть в машину.

Трудно передать мою радость – это были товарищи с дивизионного медпункта.

– Городище уже двое суток как занято русскими, – сообщил мне кто-то.

– Радуйся, что мы тебя заметили, – утешал другой.

Конец

6-я армия вступила в последнюю стадию своей смертельной борьбы. 26 января противник расчленил ее на две части: на южную, куда входил и центр города, и на северную, где находились Тракторный и другие заводы. Части Красной Армии безостановочно двигались вперед. Земля дрожала от разрывов снарядов. Руины, обваливаясь, засыпали входы в подвалы. Все, что могло гореть, было объято пламенем. Однако никаких следов капитуляции не наблюдалось.

Зато число слухов не уменьшилось. Говорили, что где-то под Гумраком сброшен немецкий парашютный десант – всего несколько сот человек, но вооруженных какими-то особенными пулеметами и огнеметами, сжигающими все на своем пути. Болтали, что этот отряд освободит территорию, куда будет выброшена эсэсовская дивизия. Авиация пробьет брешь, через которую прорвутся две тысячи танков. Утверждали, что фюрер не оставит 6-ю армию. Нужно набраться терпения, подождать несколько дней, может быть, несколько часов, и придет долгожданное освобождение.

Сколько таких россказней и небылиц ходило тогда по подвалам разрушенного города, в которых ютились немецкие солдаты!

Иногда случайно мне удавалось услышать из громкоговорителя обрывки сводки вермахта. Так, например, 24 января 1943 года немецкое радио передало, что положение наших войск под Сталинградом в результате прорыва частей Красной Армии сильно осложнилось. А дальше говорилось буквально следующее: «Однако вопреки всему немецкие солдаты, показывая беспримерное мужество, зажали город в кольцо».

25 января верховное командование вермахта сообщило:

«6-я армия, ведущая героическую самоотверженную борьбу в Сталинграде, покрыла себя неувядаемой славой».

Когда начальник штаба разгромленного русскими танкового корпуса просил начальника штаба армии генерал-лейтенанта Шмидта уговорить Паулюса согласиться наконец принять условия капитуляции, Паулюс ответил, что у его солдат есть еще ножи и зубы, чтобы продолжать сопротивление.

***

Командир 8-го армейского корпуса генерал Гейтц подписал

любопытный приказ по корпусу. Обращаясь к двум другим командирам корпусов, трем командирам дивизий, трем полковникам и прочим офицерам, Гейтц вместо того, чтобы положить конец всем страданиям и отдать приказ сложить оружие, разразился целой серией угроз такого содержания: «Каждый, кто пожелает капитулировать, будет расстрелян! Каждый, кто выбросит белый флаг, будет расстрелян! Каждый, кто поднимет сброшенный с самолета хлеб или колбасу и не сдаст их, будет расстрелян!»

Ровно через двое суток этот стойкий генерал со всем своим далеко не маленьким багажом сдался в плен.

***

К тому времени многие офицеры и солдаты покончили жизнь самоубийством. Попрощавшись с сыном – лейтенантом одного из подразделений своей пехотной дивизии, покончил жизнь самоубийством командир дивизии генерал Штемпель. Командир 71-й пехотной дивизии генерал-лейтенант фон Гартман искал смерти, ведя огонь по противнику, стоя в полный рост на железнодорожной насыпи. Некоторые из офицеров строили поистине фантастические планы. Решив во что бы то ни стало прорваться, они готовы были преодолеть четыре сотни километров, лишь бы соединиться с немецкими войсками, действующими на основном фронте. Некоторые из офицеров пробовали осуществить эти планы на деле, но ни одному из них так и не удалось прорваться. Были и такие, кто решил «по-боевому» погибнуть. Они, ничего не разбирая, стреляли во все стороны, пока сами не падали замертво.

***

В те последние дни окружения немцы гибли и от рук самих же немцев. Вместо того, чтобы устранить действительные причины голода и лишений – взять да и капитулировать, командование армии ввело чрезвычайные меры военного времени: лица, отказывающиеся повиноваться, мародеры и спекулянты расстреливались в течение двадцати четырех часов. За короткое время было вынесено триста шестьдесят четыре смертных приговора. Это сделало еще более мрачной картину гибели 6-й армии.

Смерть в Сталинграде поджидала на каждом шагу.

Но, о чудо! Иногда с неба падали всевозможные упаковки с продовольствием, вселяя крошечную надежду. Даже не верилось, что некоторым «юнкерсам» и «хейнкелям» удавалось пролететь сотни километров и сбросить свои грузы в котле. Это были мужественные пилоты.

За период операции, начиная с ноября 1942 года по конец января 1943 года, в воздухе или на земле было уничтожено четыреста восемьдесят восемь транспортных самолетов. При этом погибло около тысячи человек летного состава.

Я понимал, что, хотя недалеко и до конца, в госпитале меня ждет работа, и поэтому старался разыскать своих товарищей из полевого госпиталя.

Многоэтажное здание театра вот уже несколько дней служило пунктом сбора раненых. Все оно от подвала до чердака было забито ранеными. Перед входом в театр я увидел штабель из трупов. Такого мне еще никогда не приходилось видеть: длина штабеля – шагов тридцать. И никаких табличек с фамилией! Это никого не интересовало.

В здании городской комендатуры мне тоже ничего не сказали о солдатах из Елшанки. А через два дня это здание вообще разнесло огнем артиллерии.

Сколько я ни искал, так и не нашел ни одного знакомого. И уже почти отказался от мысли кого-нибудь найти. И вдруг кто-то крикнул мне:

– Казначей!

Передо мной стоял мой фельдфебель «по снабжению.

– Дружище, ты! – обрадовался я. Инстинктивно я назвал его на «ты». – Где вы застряли? Я уже двое суток разыскиваю вас. Как я рад, что наконец-то среди этого хаоса нашел хоть одного знакомого!

С фельдфебелем были два солдата: они хотели разыскать что-нибудь съестное.

– Мы поселились в подвале одного разрушенного дома на площади. Вчера нас разыскал аптекарь. От него мы узнали, что вас послали к корпусному врачу. Вам повезло. Подполковник – начальник госпиталя, доктор Шрадер, фельдшер Рот и оставшиеся в Елшанке санитары погибли. В живых остались все трое санитаров. У нас тоже многие погибли. От прежнего персонала почти никого не осталось.

Профессор Кутчера погиб! А я-то надеялся встретиться со своими старыми товарищами из Елшанки.

Под огнем противника мы пробрались к месту, где расположился наш госпиталь. Там находилось всего лишь несколько человек из персонала, чудом оставшихся в живых.

Аптекарь Клайн рассказал мне обо всем, что произошло с ними два дня назад.

– Когда красноармейцы со стороны Воропаново ворвались в наше село, мне вместе с одним унтер-офицером удалось уйти. В темноте, к тому же еще был туман, русские подошли совсем близко к нашим землянкам. Укрывшись в развалинах, они дали несколько выстрелов. В ответ доктор Шрадер, фельдшер Рот и еще несколько санитаров открыли по русским огонь. С военной точки зрения, сопротивляться было просто наивно, так как, несмотря на темноту, немцы представляли для красноармейцев слишком хорошие цели. Кроме того, это сопротивление ставило под угрозу жизнь раненых.

Не прошло и минуты, как Шрадер, Рот и многие солдаты были убиты. Аптекарь Клайн, следовавший на расстоянии за обоими врачами, побежал прочь и чуть не наступил на лежащего на земле офицера. Это был подполковник – начальник госпиталя.

Сколько Клайн ни тряс его, сколько ни звал – все было напрасно. Профессор Кутчера был уже мертв. Снег под головой профессора покраснел: тоненькая струйка крови текла по правому виску убитого. Фашизм отнял у прогрессивно настроенного человека веру в лучшее завтра. В критическую минуту профессора победили сомнения. Он выхватил пистолет и покончил с жизнью. Это был один из многочисленных трагических случаев в последние дни января сорок третьего года в битве под Сталинградом.

Смерть под Сталинградом никого не щадила. Она уносила генералов, офицеров, солдат, врачей, раненых, измученных и совершенно здоровых людей, уносила тех, кого одолевали сомнения, и тех, кто не был с ними знаком.

Дальше я слушал аптекаря безо всякого интереса. Гонимый страхом, он побежал в город, где совершенно случайно среди развалин большой площади наткнулся на наш передовой отряд.

Унтер-офицер, которого я послал в госпиталь с донесением, тоже оказался здесь. Особенно меня обрадовала встреча с моими старыми товарищами – Эрлихом, Шнайдером и Вайсом.

Унтер-офицер Эрлих рассказал мне следующее. Оказалось, что оба госпитальных грузовика, которые с санитарным оборудованием были посланы в город, по дороге застряли: у одной машины что-то случилось с мотором, а у другой кончился бензин. И водители и раненые в страхе бросили машины и влились в общий поток, направляющийся в город.

Капитан Герлах остановил бегущих и заставил их вернуться к машине, чтобы можно было унести на руках наиболее ценное и необходимое, а у машин выставить часовых.

Машины разыскали без особого труда, но оказалось, они уже разграблены. Операционные столы, лампы, стерилизаторы, носилки – все это было поломано и выброшено в снег. Ценный инструментарий, хранившийся в металлических коробках, был разбросан, картонки с бинтами и ватой разорваны, ценные медикаменты исчезли неизвестно куда. Пропали сто шерстяных одеял, которые находились в машине.

Санитары стали копаться в снегу, собирая скальпели, ножницы, пинцеты, зажимы и прочие инструменты. Однако собранного едва бы хватило для оборудования одной операционной.

Паек НЗ и кухонная посуда в другой машине были разграблены полностью.

Услышав о пропаже НЗ, я почувствовал, что теряю сознание. В глазах у меня потемнело. Ноги подкосились. Если бы меня не поддержали, я бы, наверное, упал. Придя в себя, увидел, что лежу на земле. Кто-то поил меня водой.

Капитан Герлах вместе с доктором Вальтером и доктором Штарке приняли одно отделение госпиталя, недалеко от большой площади. Операционный стол, несколько десятков свечей, немного перевязочного материала, болеутоляющих таблеток и кое-что из инструмента – вот и все, что было в их распоряжении.

Собственно говоря, большинству пациентов уже не нужна была медицинская помощь. И если ее оказывали, то разве что для успокоения своей совести.

Из таких побуждений и я старался быть полезным. Иногда я помогал хирургу, который за отсутствием специального скальпеля при операциях отрезал отмороженную ногу обыкновенным перочинным ножом. Поскольку никаких средств для наркоза у нас и в помине не было, все операции проводились без обезболивания. Так что всем приходилось слышать рев оперируемого. Раненые, однако, настолько были слабы, что очень скоро от невыносимой боли впадали в обморок.

Самое лучшее, на что я был способен, это заботиться о том, чтобы в госпитале была питьевая вода. Недалеко от госпиталя, на левом берегу Царицы, находились колодцы. Около них постоянно толпились водоносы. Противник все время обстреливал колодцы из минометов, однако с грехом пополам все же удавалось за день принести несколько ведер воды. Мы пробовали топить воду из снега, но с дровами тоже было нелегко. Спичек и тех не хватало.

Доставать воду и топливо с каждым днем становилось все труднее и труднее. Если раньше основную опасность представлял минометный огонь и бомбежки, то теперь, когда кольцо окружения все сжималось, над головами то и дело свистели пули.

Приходилось перебегать согнувшись, а то и ползти по-пластунски. Наши потери с каждым днем увеличивались. Иногда отправлялись за водой или за снегом (опять-таки для воды) двое или трое, а возвращались с раненым, а то и в одиночку. Кто-то навсегда оставался лежать где-нибудь между развалин.

Два раза в день раненым раздавали целый котел питьевой воды, и это было все, что получали двести раненых, сидящих в темном подземелье. Я иногда сопровождал врача, когда он делал свой обход, осторожно пробираясь среди развалин. Впереди нас обычно шел санитар со свечой, и при ее свете липа раненых и больных, казалось, совсем теряли человеческие признаки.

После Елшанки у меня маковой росинки во рту не было, а ведь с тех пор прошло более трех суток. В таком же положении находились и мои товарищи. И как только человек еще может двигаться после этого! Правда, двигались наиболее сильные, наиболее волевые. Стоило только раскиснуть – и человек пропадал. Однако голод и болезни не щадили даже тех, кто старался не падать духом.

***

Теперь, когда мне удалось разыскать остатки своей части, я прилагал все усилия, чтобы достать хоть что-нибудь из продовольствия. Я обшарил всю местность вокруг штабов, сунул свой нос в каждую дыру и везде просил дать хоть капельку еды для моих товарищей. Редко когда удавалось выклянчить немного жмыха, желудевого кофе, чая или несколько килограммов конины.

Ответ обычно был один и тот же:

– Очень жаль, но у нас самих ничего нет.

И вот однажды мне повезло.

По дороге к колодцам я натолкнулся на какой-то румынский штаб. А в нашем госпитале находилось несколько румынских солдат. И я решил попытать счастья.

Пока я раздумывал, как это лучше сделать, из подъезда полуразрушенного дома вышли два офицера – майор и генерал. Я узнал командира румынской дивизии, которая в ноябре прошлого года действовала вместе с нами.

Я отдал честь и, подойдя ближе, изложил суть моей просьбы. Генерал что-то сказал майору по-румынски, потом обратился ко мне по-немецки:

– Мы можем дать вам одну лошадиную ногу. Передайте румынским раненым привет и наилучшие пожелания от их

генерала.

Я поблагодарил и пошел за водой. Когда я возвращался обратно, мясо для меня уже подготовили. Это был кусок фунтов на сорок. Мы разрезали конину на множество мелких кусочков и сварили в котле. Каждый из нас получил по алюминиевому котелку супа. Правда, суп был совсем несоленый и без единой блесточки, но все же это было горячее варево. В желудок попало хоть что-то.

***

В ста пятидесяти шагах от нашего госпиталя находилось санитарное отделение. Было это по соседству с центральной площадью. Несколько дней подряд наши «хейнкели» и «юнкерсы» сбрасывали на этот пятачок продовольствие в ящиках. Ночью площадь освещалась специальными лампочками, и там постоянно дежурили полевые жандармы. Проходить на площадь было строго запрещено. Каждого, кто пытался это сделать, расстреливали на месте безо всякого предупреждения! Трупы нескольких солдат на подступах к площади свидетельствовали о том, что жандармы усердно несли свою службу.

По ночам в темном небе слышался шум моторов. Иногда о приближении самолетов мы узнавали по залпам советских зениток. Если же раздавался взрыв, все понимали, что еще один самолет сбит русскими. А это ни много ни мало две тонны продовольствия! Если самолет вез хлеб, значит, на воздух взлетали по крайней мере двадцать тысяч кусков хлеба по сто граммов каждый.

На площади, в подвале полуразрушенного универмага, располагался командующий 6-й армией генерал-полковник Паулюс вместе со своим штабом. Это из его подвала пришел приказ: «Раненым и больным не выдавать больше ни крошки продовольствия. Все – для тех, кто держит оружие!»

Мы не получали теперь ни грамма – ни для себя, ни для раненых. Двери продовольственного склада были наглухо закрыты для нас. Я лично воспринял этот приказ как неслыханный произвол по отношению к раненым и больным, которые до последнего, не жалея сил, не щадя жизни, сражались на фронте. Они честно выполнили свой долг и искренне верили обещаниям Гитлера. Они верили и командующему армией, который послушно выполнял все приказы верховного главнокомандования вермахта.

Конечно, в конце января большинство раненых и больных

находилось в таком состоянии, что не было почти никакой надежды на то, что они выживут. Но если говорить о моральной стороне этого приказа, то это бесчеловечно. С незапамятных времен больные и раненые всегда получали особый паек. И человек, нарушавший это правило, совершал преступление. Так как же мог прийти к такому решению командующий 6-й армией?

Мне лично ни разу не приходилось видеть генерала Паулюса. Я знал о нем лишь по разговорам, которые велись за столом на дивизионном медпункте в Городище. Однажды нас посетил там профессор д-р Брандт, личный врач фюрера. Было это еще до окружения. Брандт говорил о Паулюсе с большим уважением – как о хорошем человеке и отличном военачальнике. Если эта оценка личности командующего соответствовала действительности, то как же он тогда мог отдать такой приказ?

А может, этот приказ родился по инициативе начальника штаба армии генерал-лейтенанта Шмидта? В Городище и Елшанке о нем говорили как о злом духе 6-й армии. Что касается выполнения приказов сверху, Шмидт был еще большим фанатиком, чем его шеф. Но ведь в конце концов командует армией не начальник штаба, а командующий!

Как бы там ни было, на мне лежала ответственность за снабжение раненых и больных. И я решил лично заявиться в штаб армии. Капитан Герлах не имел ничего против моего предложения.

Из-за сильного обстрела и усиленной охраны попасть на площадь было нелегко. Я сделал большой крюк, миновал развалины театра.

Здание универмага захватили батальоны 71-й пехотной дивизии еще в сентябре прошлого года. Им пришлось вести рукопашный бой и сражаться за каждый этаж. Тогда 71-ю пехотную дивизию все называли «счастливой», так как она пользовалась некоторыми привилегиями. К тому же у этой дивизии были самые лучшие убежища.

Но фортуна отвернулась и от этой дивизии. Ее командир генерал-лейтенант фон Гартман погиб. Его преемник Роске, только что произведенный из полковников в генерал-майоры, потеснился и предоставил в руинах универмага место командующему с его штабом.

Вход охраняли два жандарма. Справа и слева от входа стояло по одной зенитке. Я засомневался, пропустят ли меня. Два офицера передо мной беспрепятственно прошли через КП, стоило им только сказать: «В штаб 71-й».

Я не стал искушать судьбу и тоже сказал:

– В штаб 71-й.

Меня пропустили.

Во дворе я увидел спуск в подвальное помещение. Подумав, что так можно попасть к командующему армией, я направился туда, но оказался в темном коридоре. Глаза с непривычки почти ничего не различали. Потом где-то впереди забрезжил свет. Увидев полуоткрытую дверь, я пошел туда.

– Да, пожалуйста, – услышал я в ответ на свое «разрешите войти».

Это «да, пожалуйста» прозвучало как-то не по-военному. Я вошел. Первое, что бросилось в глаза, это открытая банка с сардинами и полбуханки солдатского хлеба на столе. Вокруг стола стояли табуретки. Однако ни одной живой души не было видно. Сначала я чуть было не схватил со стола сардины и хлеб, но принципы, по которым меня воспитали, не позволили сделать этого.

Я уже повернулся к двери, как чей-то голос, идущий, казалось, откуда-то с потолка, спросил:

– Что вы хотите?

Только теперь я заметил в стене нечто похожее на нишу. Там стояли трехэтажные нары. На самом верху, подперев рукой узкую длинную голову, лежал офицер. Я назвал ему свое воинское звание, фамилию и часть.

– Полковник фон Хоовен, начальник связи армии, – ответил он. – Что вас привело ко мне?

– Прошу прощения, господин полковник. Мне необходимо срочно достать продовольствие для двухсот раненых. Они лежат в подвале на той стороне площади. А со вчерашнего дня, я слышал, вошел в силу приказ, согласно которому раненым и больным больше не выдается никаких продуктов…

– Я знаю об этом, – ответил полковник. – Вы хотите, чтобы этот приказ отменили?

– Это очень жестокий приказ. Между прочим, несколько десятков врачей и санитаров, обслуживающих госпиталь, тоже не получают никаких продуктов.

– Продовольствие выдается только в боевые части.

Глядя на стол, на котором стояла банка с консервами и лежал хлеб, я невольно подумал о том, что здесь далеко не передовая. Вслух же сказал:

– Я не знаю, известно ли командованию, какое тяжелое положение в госпитале? По-моему, этот приказ страшно несправедлив по отношению к раненым и больным. Ведь они страдают больше всех. Это просто бесчеловечно.

Полковник закусил губу. Затем он спустил ноги и соскользнул на пол. Подтащив к себе табуретку, он сел и

предложил мне сделать то же самое.

– Ваша откровенность мне нравится. Вы, разумеется, правы. То, что здесь происходит, – настоящее безумие. Скажу откровенно: завтра, самое позднее послезавтра, все будет кончено. В штабе армии вряд ли есть хоть один здравомыслящий человек. В конце декабря я прилетел сюда, в котел, из штаба вермахта. Уже тогда не было возможности к деблокированию. Но и сейчас, когда нам ничего не остается, как согласиться на капитуляцию, верховный главнокомандующий отдает приказ – держаться до последнего солдата, до последнего патрона. Нас всех бросают в мясорубку, и мы покорно позволяем это делать.

Фон Хоовен вскочил и нервно заходил по комнате.

– Дело не только в этом приказе, – продолжал он. – Вы совершенно правы: это бесчеловечно. Но вы вряд ли чего-нибудь добьетесь. Изменить приказ или вообще отменить его может только начальник штаба, а он вас просто-напросто не примет.

– А каким образом кончится это безумие, как вы изволили выразиться, завтра или послезавтра? Не пойдем же мы с голыми руками навстречу красноармейцам? Или будем ждать, когда они нас перестреляют?

– Не с голыми руками, но нечто подобное произойдет, – ответил мне полковник. – Главнокомандующий приказал всем командным пунктам также защищаться до последнего человека, до последнего патрона.

– Ходят слухи, что один генерал вместе со своим штабом сдался в плен к русским? Правда ли это? – спросил я.

– Да. Это генерал-майор фон Дреббер. Он вместе со споим штабом и остатками 297-й пехотной дивизии сдался в плен к русским. Начальник штаба армии обругал его трусом и предателем, но Дреббер его уже не слышал. Здесь, в подвале универмага, где командует генерал-лейтенант Шмидт, я полагаю, что и сам командующий и весь штаб будут с автоматами и пистолетами в руках защищать каждое помещение, пока всех их не перестреляют.

***

В отчаянии я распрощался с полковником. А я-то думал здесь получить добрый совет и помощь. Собственно говоря, это можно было предполагать и раньше, с самого начала окружения. Можно было заранее предвидеть гибель нашей армии. Это было очевидно и по поведению верховного командования. Однако несмотря ни на что, все послушно выполняли приказы свыше.

В штаб-квартире, где было относительно уютно и надежно, люди не голодали, как на передовой, зато приказывали не выдавать больше продовольствия раненым и больным и под страхом немедленного расстрела строго-настрого запретили соглашаться на капитуляцию.

А вверх летели доклады, что в котле имеется тридцать – сорок тысяч раненых и больных, которые поедают все продовольствие. И за день до этого было приказано вывесить знамя со свастикой на самом высоком здании города, чтобы под этим знаменем идти в свой последний бой.

Позже я узнал, что в тот самый момент, когда я разговаривал с фон Хостеном, в штабе армии, в том же самом коридоре, только за другой дверью, по радио было передано новое сообщение. Вот его текст. «Фюреру!

6-я армия приветствует и поздравляет своего фюрера в день годовщины прихода его к власти. Знамя со свастикой все еще развевается над Сталинградом. Наша борьба будет служить для живущего и будущего поколений примером того, что даже в безнадежном положении нельзя идти на капитуляцию. Наша борьба приведет Германию к победе.

Хайль, мой фюрер!

Генерал-полковник Паулюс.

Сталинград. 29.1.1943, полдень».

Гитлер послал ответ: «Мой генерал-полковник Паулюс.

Сегодня весь немецкий народ с глубоким волнением следит за событиями в Сталинграде. Как всегда бывает в мировой истории, и эта жертва не будет напрасной.

«Признание» фон Клаузевица оправдывается. Только сейчас вся германская нация понимает всю тяжесть этой борьбы и готова принести ради нее самую большую жертву. Мысленно постоянно нахожусь с Вами и вашими солдатами.

Ваш Адольф Гитлер».

Хорошо еще, что в этой плачевной ситуации оставшиеся в живых солдаты не сразу узнавали о том, как их командующий с помощью вот таких радиопередач гонит своих подчиненных на верную гибель. Однако об этом становилось известно косвенно, из различных приказов вермахта, в которых обязательно находили отражение приукрашенные донесения командования армии.

В дежурном подразделении, в соседнем подвале, еще работал радиоприемник. Туда мы заходили каждый день – послушать последние известия. Оставалось только качать головой, когда мы слушали, что верховное командование вермахта передавало о событиях на Волге.

«27 января. Боеспособные части 6-й армии укрепились в развалинах Сталинграда. Мобилизовав все свои силы и средства, они сковывают наступление Красной Армии на земле и в воздухе. Вклинившийся в город отряд противника был уничтожен в ходе ожесточенного боя.

28 января. Героическое сопротивление немецких войск в Сталинграде продолжается. Все атаки противника на западном и южном фронтах отбиты. Русские понесли тяжелые потери.

29 января. Противник в Сталинграде продолжает атаковать, но наши войска, несмотря на огромные лишения, сдерживают превосходящие силы противника».

В эту ночь я долго не мог заснуть. На ногах у меня были валенки. Клапаны шапки застегнуты под подбородком. Вместо подушки под головой – вещмешок. Закутавшись в шинель, я лежал прямо на полу подвала, прижавшись к товарищам и широко открытыми глазами уставившись в потолок, который содрогался от взрывов.

Я понимал, что выхода из создавшегося положения у нас нет. В голове роилось множество вопросов. Все мои представления о чести, долге и родине оказались ложными.

Хотелось закричать от безысходной тоски и безнадежности. Мои многочисленные «почему» и «зачем» смешались со стонами раненых.

Когда же утром 30 января после полубессонной ночи я вылез из своей норы и пополз в подвал лазарета, первое, что бросилось мне в глаза, были немецкие солдаты: пехотинцы, артиллеристы и танкисты готовились к круговой обороне, готовились совсем недалеко от флагов с Красным Крестом.

Командовал ими молодой капитан. На груди у него под расстегнутой шинелью я увидел Немецкий крест в золоте и Железный крест 1-й степени. И хотя форма на нем была оборвана и измазана, а лицо заросло щетиной и было перепачкано, он лихо командовал. Чувствовалось, что это один из тех офицеров, для которых слово «приказ» служит оправданием любых поступков. Такое соседство представляло большую опасность для госпиталя. Противник в любую минуту мог накрыть огнем этот район, а это означало бы верную смерть и для раненых, лежащих в подвале. Нужно было во что бы то ни стало заставить капитана уйти подальше от госпиталя.

Но капитан не соглашался: все равно, мол, через несколько часов все будет кончено. Он утверждал, что русские не берут в плен, тем более офицеров. И самое лучшее в этой обстановке – умереть в бою. Капитан даже потребовал, чтобы наши врачи, санитары и вообще весь медперсонал взялся за оружие и

присоединился бы к его группе.

– Как же нам отделаться от этого молодчика? – спросил доктор Герлах, когда я рассказал ему об этом.

– Пойду-ка я к старшему по званию. Он находится на нашем участке. Это тот самый румынский генерал, что недавно приказал дать нам конины.

У румынского штаба собралось довольно много немецких офицеров. Все спорили о том, целесообразно ли продолжать сопротивление или же лучше сдаться в плен. Румыны рассуждали куда разумнее немецких офицеров. Наконец было решено ровно в тринадцать часов прекратить огонь и выбросить белые флаги. Пусть русские видят, что мы решили капитулировать!

Наконец-то!

Обратно в госпиталь меня сопровождал один румынский майор. Он передал немецкому капитану-задире приказ своего генерала. Капитан недовольно убрался от нас, но не отказался от мысли занять боевую позицию где-нибудь на другом конце площади.

***

Прислонившись к стене подвала, я смотрел на коптящее пламя свечи. Едва можно было различить лица, шапки и плечи людей. Все молчали. И лишь порой из темноты доносились приглушенные стоны раненых.

Итак, через три часа это безумие кончится.

Однако нужно было еще пережить эти три часа.

Есть ли у нас шанс выжить? Как примут нас победители в этом разрушенном городе? На этой земле, ради которой они понесли неисчислимые жертвы?

Нужно было ждать. Каждый думал о своем.

В эти часы участились случаи самоубийства. Один из врачей прибегнул к морфию. Какой-то старший лейтенант пустил себе пулю в лоб. Раненый фельдфебель сорвал с себя все бинты.

Настало время и для меня решать. Я не раз уже думал об этом. Нелегко было сделать выбор. Тут были и страх перед колючей проволокой лагеря для военнопленных, и боязнь унижения, и глубокое разочарование в обещаниях фюрера, и горькая ирония по поводу, его приказа держаться до последнего. Нельзя было без содрогания думать о судьбе родины, родных, близких и всего народа.

«Неужели уже нет никакой надежды?»

В моей душе шла борьба. Не пока у меня в руках еще было

оружие. А что будет, если я брошу его?..

Я медленно вытащил пистолет из кобуры. Несколько секунд держал пистолет в руках, чувствуя холод стали. Затем, поднявшись по ступенькам лестницы, выбросил его в канализационную яму.

Этот шаг был решающим. Я не имел никакого права кончать жизнь самоубийством. Я должен жить! Хотя бы для того, чтобы когда-нибудь увидеть своих родных. Жить для того, чтобы всем рассказать о том, что произошло на берегах Волги, чтобы рассказать женщинам, матерям и детям о злоупотреблении жизнью немецких солдат.

Около полудня вокруг все еще свистели пули. Бой шел совсем рядом. Вдруг кто-то крикнул, что по радио передают выступление Геббельса. Когда мы добрались до соседнего подвала, там уже набилось столько народу, что нам пришлось стоять в дверях.

Рейхсминистр елейным голосом вещал:

– … Из всех гигантских сражений в настоящее время следует выделить сражение под Сталинградом. Это сражение останется самым значительным и героическим в нашей истории. То, что делают сейчас там наши гренадеры, минеры, артиллеристы, зенитчики и многие, многие другие – начиная от генерала и до рядового солдата, – неповторимо.

«Героическая борьба»? Какая чушь!

«Борьба генералов»? Какая насмешка!

Потом пошла более нахальная ложь. Геббельс в порыве патетики начал сравнивать гибель окруженных под Сталинградом немецких войск с героической смертью трехсот спартанцев под Фермопилами два с половиной тысячелетия назад.

«… С тех пор прошли столетия, но и по сей день их борьба и принесенные ими жертвы вызывают восхищение и служат нам примером высшего солдатского долга. И еще раз в истории повторился их ратный подвиг…

Борцы Сталинграда должны выстоять. Этого требуют от них закон чести и приказы военного командования. Закон чести, и только он может спасти наш народ».

«Закон чести и приказы военного командования»? Что же это за закон чести, если он позволил верховному командованию обмануть целую армию ради спасения собственного престижа? Это – тот самый закон, по которому Гитлер и его командование вермахта уничтожили четверть миллиона немецких солдат?

Я не хотел иметь никакого отношения к этому закону. Рейхсминистр продолжал в том же духе. Каждое его слово было издевательством над немецкими солдатами, умирающими под Сталинградом.

И снова в душе возникал вопрос: по какому закону, кто дал право тянуть немецких солдат на берега Волги? Я не мог ответить на этот вопрос. И все же где-то в глубине сознания я уже начинал понимать, что необходимо беспощадно восстать против самого себя и против всех тех, кто ввергнул нас в эту катастрофу.

30 января 1943 года ровно в тринадцать часов немецкие и румынские части, находившиеся вокруг руин универмага, прекратили огонь. Белые флаги и просто платки, вывешенные на развалинах, возвестили о капитуляции. Русские тоже перестали стрелять.

И вот появились победители – крепкие, румяные, в меховых шапках, в валенках и полушубках. Автоматы на груди или в руках. «Жизнь и смерть» – невольно промелькнуло у меня в голове сравнение, когда я увидел здоровых, сильных красноармейцев и призрачные фигуры немецких солдат, вылезающих из подвалов.

В плен нас взяли без особых инцидентов. Раненые, сидящие в подвале, при слабом свете свечи сначала увидели на лестнице валенки, потом полушубок и наконец всю фигуру советского офицера. Он спускался в сопровождении нескольких автоматчиков. Некоторые из немцев подняли руки вверх, на что советский офицер не обратил никакого внимания. На ломаном немецком языке он спросил, есть ли тут командиры и не осталось ли у кого оружия. Между тем автоматчики осветили карманными фонариками все углы подвала и затем тихо, словно боясь потревожить покой тяжелораненых, что-то сказали офицеру по-русски. Тот в свою очередь обратился к доктору Герлаху:

– Врачи остаются с ранеными. Все остальные, кто может передвигаться, выходите наверх.

После этого офицер достал из полушубка пачку папирос и угостил Герлаха и меня. Так я взял в руки первую в жизни папироску. Старший лейтенант дал нам прикурить и заверил нас, что жизнь всех военнопленных гарантирована, а раненые получат медицинскую помощь.

Такой была наша первая встреча с победителями, которых мы так боялись. Русские вели себя по отношению к нам предельно корректно и гуманно. Это особенно чувствовалось после всего пережитого, когда мы долгое время страдали от бесчеловечности собственного командования.

И вот я вместе с легкоранеными выбрался на свет божий из подвала, где последние дни находился под флагом Красного Креста. День клонился к вечеру. Пленные стояли кучками. Здесь было несколько тысяч немецких и румынских солдат. Все они походили на призраков. Как жалко они выглядели!

И все же этим людям никто не разрешал капитулировать. Приказ бороться до последнего солдата, до последнего патрона никто не отменял. И словно в доказательство этого неожиданно со стороны штаб-квартиры командующего армией немецкие зенитки начали обстрел пленных. От разрывов снарядов погибло несколько солдат и раненых.

Однако вскоре капитулировал и сам командующий со своим штабом.

30 января 1943 года в сводке вермахта говорилось буквально следующее: «Положение в Сталинграде без изменений. Мужество защитников непреклонно».

***

Сдача в плен была горькой и тяжелой. Во мне жили старые понятия, и ничего нового я тогда не мог себе представить.

Проваливаясь в снег, я шагал в колонне пленных. Мы шли мимо разрушенных зданий, мимо сожженных танков и разбитых орудий. Перешагивали через каски и замерзшие трупы. Шли медленно, падали, вставали и снова шли – и так не больше одного километра за час.

Повсюду на нашем пути мы видели русских жителей. Были случаи, когда они выкрикивали в наш адрес гневные слова. Этому я нисколько не удивлялся. Меня удивляло другое: когда кто-нибудь из таких разгневанных слишком близко подходил к нашей колонне, сопровождавшие нас советские солдаты стреляли в воздух.

31 января 1943 года толпа шатающихся пленных добрела до первого на своем пути лагеря для военнопленных. Он находился в двадцати километрах южнее центра Сталинграда, в городе Красноармейске.

По дороге все говорили о том, будто Гитлер произвел Паулюса в генерал-фельдмаршалы. Потом пошел слух, что 31 января командующий 6-й армией вместе со своим штабом и генералами сдался в плен.

Штаб армии сдался без единого выстрела. Капитан тонущего корабля и офицеры его штаба спасли свои жизни, хотя в течение нескольких недель они угрожали своим солдатам расстрелом за подобный шаг.

Такого еще не было в анналах прусского офицерского корпуса. Многие из солдат ждали, что командующий попытается как-то объяснить им причину постигшей их трагедии, проявит знак единения с ними. Ничего подобного. Произведенный в

последнюю минуту в генерал-фельдмаршалы, командующий армией даже в плен катил, наверное, в автомобиле, а мы в это время плелись по снегу.

И все-таки очень хорошо, что Паулюс и большинство его генералов не погибли в бою и не пустили себе пулю в лоб, чего ждал от них Гитлер. Тогда бы нацистская пропаганда начала кричать о предательстве в 6-й армии и сочинила бы свой «героический эпос».

Ошибки и вина командующего и генералитета 6-й армии не в том, что они сдались в плен, а в том, что они своевременно не приказали всем своим подчиненным сдаться в плен.

Ошибки и вина командующего армией также и в том, что Паулюс капитулировал лишь для самого себя, а но для всех оставшихся в живых солдат 6-й армии. Ждали, что хотя бы 31 января командующий прикажет капитулировать остаткам армии, в том числе и войскам генерал-полковника Штрекера, на севере котла. Но даже в этот последний час Паулюс оказался послушным приказу фюрера: каждая часть окруженных войск подчинялась непосредственно верховному командованию. Так 2 февраля 1943 года окончилась борьба на северном участке.

***

Попав в плен, я еще не знал всех причин, которые привели 6-ю армию к гибели. Однако мне было ясно, что эта катастрофа произошла не только по вине военных специалистов. В зимней битве на Волге, как нигде, сказались и разоблачили себя наша политическая бессовестность и моральное разложение. Содрогаясь от ужаса, я начинал понимать, что до сих пор служил грязному делу.

Часть вторая
Размышления в товарном вагоне

С неизвестной целью

Начало марта 1943 года.

Пыхтя и тяжело вздыхая, ползет товарный состав по равнине. Паровоз, далеко не из последних марок, стонет и охает, как старик. Двадцать пять вагонов тоже видали виды. Каждый из них не длиннее семи метров. И каждый, катясь по рельсам, подвергал себя огромному риску. Вагоны трещали и скрипели, словно хотели оторваться друг от Друга.

«Так-так-так…» – перестукивают колеса.

Вот уже три дня и две ночи, как мы в пути. Как долго еще будет продолжаться наша поездка?

И вообще, куда нас везут?

– Нас наверняка упрячут в Сибирь, – говорит майор фон Бергдорф. Он сидит на верхних нарах. – Сначала нас везли на север, а теперь мы повернули в восточном направлении. Готов спорить, что нас везут в Оренбург. Это на Транссибирской магистрали. Такую прогулку немецкие и австрийские пленные уже проделали в первую мировую. Правда, тогда за озером Байкал не было большевистских лагерей.

Сидя на своем месте, майор мог наблюдать за местностью через маленькую дырочку в крыше вагона. Он пытался по солнцу определить направление, в котором идет наш состав. Как старший по званию и старший по вагону, майор не терпел никаких возражений. По собственному усмотрению он распределил места, где кому ложиться. Раньше он был командиром артиллерийской батареи, но и в плену действовал точно так же. Он распорядился, кому спать на нарах, кому прямо на полу. При этом майор руководствовался отнюдь не возрастом и состоянием здоровья пленных, а в первую очередь их воинским званием и кругом знакомства. В результате каждый штабной офицер и капитан, разумеется, получил лежачее место. Господин Бергдорф не забыл нескольких старших лейтенантов и тех офицеров, которые симпатизировали ему. Остальные места распределялись уже без его указаний.

Разумеется, положить все сорок четыре человека на нары было невозможно. Правда, можно было ежедневно меняться местами. Однако против такого порядка запротестовали старшие по чину. Вот и получилось, что двенадцать человек день и ночь ехали сидя на холодном полу, прижавшись друг к другу спинами.

В число этих двенадцати попал и я. Своей спиной я опирался на спину старшего лейтенанта из Эслингена на Неккаре. Звали его Геральд Мельцер. Познакомился я с ним в лагере еще в

Красноармейске. В котле он командовал взводом счетверенных зенитных установок. Когда 20 января у него кончились боеприпасы, он вместе с оставшимися в живых тремя солдатами укрылся в одной балке.

– Послушайте только этого провидца, – обратился ко мне Мельцер. – И откуда только ему известно, что. нас везут именно в Оренбург, а не куда-нибудь в другое место? До сих пор ни одному из нас не удалось увидеть название хоть одной станции. Сегодня утром я целый час смотрел в эту дырочку. Мы проехали два вокзала, но ни на одном из них я не видел таблички с названием.

– Да пусть разглагольствует, если это доставляет ему удовольствие! Может, нас везут окружным путем? По главной магистрали наверняка пропускают более важные составы. Наш Бергдорф знает не больше нас с вами.

Никто из нас не знал цели нашего путешествия – ни майор, ни капитан, ни казначей, ни какой-нибудь лейтенант. Никто не мог заглянуть в наше будущее. Впереди была неизвестность.

Неизвестность! Она мучила меня не только в этот день, но уже много недель назад. Особенно во время окружения.

И как только я попал в такую ситуацию? Где и когда я вступил на ложный путь, который вырвал меня из лона привычной жизни и бросил на грань жизни и смерти? Где и когда начался тот ложный путь, который целую армию превратил в сборище бродяг? Есть ли тут какая-нибудь связь?

И хотя физически я чувствовал себя разбитым человеком, этот вопрос не выходил у меня из головы. Я думал об этом, шагая в колонне военнопленных по дороге в Красноармейск. Я думал об этом и сейчас, когда вместе с другими пленными ехал в полутемном телятнике неизвестно куда. Война для нас кончилась. Война, которая превратила нас в мусор.

***

Эта война!

Я невольно вспомнил первые дни войны, и прежде всего 1 сентября.

Меня призвали не сразу. В то время по заданию немецкого Красного Креста я занимался организацией детского санатория в южном Шварцвальде.

1 сентября я по служебным делам находился в Штутгарте и решил навестить своих родителей и родителей жены. Они жили неподалеку от города. Матери плакали по своим сыновьям, которые сражались теперь где-то в Польше.

Вот и штутгартский вокзал. Повсюду, куда ни посмотришь, гражданские с чемоданами, резервисты, спешащие на свои призывные пункты, и много офицеров – от лейтенанта до полковника. Все в полевой форме: с белым кантом – пехотинцы; с красным – артиллеристы; с желтым – связисты. Офицеры-танкисты – в черных комбинезонах. Летчики – в серо-голубой форме. Иногда в толпе мелькали морские офицеры в темно-синих кителях и в фуражках с золотым ободком на козырьках. На глаза мне попался даже один генерал-майор.

А сколько тут было призывников, солдат и унтер-офицеров! Форму они еще не получили и потому все были в своих гражданских костюмах. Многих провожали жены и дети. Некоторые родственники прощались спокойно и незаметно: пожимали руки, молча обнимались. У других дело не обходилось без слез и причитаний.

Штутгартский вокзал представлял собой весьма пеструю картину. И все же сентябрь 1939 года не походил на сентябрь 1914 года. У населения теперь не было того воодушевления. И заявление Гитлера, сделанное им 1 сентября в рейхстаге, о том, что «сегодня, в пять часов сорок пять минут, открыт ответный огонь», у многих вызвало шок. Жертвы и лишения войны 1914-1918 годов у многих немцев были еще свежи в памяти. Правда, большинство верило в «счастье Гитлера». Как хорошо и гладко шло все во время присоединения Саарской области, Австрии, Судетской области и Богемского протектората! И зачем только нужно было начинать эту войну из-за какого-то «Данцигского коридора»?..

– Вы спите? – спросил меня вдруг старший лейтенант Мельцер.

– Нет, я сейчас как раз вспоминал, как началась война.

– Почему именно об этом? – Мельцер даже немного повернулся, чтобы не говорить через плечо. – Мы и так уже по горло в дерьме. Зачем сейчас вспоминать об этом?

– Я стараюсь найти причину. Вы помните тогдашнюю речь Гитлера?

– О, я очень хорошо помню ее. Я был тогда унтер-офицером и находился в окопах на Западном валу под Саарлейтеном. В бункере было включено радио. Гитлер подробно говорил о том, что в основе всей его политики лежит мир. И что ни один еще немецкий государственный деятель до него не проводил по отношению к Польше такой сдержанной политики: он претендует только лишь на «коридор» для связи с Восточной Пруссией. И в этом я был полностью согласен с ним, да и сейчас придерживаюсь того же мнения. – Все это Мельцер проговорил тоном

убежденного человека, в его словах звучали даже нотки гордости.

Да, мои мысли ему неинтересны. Разве мог я заставить его мыслить своими категориями?

– После трагедии, пережитой 6-й армией, я отношусь очень скептично к подобным речам, – осторожно начал я. – Чего только не говорили! В ноябре прошлого года, произнося свою традиционную речь в мюнхенской пивной, Гитлер кричал о том, что с захватом Сталинграда мы овладеем гигантским перевалочным пунктом и отрежем русским пути подвоза тридцати миллионов тонн различных грузов. И я хорошо помню, как он утверждал, будто мы уже сделали это. А вспомните его недавние обещания вытащить всех нас из котла…

– Битва под Сталинградом – совсем другое дело, чем поход на Польшу, – пытался защищаться Мельцер. – Вы помните, как Польша реагировала на нашу скромную просьбу? Польские военные совершили вооруженное нападение на немецкую радиостанцию в Гляйвице и стали передавать мятежные речи на польском языке. Двое суток Гитлер и все члены правительства ждали в Берлине польскую делегацию. Напрасно! Ни один поляк не приехал. Что же еще оставалось делать? Нужно было защитить честь и права Германии! Ну, что вы на это скажете?

– Все это мне известно. Так говорил об этих событиях Гитлер в сентябре 1939 года. Тогда я тоже верил этому. А вот теперь, когда 6-я армия разгромлена… Все, что вы слышали от верховного командования, – ложь и предательство. Дорогой Мельцер, с нами обращались как с дерьмом! И вот теперь я пытаюсь взглянуть на наше прошлое другими глазами. Помните хвастливое заявление Гитлера о том, что начиная с 1 сентября он сам будет выполнять свои обязанности как простой ефрейтор? А что из этого получилось? Почему он не послал в наш котел Кейтеля? Пусть бы они сами во всем убедились. И уж коль нельзя было нам ничем помочь, предоставили бы Паулюсу право капитулировать. Однако ничего этого не случилось! А теперь ваша очередь говорить, Мельцер.

Старший лейтенант из Эслингена на Неккаре оказался убежденным нацистом и приверженцем Гитлера. Он молчал. Разумеется, Мельцер не собирался так просто отказываться от своих взглядов. Катастрофический разгром 6-й армии, ложные обещания фюрера и бессмысленные жертвы, конечно, нанесли ощутимый удар по его слепой вере. И я уже начинал думать, что с Мельцером происходит то же самое, что и со мной. Однако я ошибся. Мельцер не собирался расставаться со своими старыми представлениями и считал, что Сталинград – это всего-навсего лишь исключение, которое может случиться. Он не хотел быть

неверным.

***

А поезд между тем все шел и шел. В вагоне быстро темнело. Те, кто лежал на нарах, могли вытянуться как хотели, зато те, кто сидел, с трудом шевелили затекшими ногами. Болели плечи, ноги и больше всего спина. Я предложил своему партнеру снова встать и постоять. Стоять, тесно прислонившись друг к другу спинами, было легче. Приходилось только следить, чтобы сидящие рядом не заняли твоего места, пока ты стоишь.

Вдруг кто-то закричал, послышалась ругань. Оказалось, один из лежащих на первом ярусе стал спускаться к параше и в темноте наступил на кого-то из сидящих, потом еще на одного. Поднялся крик.

Затем в вагоне снова наступила тишина. Только слышался мерный перестук колес да чье-то храпение. Потом снова кто-то закричал, за ним еще кто-то, и наконец раздался бас майора Бергдорфа. По-видимому, один из сидящих занял лежачее место того, кто встал к параше. Это уже было нарушением привилегий! Но вот возня кончилась.

Мы с Мельцером опять сели и просидели до самого утра, не имея возможности даже пошевелиться, отчего нам казалось, что эта ночь никогда не кончится.

Наш состав тащился к цели, о которой мы не имели ни малейшего представления. Я закрыл глаза, но сон не шел.

О чем я только не передумал! О войне, о довоенной жизни, о Штутгарте 1939 года и, наконец, о последних событиях в Сталинграде.

Что мне, собственно, сказал Мельцер? Ах да, о том, что это – исключение. Разумеется, исключения возможны. Неужели катастрофа немецких войск под Сталинградом действительно всего лишь исключение в цепи общих успехов Гитлера и всего германского командования?

Я вспомнил недавние победы вермахта. Они как бы убеждали нас в правильности политики Гитлера, хотя для других народов, например для поляков или французов, эта политика была жестокой.

Для нас, немцев, тогда все шло неожиданно хорошо. После торжественной музыки Листа по радио передавали официальные сообщения о взятии Кракова, Сандомира, Перемышля, Белостока. Сотни тысяч польских военнопленных, сотни захваченных или уничтоженных пушек, танков, самолетов, капитуляция гарнизона

Вестерплятте в Данциге, захват порта Гдыня и, наконец, крепости Модлин и Варшавы. За какие-нибудь три недели поход на Польшу победоносно завершился. Сердца многих немцев забились чаще. И все это при нескольких тысячах погибших с нашей стороны!

В октябре в армии снова разрешили танцевальные вечера. Жизнь почти вошла в нормальное русло. С теми пайками можно было жить.

По этому поводу Гитлер произнес новую речь о том, что Англия приветствовала бы создание нового правительства в Германии. Англичане твердили о том, что устранение Гитлера будет означать мир. В победном шелесте знамен нахально звучал голос Чемберлена. «Ох уж эти вечные наглости англичан!» – думали многие немцы, продолжая выполнять приказы Гитлера. Я не был исключением из общего числа.

После окончания польского похода «Прелюды» Листа стали звучать по радио реже. А если их когда и передавали, то сразу же после этого верховное командование спешило сообщить об успехах в подводной войне против англичан, или об обстреле неприятельских самолетов, или о бомбардировке французских и английских объектов германскими военно-воздушными силами.

Затем, в апреле и мае 1940 года, по радио вновь зазвучали произведения Листа: шел поход на Данию, Норвегию, Францию, Голландию и Люксембург.

Северный поход победоносно был завершен за три недели. Война на западе вообще длилась всего лишь четырнадцать дней. Германские войска торжественно маршировали по Елисейским полям. Верден – «кровавая мельница» первой мировой войны, Верден, который в 1916 году стоил жизни семистам тысячам немецких солдат, был взят без особых потерь. Франция капитулировала в конце июня. В том же самом вагоне, в котором в ноябре 1918 года немецкие парламентеры были вынуждены подписать условия капитуляции, продиктованные им союзниками, теперь подписала капитуляцию Франция. В ту ночь мы вместе с женой слушали радио.

Германский вермахт молниеносно сокрушил одну из сильнейших держав мира. В войне 1914-1918 годов, несмотря на огромные усилия, кайзеру не удалось сделать этого.

Гитлеру всегда везло. Так, может, Сталинград действительно единственное исключение среди всех побед гитлеровского вермахта?

***

Паровоз дал свисток, один, потом другой. Поезд остановился. В вагоне было по-прежнему темно. Даже в дырочку, проделанную в крыше вагона, ничего не было видно.

– Где мы? – спросил кто-то, словно кто-нибудь из нас мог ответить на этот вопрос.

Однако стояли мы недолго. Вскоре паровоз дал свисток и дернул вагоны. В дырочку промелькнули бледные матовые огни: станция.

Когда огни остались позади, поезд вновь остановился. На этот раз остановка затянулась на несколько часов. Я не мог заснуть. Соседи справа о чем-то шептались. Потом кто-то из сидящих на полу громко вскрикнул. Кто-то стал успокаивать кричавшего. С нар раздался властный голос: «Тихо, вы!»

И вновь наступила тишина, но я так и не уснул. Знакомые надоевшие вопросы теснились в голове. Чего только не вспомнишь в такой обстановке!

… Всплывали воспоминания далекой юности, возникали картины последних лет. Одно помнилось очень хорошо, другое потускнело от времени. Я вспомнил реальную школу, которую посещал в двадцатых годах, кое-кого из учителей. С одним из них, преподавателем физкультуры, меня связывала долгая дружба. Он был большой почитатель поэзии Вальтера Флекса, который в 1917 году добровольно пошел в рейхсвер. Наш преподаватель и мне привил любовь к книгам Флекса. Особенно мне нравились его «Странствия между двух миров».

Я даже вспомнил сейчас одну фразу, которую Флекс сказал как-то своему другу, тоже добровольцу, лейтенанту: «Быть лейтенантом – это значит быть примером для своих подчиненных, а если нужно, то и примерно умереть у них на глазах». Эти слова для меня лично стали, так сказать, своеобразным руководством. С ними я пошел на фронт. Я был твердо убежден, что смерть на поле боя – необходимая жертва, истинное проявление геройства. Прав ли я был тогда? Теперь я много думал над подобными вопросами, а после всего пережитого уже по-другому оценивал прежнее. Чего стоил пример только одного Сталинграда! Ведь гибель немецких солдат в котле окружения – это жертва, которая отнюдь не была необходимой для отечества. Они погибли только из-за того, что кто-то отдал жестокий, бесчеловечный приказ – стоять во что бы то ни стало! А ради чего, собственно, погибали солдаты на других фронтах? Разве там не было того же самого, тех же бесчеловечных приказов?

Одного горького урока под Сталинградом уже было достаточно, чтобы не согласиться с автором «Странствий между двух миров». Флекс пытался с гуманных позиций обосновать цели

войны, преследуемые Германией, и наши потери. Однако ничто не могло оправдать гибель 6-й армии! Во мне все больше росла уверенность, что мы, немцы, ведем не оборонительную, а захватническую войну.

Мысли мои перескакивали с одного на другое: то я вспоминал высказывания Вильгельма Второго, то речи Гитлера, то мысленно переносился в класс реальной школы, то на аэродром в Гумраке.

Потом я вспомнил нашего учителя по рисованию. Он, кроме того, преподавал нам и историю. Я, как сейчас, видел его стоящим посреди класса. Он всегда вставал, когда хотел сказать нам что-то важное. Он часто рассказывал ученикам о первой мировой войне, но не о героических подвигах, нет, а о своих встречах в те времена с поэтом Германом Гессе, с которым у него было много общего. Поэт выступал против бессмысленного кровопролития, за что его объявили изменником. После войны поэт вынужден был эмигрировать в Швейцарию. Учитель говорил о конфликте с самим собой, когда он должен был стрелять во француза, у которого, как и у него, была семья, в человека, который не сделал ему ничего плохого и которого он не мог считать своим врагом.

Обращаясь ко всему классу, учитель громко спрашивал:

– Почему я французов должен считать своими врагами? Вы знаете, что Вильгельм Второй как-то сказал солдатам: «Мой враг – это ваш враг»? А когда новобранцы принимали присягу в Потсдаме, он призывал их стрелять не колеблясь в родных и близких, если на то будет отдан соответствующий приказ? Что вы, милые ученики, скажете по этому поводу? Как вы считаете?

В классе стало шумно…

Предавшись воспоминаниям, я хотел было уже поспорить с императором Вильгельмом Вторым. Императора я представлял себе в неизменной каске и с огромными пышными усами. Таким мы знали его по картинкам. Но вот фигура императора исчезла, а посредине класса стоял уже не учитель, а профессор Кутчера и улыбался такой знакомой улыбкой. Из виска у него текла кровь. Профессор поздоровался со мной, подошел и пожал мне руку. И в тот же миг меня словно молнией пронзило.

Я очнулся. Не было ни школьного учителя, ни кайзера, ни профессора. Но зато реально существовали бесчеловечные приказы и верховный главнокомандующий Адольф Гитлер.

Как в свое время Вильгельм Второй требовал от своих солдат слепого подчинения, так и Гитлер бросает в мясорубку войны сотни тысяч солдат.

Как Вильгельм считал себя посланцем господа, так и Гитлер

заявляет теперь, что он провидец.

О небо! О провидение!

А куда же делось чувство ответственности перед народом? Наш учитель говорил, что правители ссылаются на господа бога для того, чтобы ежедневно дурманить народ. А разве разглагольствования Гитлера не имеют той же цели?

***

Мне удалось пробраться к дырочке, через которую я мог взглянуть на мир. Первое, что я увидел, было солнце на безоблачном небе. Яркое мартовское солнце. Вокруг, насколько хватало глаз, расстилалась ослепительно-белая равнина. Лишь кое-где чернели пятна земли, мелькал» стволы деревьев да бурые бревенчатые избы. Навстречу поезду бежали смешанные леса.

Поезд двигался медленно. Я глубоко вдыхал чистый холодный воздух, стараясь отогнать от себя назойливые мысли.

За моей спиной нарастали шум и возня. Просыпаясь, люди хотели потянуться, расправить затекшие плечи. На нарах заговорили, хотя большинство обитателей нашего вагона, казалось, находились в состоянии полного безразличия ко всему.

Поезд пошел еще тише и вскоре остановился.

– Мы на какой-то станции! – крикнул кто-то, прильнув к дырке вагона.

– Названия станции не видно.

Снаружи послышался скрежет металла, и дверь с шумом отодвинулась.

– Давай два человека!

Перед дверью стоял красноармеец с автоматом. Двоих из наших заранее назначил майор Бергдорф. Оба были из числа приближенных к нему лиц.

Вскоре посланные вернулись обратно, неся ведро сладкого чая и палатку сухарей – суточный паек на сорок четыре человека. Делить сухари было очень трудно, так как они были самой различной формы.

Офицеры, лежавшие на верхних нарах, садились, свернув ноги калачиком, а на освободившемся месте образовывался своеобразный стол, на котором продовольствие раскладывалось на одиннадцать кучек: одна кучка – на четыре человека. Кучки должны были быть одинаковыми. Но этого не получалось, и ругань неслась со всех сторон. А если кто протягивал руку, его били.

Голод может превратить человека в зверя. Голодные люди

ведут себя очень странно. Так и некоторые из нас то по нескольку раз убирали, то доставали свои сухари и порой не ели их до тех пор, пока у соседей ничего не оставалось. Некоторые делили свою порцию на десять – двенадцать крохотных частей и потом жевали их в течение всего дня.

Я обычно делил свои сухари на две равные части. Одну половину съедал за завтраком, другую – за ужином, размачивая сухари в чае. Процесс еды мы старались растянуть как можно дольше. В это время я обычно беседовал с Мельцером.

– Хорошо спали сегодня?

– Благодарю, так же плохо, как и вы, – слышал я в ответ.

– Эх, сейчас бы зайти в деревенскую пивную. Хорошенько бы выпить и закусить.

– Неплохо бы! Я охотно бы составил вам компанию. А потом завернули бы ко мне домой. Вот там-то вы попробовали бы настоящего неккарского винца. Другого такого нет на свете. У моего тестя двадцать гектаров виноградников, да еще каких!

– Винца я охотно бы выпил, – говорил я. – В этом я знаю кое-какой толк. Но вообще я предпочитаю кезебергское. А еще лучше съесть хороший кусок мяса.

– О, я позаботился бы об этом. Каждый год мы колем по три свиньи.

Подобные разговоры помогали нам не торопясь, с аппетитом есть наши сухари. Однако как бы там ни было, сухари кончались и оставалось только ждать следующего утра.

Поезд между тем продолжал свой путь. И в голову снова лезли воспоминания.

… Осенью 1925 года я выдержал государственные экзамены и был доволен своими успехами. Со всех сторон меня поздравляли.

А в понедельник я уже был рекрутом роты пехотных орудий. За два года военной службы мне нанесли не одно оскорбление. Особенно отличался наш ротный фельдфебель, которого с введением всеобщей воинской повинности не демобилизовали из армии.

Солдат из квалифицированных рабочих или из интеллигенции он заставлял перед строем целой роты вслух повторять: «Я свинья!» Иногда по пять – десять раз подряд.

Бессмысленная муштра убивала душу. Я искал какого-нибудь выхода из этой никчемности. И наконец нашел. Я стал жить двойной жизнью. Пусть моими руками и ногами распоряжается этот солдафон, но зато моя душа принадлежала только мне одному. Никто не мог мне запретить думать. Я жил в узком мирке собственных мыслей.

17 сентября 1938 года мы справили свадьбу. Пришло много

гостей. Несмотря на всю торжественность, этот праздник все же был омрачен. В этот день газета «Фолькишер беобахтер» вышла с крупным заголовком «Война или мир?». Вскоре немцы объявили всеобщую мобилизацию и предъявили чехам ультиматум. Гитлер выступил во дворце спорта с речью, заявив, что его терпению пришел конец. Слушая речь фюрера по радио, мы с женой тревожились только об одном – что война заставит нас расстаться.

Из радиоприемника неслись крики «Хайль!».

Зарубежные радиостанции мы не слушали. Читали только нацистские газеты. Нам хотелось мира. Мы с облегчением вздохнули, когда судетский кризис был решен мирным путем.

Не прошло и полугода, как Чехословакия снова стала центральной темой печати и радио всей Германии. Снова стали раздаваться речи об опасности со стороны восточных Соседей. И снова фюрер разрешил кризис мирным путем. Возникли самостоятельное Словацкое государство и протекторат Чехии и Моравии.

Возникли без войны!

Все это было пять лет назад, а сейчас я ехал в телячьей вагоне навстречу своему неизвестному будущему.

Австрия, Судетская область, Чехия, Моравия… Гитлеру везло. Может, и в самом деле Гитлер – гениальный государственный деятель, который твердой рукой ведет германский корабль сквозь бури и рифы? А разве к нему не применима пословица: «Посеешь ветер, пожнешь бурю»? Битва на Волге была бурей! Именно здесь Красная Армия разбила миф о «счастье Гитлера».

– Скажите, Мельцер, вы участвовали в походе на Прагу весной 1939 года? Как тогда пражане встретили солдат вермахта?

– Чехи встретили нас молча, но лица у них были злые. Они, конечно, ненавидели нас. Но что можно было сделать? Ведь мы были сильнее. К тому же мы не расплачивались за это кровью.

– То, что мы были тогда сильнее, – это и не удивительно: семьдесят миллионов немцев против восьми миллионов чехов! Но разве мы имели право так поступать тогда?

– Чего вы только не наговорите! Из-за одной неудачи иод Сталинградом не следует ставить под сомнение всю политику Гитлера. Бросьте умничать! От этого вам не станет легче.

– Я думаю, что пора критически посмотреть на пройденный нами путь. Я лично должен кое в чем разобраться.

Старший лейтенант ничего не возразил мне.

Для меня мир был разрушен. «Неужели, – думал я, – настанет такая жизнь, ради которой стоит жить? И сможем ли мы хоть что-нибудь сделать полезного ради этой жизни? А что именно

должны мы сделать? Гибель 6-й армии – это еще не конец всего. Нужно найти какой-то выход из сложившегося положения. И пусть Сталинград будет уроком!..»

Я испуганно вздрогнул. Что случилось? Меня позвал Мельцер?

В вагоне кто-то дико закричал, потом раздался еще крик. Слева от меня, метрах в трех. Наверное, опять кто-то случайно наступил на кого-то. А этого сейчас вполне было достаточно для скандала.

На нарах вокруг майора Бергдорфа образовалась небольшая группа. Они говорили о боях за Тракторный завод.

– Еще немного – и мы бы заняли завод, – сказал капитан. – Русские удерживали всего несколько развалин на волжском берегу.

– Точно. Я хорошо помню наше наступление 14 октября, – вмешался в разговор майор. – Мои батареи с самого утра вели ураганный огонь, и все по Тракторному заводу.

– Не забывайте, господин майор, и усилий нашей авиации, – заметил старший лейтенант в летной форме. – Наши бомбардировщики сбросили немало бомб на завод. Все небо заволокло дымом и копотью.

Я невольно прислушивался к их разговору.

Мельцер толкнул меня.

– Вы слышали? – спросил он. – Я не был трусом. Я жертвовал всем, у меня немало наград, но я полагаю, что сейчас не время так широко разевать глотку. – И, немного помолчав, добавил: – Русские – стойкие солдаты, нисколько не хуже нас. Думаю, что мы просчитались в отношении их. Как бы мы ни крутили, ни вертели, на Волге они нас здорово побили. Мне это абсолютно ясно. Неужели эти вояки, на нарах, не понимают этого? Противно слушать их бахвальство.

Таких слов от Мельцера я не ожидал, но чувствовал, что говорил он от души.

«Неужели, – думал я, – эти вояки уже успели все позабыть? Неужели они не сделали для себя никаких выводов? И какой только ерунды они не говорят!» И снова я стал вспоминать.

… Наша моторизованная санитарная рота в начале октября развернула дивизионный медпункт на северной окраине Сталинграда, в Городище. Вскоре после этого поблизости от нас расположились новые части. Это были испытанные в боях саперные батальоны. Многие из офицеров и солдат этих батальонов были награждены Железными крестами 1-й степени и значками пехотинцев за участие в атаках. Большинство из них воевали под Варшавой, Севастополем или же в других «горячих

местах». Некоторые офицеры получили Немецкий, а то и Рыцарский крест.

По приказу верховного главнокомандования эти отборные саперы были собраны вместе и на самолетах переброшены в район Сталинграда. Вместе с тремя нашими дивизиями им предстояло выбить части Красной Армии из руин Тракторного завода.

Один батальон саперов расположился в балке, на дне которой зарылись в землю и мы. Иногда, встречаясь со своими соседями, мы перебрасывались словом. Саперы чувствовали себя уверенно и нисколько не сомневались в успехе этой операции.

На рассвете 14 октября 1942 года в Городище задрожали дома, посыпались оконные стекла. Артиллерия и авиация наносила массированный огневой удар по узкой полоске земли в районе Тракторного завода.

Никто не сомневался, что после такого налета там камня на камне не останется.

Однако защитники Тракторного остались в живых, и они дали это почувствовать солдатам трех пехотных дивизий и пяти саперных батальонов, когда те после бомбардировки и обстрела Тракторного пошли в наступление.

С полудня 14 октября наша санрота в Городище стала получать столько раненых, сколько мы никогда не видели. На чем только их не привозили! На чем только их не приносили!

Особенно много раненых поступило ночью: эти раненые несколько часов пролежали на ничейной земле, так как днем их невозможно было оттуда вынести. Некоторые из них умерли в пути.

В этом бесконечном потоке раненых оказалось немало саперов, которые за день до наступления хвастались своими заслугами и были так уверены в успехе. И теперь этих здоровяков приходилось класть на операционный стол.

На медпункте эти «геркулесы» чувствовали себя уже не такими героями. У одного из саперов в теле сидели две пули: одна разорвала легкое и желудок, другая пробила тонкую кишку. Операция продолжалась целы ч три часа. А в это время десятки других раненых дожидались очереди в операционную. После операции раненого положили в соседнее помещение, где он, не приходя в себя, умер.

Следующему раненому, попавшему на операционный стол, повезло больше: у него было прострелено колено. Пока врачам давали чашечку кофе, я подошел к раненому.

– Откуда родом? – спросил я.

– Из Фридрихсгафена.

– А как вы стали сапером?

– Я доброволец. Здесь я прохожу своеобразную практику. Как вы думаете, ногу мне не отрежут? Смогу я еще получить офицерское звание?

Этот парень был убежденный нацист, до мозга костей преданный своему фюреру. Даже сейчас, лежа в операционной, он думал об офицерском звании.

Немецкое кладбище в Городище росло день ото дня, и не только за счет убитых, но и за счет тех, кто умирал на операционном столе или в медпункте…

А тут какой-то капитан, лежа на нарах, разглагольствовал о том, что «еще немного, и мы бы заняли Тракторный завод»…

«Хирургический конвейер»

Монотонно выстукивали колеса свою дорожную песню.

Четвертые сутки нашего путешествия в неизвестность подходили к концу. В вагоне было темно. Снова наступила ночь, которая будет тянуться так же долго, как и предыдущие. И опять мрачные мысли будут бередить душу.

Вот уже несколько часов подряд Мельцер молчит, но то и дело ерзает на заднем месте. От длительного сидения у нас вообще ломит все кости.

– О чем задумались, Мельцер? – спрашиваю я его через правое плечо.

– Мне все осточертело! И зачем только мы остались в живых? Лучше бы в мае 1940 года, когда меня ранило в ногу, я истек кровью и умер. Или погиб бы под Сталинградом… Какой смысл вот в такой жизни?

Что произошло с Мельцером? Его, видимо, охватило чувство страшной безнадежности.

– Так можно потерять всякое мужество, – ответил я ему. – Мне знакомо такое состояние. Но ведь в подобном положении находимся не только мы с вами, а буквально вся Германия.

– Я думаю по-другому. Военное счастье еще улыбнется Германии. В этом я уверен. А вот мы, остатки 6-й армии, будем влачить жалкое существование. Русские бросят нас на принудительные работы, а это похуже смерти.

– Дорогой Мельцер, – пытался я несколько приободрить его, – давайте пока не будем торопиться с выводами. Чем тяжелее будет работа, на которую нас пошлют русские, тем больше они нам дадут того, что необходимо для жизни. Иначе какая работа будет от живых трупов? Вот так-то.

– Не следует тешить себя надеждами, – возразил мне Мельцер.

На этом разговор оборвался. Каждый думал о своем. Лежащие на нарах изредка перебрасывались словом. Временами все разговоры затихали, в вагоне становилось тихо. Днем обычно говорили о минувших боях, о героизме некоторых солдат и офицеров, о полученных орденах и продвижении по службе. Ну и, само собой разумеется, о еде! Некоторые могли говорить на эту тему часами.

По ночам все старались забыться сном. Воздух в вагоне был тяжелым: пахло давно не мытыми телами, пропотевшей грязной одеждой и обувью. Дышалось с трудом. Все это действовало на нервы и портило настроение. Один стонал, другой тяжело

вздыхал, третий что-то бормотал во сне – все это сливалось в одно беспокойное дыхание.

***

Разговор, который вели лежащие вокруг майора офицеры, снова вернул меня в мир воспоминаний.

… Восточнее Харькова планировалось провести операцию «Вильгельм». Предстояло нанести удар в направлении Волчанска и овладеть плацдармом, необходимым для победоносного завершения летней кампании 1942 года.

11 июня, ровно в два часа сорок пять минут, немецкая артиллерия открыла огонь по позициям советских войск. Налет этот продолжался четверть часа. Немного погодя противник открыл ответный огонь, сосредоточит! его на наступающей немецкой пехоте.

Наша санрота получила приказ выдвинуться вперед и развернуть временный медпункт. В машине, нагруженной продовольствием и медицинским оборудованием, я следовал за группой хирургов. Вскоре мы оказались на месте, где еще утром были русские.

Части Красной Армии отошли за Донец, переправив даже свою тяжелую артиллерию. Немцы захватили лишь голую местность. На восточном берегу реки шли ожесточенные бои. Это, как в зеркале, отражалось на работе нашей санроты. Только за один день 11 июня 1942 года к нам поступило девяносто восемь раненых. За одни сутки я наглядно познакомился со всей кровавой палитрой полевой хирургии: ранения в живот, в легкие, в шею, в голову, в верхние и нижние конечности. Самое тяжелое впечатление оставалось от пострадавших во время минометного обстрела и от тех, кто оказался поблизости от взрывающихся боеприпасов. Помню, дома меня в ужас приводил какой-нибудь несчастный случай, а тут ежедневно приходилось видеть по сотне раненых.

– Разве не ужасно то, что мы тут делаем? – спросил меня как-то фельдшер Кайндль.

– Это не только ужасно, а прямо-таки поражает, – ответил я. – Приходится только удивляться, как мы еще все это выносим – и морально, и физически? Но разве можно что-нибудь изменить? В наших силах – только смягчить страдания…

Поскольку война все же продолжалась, я видел свою прямую обязанность в том, чтобы помогать раненым. И для этого я не жалел своих сил. Преодолевая собственную слабость, я пытался,

как мог, приободрить других. Я старался делать все возможное, чтобы хоть как-то облегчить страдания раненых и больных. В дни затиший наши врачи учились на специальных курсах, повышая свою квалификацию. Эти курсы усердно посещал и я, а сдав успешно экзамены, получил право помогать врачам во время операций. И теперь по нескольку часов проводил в операционной: давал наркоз, накладывал шины и гипс на переломы. Короче говоря, помогал всем, чем мог.

А ради чего? Тогда задачу санроты и мою собственную задачу я видел в том, чтобы быть гуманным. Каждого солдата санроты я считал своеобразным представителем гуманизма. Ведь согласно Женевской конвенции раненым, больным и военнопленным должны быть обеспечены гуманное отношение и человеческие условия.

Благородная цель, но зачем? Ради чего? И разве мы в своей работе на «конвейере смерти» не нарушали частенько этих самых гуманных принципов? Как, например, обстояли дела на нашем дивизионном медпункте со стерильностью, транспортировкой тяжелораненых, диетой и тому подобным?

Операционные, организуемые нами где-нибудь в школе или в палатке, не выдерживали никакого сравнения с теми операционными залами, которые я видел в немецком Красном Кресте. Несмотря на все наши старания, мы никак не могли создать нормальных санитарных условий для проведения операций. Очень часто раненного в живот буквально на другой день приходилось перевозить на новое место, так как санрота должна была продвигаться вслед за наступающими войсками, а это вынуждало нас отправлять раненых в тыл. Вместо того чтобы не тревожить только что оперированных, часто приходилось класть их в сани и по ухабам везти в госпиталь. Многие из таких раненых умирали в пути.

Оперировать во время артиллерийского обстрела мне пришлось еще до окружения под Сталинградом. Было это в июле 1942 года под Осколом. Не то четыре, не то пять немецких частей скопилось перед одним мостом. Русская артиллерия и минометы открыли ураганный огонь по скоплению войск, лошадей и боевой техники. Создалось такое положение, что людям негде было укрыться от огня. А под вечер налетели русские штурмовики и начали бросать бомбы с небольшой высоты.

На санях, грузовиках, в специальных машинах на медпункт непрерывным потоком везли раненых. Мы развернули две операционные. Майор распоряжался, кого из раненых куда класть. Фельдшеры обрабатывали легкораненых, делали им уколы.

Наша операционная находилась в школе. Хирурги работали под артиллерийским обстрелом. Снаряды рвались совсем близко. Со стен и с потолка то и дело отваливались куски штукатурки, подчас довольно увесистые. Все содрогалось от разрывов. Каждый момент можно было ждать прямого попадания. Я стоял за операционным столом доктора Кайндля. И, подражая хирургу, старался делать вид, будто все идет как полагается. Также невозмутимо вели себя наши санитары. Однако когда поблизости разрывался очередной снаряд, всем, конечно, становилось не по себе. Очень скоро мы усвоили, что от момента выстрела до разрыва снаряда должно пройти шесть секунд. И каждый из нас непроизвольно начинал отсчитывать: раз… два… три… четыре… При счете «четыре» хирург вынимал скальпель из раны и ждал, когда раздастся взрыв.

Не работа, а сплошная нервотрепка! Но что можно было поделать? Вздрагивая при каждом разрыве, хирург легко мог сделать ненужный разрез, и в то же время необходимо было поторапливаться. Раненых привезли так много, что ими были забиты уже все классы школы.

Многим раненым солдатам и офицерам приходилось дожидаться своей очереди под открытым небом на морозце.

В довершение ко всему, на одном из передовых медпунктов кончился морфий. Пришлось работать без обезболивания. Отовсюду неслись крики раненых:

– Ой, помогите же мне наконец! – стонал один.

– Я больше не могу, лучше пристрелите меня! – просил другой.

– Боже мой, я с ума сойду! О, мама, Хельга, детишки мои…

И повсюду крики и стоны.

Работа на «конвейере» шла полным ходом. Хирурги резали и решали. Кровь стекала с операционного стола на пол. Санитары едва успевали выносить баки с ампутированными руками и ногами.

Кладбище в Осколе было самым большим кладбищем, которое оставила наша санрота после нападения на Советский Союз.

В нашей жизни установился определенный ритм. Группы хирургов, в которые, за небольшим исключением, входили все врачи и человек тридцать санитаров, продвигались вслед за наступающими войсками. Почти ежедневно приходилось разворачивать один-два медпункта. Работали мы в основном по ночам, когда из батальонов на санках привозили раненых. До самого рассвета на медпункте шла лихорадочная борьба за жизнь раненых. Санитары – те хоть могли чередоваться посменно.

Хирурги не знали покоя ни днем ни ночью. Держались они на одном кофе и сигаретах. Стоило только хирургу присесть на минутку, как он тотчас же засыпал.

Очень трудно было и с отправкой раненых в ближайший тыл…

Наш поезд остановился. Около вагона послышались чьи-то шаги. Они то удалялись, то приближались. На душе у меня было неспокойно.

– Где мы? – спросил кто-то.

Но никто не мог ответить на этот вопрос. Все щели в вагоне мы сами же заткнули, так как на улице стало уже очень холодно. А в вагоне – не продохнуть от вони.

Стоны, храпение, вскрикивание во сне действовали на нервы. А тут у самого страшно ломило все кости, к тому же полная неизвестность…

Интересно, где в этот момент находятся мои товарищи по санроте и госпиталю? Ни об одном из них вот уже с 30 января я ничего не знал. Все они словно в воду канули.

Невольно вспомнился тот путь, который я проделал вместе с ними.

… Начался этот путь в конце февраля 1942 года в принадлежащем тогда рейху городе Ульме на Дунае. Именно там меня, войскового казначея, назначили в моторизованную санроту. Вскоре пришел приказ грузиться.

Санрота выехала в дивизию, которая находилась в Бретани. Однако там мы пробыли недолго. И снова приказ грузиться!

Грузилась вся дивизия целиком. И для того чтобы перевезти одну пехотную дивизию с запада на восток, потребовалось несколько железнодорожных эшелонов. А весной 1942 года многие дивизии направлялись с запада на восток. В пути, однако, мы встречали войска, которые возвращались с востока. В этих частях, на удивление, было мало машин и тяжелой артиллерии. На одной из станций во Франции мы стояли рядом с таким эшелоном, который шел на запад. Мы узнали, что наши товарищи вели тяжелые кровопролитные бои под Тулой и теперь ехали на переформирование.

Кроме военфельдшера Риделя, который в прошлом году побывал под Смоленском, никто из нас в России еще не был и потому не имел никакого представления о войне в тех условиях. Правда, мы слышали немало рассказов о России, но это были только рассказы. Когда я вспоминал 21 июня 1941 года, меня сразу же начинало мутить. В России у меня погибли два шурина: один погиб, другой пропал без вести. Расстрелы заложников во Франции меня буквально потрясли.

– Что с тобой? – спросил меня тогда фельдшер Гизелер. – Разве ты не рад, что с этим дерьмом наконец покончено? Меня лично радует, что мы наконец получили настоящую работу.

– Я сыт этой тупостью. Что же будет дальше? Для меня лично Россия всегда была книгой за семью печатями, загадочным сфинксом. Как нравится тебе это сравнение?

– Мне не нравится ни то, ни другое сравнение. Я люблю слушать «Прелюды» Листа, особенно когда вслед за музыкой по радио передают специальные сообщения, – сказал Гизелер, изучающе глядя на меня. – Вот уже два года мы одерживаем победы, каких не знала ни одна армия в мире. Александр Македонский и Наполеон и те бледнеют перед нами.

– Не забудь, что ни Александр Македонский, ни Наполеон так и не добились своей конечной цели, а созданные ими империи быстро развалились, – заметил я. – Ребята, которые побывали под Тулой, отнюдь не показались мне героями.

– Это мало о чем говорит. Русские более привычны к зиме, чем немцы. Привыкнем и мы. К рождеству война закончится, – предсказал Гизелер.

– Поживем – увидим.

Война против Советского Союза не вызывала у Гизелера такого беспокойства, как у меня. Я считал русских опасным противником. И, несмотря на легкие победы, одержанные немцами в Европе, я понимал, что восточный поход с самого начала – очень опасная авантюра. Гизелер в свое время был вожаком одной из организаций гитлерюгенда и был убежден в превентивном характере войны против Советской России. Он не сомневался в конечной победе немцев.

Пребывание на фронте отрезвило его.

Однажды в сентябре 1942 года в Вертячем на Дону фельдшер Гизелер пришел проведать своих старых товарищей. Он вот уже месяц был назначен в один пехотный батальон.

– Ну, Гизелер, как твои дела? – обратился я к нему, когда мы впятером сидели в комнате командира роты, освещенной карбидной лампой.

Гизелер немного помедлил, а потом заговорил:

– Скверно, очень скверно. Вот уже трое суток мы находимся на отсечной позиции, левый фланг которой прилегает к Дону. Времени как следует оборудовать позиции у нас нет. Каждый взвод, каждая рота отрывают для себя ячейки и окопы среди голой степи. Русские, пытаясь прорвать фронт, предпринимают одну атаку за другой.

– Надо полагать, психологическое состояние войск не блещет? – спросил Гутер.

– Солдаты очень устали, – сказал Гизелер. – От самого Харькова наш батальон прошел с боями тысячу километров. От всего личного состава осталась ровно половина. До сих пор мы не получили пополнения, а каждый день несем потери убитыми, ранеными и больными. Никто не знает, когда и как все это кончится.

– А помнишь, Гизелер, как мы ехали из Франции в Россию? Ты еще тогда говорил об Александре Македонском и Наполеоне, которых мы якобы затмили? Помнишь, нет?

– Ах, Отто, перестань, пожалуйста! Чего мы тогда только не говорили, на что не надеялись! Я даже помню, как сказал тебе, что эта война кончится до рождества. Ты ведь знаешь, как у нас тогда шли дела. Видимо, что-то у нас стало не в порядке. Хочется верить, что наша империя не распадется, как империя Александра Македонского, и мы не будем разбиты, как армия Наполеона. Сейчас мне в голову приходят невеселые мысли…

– Видишь ли, мы заварили эту кашу, нам ее придется и расхлебывать.

Трудно было узнать в этом фельдшере с новеньким Железным крестом 2-й степени прежнего оптимиста. Гизелер не был трусом. Его беспокоило наше будущее, тем более что не за горами была зима со снегом и морозами, а войска лежат в открытой степи. А как будет обстоять дело с подвозом, когда бураны заметут все дороги?

Разговор не клеился, и скоро все разошлись спать…

Ночью, часа примерно в два, наш поезд все еще стоял. У меня ужасно ныли все кости, и я никак не мог уснуть.

Солдаты гуманной профессии!

Моя вера в гуманность медперсонала еще и до нашего окружения не раз подвергалась серьезным испытаниям. Однако каждый раз я старался убедить себя в этом, даже когда разочаровывался в тех, в ком хотел увидеть образец для себя. Так, например, было и в сентябре прошлого года в Вертячем.

… Дивизионный врач подполковник Маас довольно часто появлялся в нашем медпункте. Я заметил, что он охотнее беседует с капитаном Бальцером, чем с командиром роты или другими офицерами. Но почему бы это?

Здоровяку подполковнику перевалило за пятьдесят. На толстом его лице светились два крошечных, как у мышонка, глаза. Зато нос у него был огромный и фиолетового цвета. Между двумя мировыми войнами доктор Маас имел свободную практику в Падерборне и в армию попал четыре года назад. И даже если учесть, что в первую мировую войну он получил Железный крест 1-й степени, приход Мааса в армию был запоздалым. Военврач на

шестом десятке не мог уже рассчитывать на успешное продвижение по службе. Он надеялся заручиться поддержкой старого нациста Бальцера. Именно поэтому их и можно было часто видеть вдвоем.

В тот вечер они засиделись допоздна. Была уже полночь, когда кто-то постучал в мою дверь. Вошел ефрейтор.

– Подполковник просил вас выдать ему две бутылки шампанского.

У нас на складе действительно хранилось шампанское. Оно предназначалось как лекарство для тяжелораненых. Но не было еще такого случая, чтобы шампанское выдавалось кому-нибудь из медперсонала.

– Передайте подполковнику, что шампанское хранится для тяжелораненых и я не могу им распоряжаться! – крикнул я.

– Господа будут обижаться и на вас и на меня, – заметил ефрейтор.

– Какие такие господа? Вы только что сказали, что шампанское нужно господину подполковнику.

– Да, но господин подполковник сидит вместе с господином Бальцером. Оба строго-настрого приказали мне без шампанского не возвращаться. Они сейчас в таком состоянии, что я даже боюсь войти к ним с пустыми руками.

– Наберитесь мужества, мой дорогой. Не расстреляют вас господа. Да вам и незачем туда идти на ночь глядя.

Однако ефрейтор не послушался моего совета и доложил подполковнику и капитану, что я отказался выдать шампанское.

Минут через десять в мою дверь снова постучали. Я засветил фонарик. В дверях опять стоял ефрейтор.

– Господа забросали меня пустыми бутылками, – дрожащим голосом проговорил он, показывая рукой на кровоподтек под глазом. – Господин подполковник вытащил пистолет и, размахивая им перед моим носом, кричал, что, если я через пять минут не принесу им шампанского, он будет расценивать это как неподчинение и отдаст меня и вас под суд военного трибунала.

– Ваш подполковник может идти ко всем… – рассердился я. – Возьмите мое одеяло и ложитесь спать здесь. А сейф с кассой сдвинем к двери. Посмотрим, посмеют ли пьяницы прийти сюда.

Но нас никто не побеспокоил. Разумеется, ни под какой трибунал меня не отдали…

***

В конце концов я все же задремал. Сколько я проспал, не

знаю, но меня разбудил чей-то крик. Кого-то мучили страшные боли.

Ночь еще не кончилась, и поезд наш все стоял. Руки и ноги у меня сильно затекли.

… В котле окружения на Волге противоречия между благородными идеями о помощи страждущим и жестокой действительностью обострились до крайности.

Я, как сейчас, вижу наш дивизионный медпункт в Городище. Когда мы в начале октября развернули там свой медпункт, на кладбище у церкви стояло всего-навсего пять крестов. В середине октября их стало больше сотни.

Командование было вынуждено усилить похоронные команды. Однако через несколько дней они уже не справлялись с захоронением. Убитых было так много, что пришлось от индивидуальных погребений немедленно перейти к захоронению в братских могилах. Евангелические и католические священники решили перебраться на дивизионный медпункт, чтобы здесь заниматься своими делами. И если один из служителей культа был в отъезде, то отпускал грехи умирающим другой; при этом часто не обращали внимания на вероисповедание.

Намного больше работы стало и у тех, кто занимался регистрацией смерти и сообщал об этом в часть. Мне приходилось контролировать работу этих людей. Иногда я читал письма, адресованные погибшим. Вот начало некоторых из них:

«Мой дорогой мальчик! Следи за тем, чтобы ноги у тебя были сухими. Это очень важно…»

«Наш дорогой папочка! Каждый день мы молимся за тебя, за твое здоровье. Приедешь ли ты в отпуск на рождественские праздники? Мы будем очень рады и сделаем тебе подарок. Посоветуй, что тебе лучше подарить…»

«Дорогой, любимый муженек! Я постоянно думаю о тебе. Как тяжело переживать разлуку с тобой. Я так беспокоюсь за тебя…»

В очень немногих письмах, которые мы доставали из карманов убитых, были скупые строчки о героизме, о мужестве или о целях великой Германии. Чаще всего писали о личном: о здоровье, о детях, о соседях, о работе, об отелившейся корове. Жаловались, правда, очень мало. Никто не хотел омрачать фронтовиков плохими вестями. Каждый старался хоть маленькой радостью облегчить и без того тяжелую участь солдата. Дома экономили муку, жир, сахар, чтобы послать на фронт крохотную посылку. Собирали сигареты и табак, чтобы обрадовать близкого человека.

Я так же, как и моя жена, пытался работой заглушить в себе растущий страх перед ужасами войны. Каждый день я видел

столько крови, раненых и убитых, которых война разлучила с родными и близкими, что все это сильно угнетало меня, изматывая физически и морально. Я с головой уходил в работу, стараясь думать только о том, как облегчить участь раненых. То же переживали и мои товарищи.

Разумеется, мы не всегда думали о гуманности, вернее, даже не произносили этого слова. Гуманность была в самой нашей работе, которая, однако, проходила в таких условиях, что между нашими благородными стремлениями и целями этой войны с атрибутом «транспортера» хирургии образовывалась громадная пропасть.

Я невольно вспоминал слова профессора Кутчеры, который сказал мне однажды, что все, что мы тут переживаем, не имеет ничего общего ни с солдатской честью, ни с человеческой честью вообще. Все это можно рассматривать лишь как преступление против человечества.

Мне казалось, что настоящий гуманизм «требует от нас чего-то большего, чем просто ухаживать за ранеными. Настоящий гуманизм требовал от нас ответа на вопросы: „Почему? Ради чего? Как такое могло случиться? Ради каких целей мы ведем эту войну? Какому делу мы служим?“ Однако ответить на все эти вопросы я еще не мог. Я многого тогда не понимал, но мне во что бы то ни стало хотелось найти ответы на все эти вопросы, да и не только мне. Испытав всю тяжесть этой войны на собственной шкуре, мы должны были получить гарантии от подобного повторения. Найти ответы на эти вопросы и изменить всю свою жизнь – вот что должно стать целью, смыслом нашего дальнейшего существования…

Стук в двери вагона прервал мои размышления. Я вытащил тряпку из дырки в стене вагона. Слабый сноп света скользнул по лицам сидящих рядом товарищей. Наступило утро.

Состав медленно тронулся с места. Он шел навстречу новому дню.

Еще один враг – сыпной тиф

Поезд, кажется, поворачивает налево. И хотя двенадцать человек, сидящие на полу, и без того тесно прижаты друг к другу, на повороте мы сбиваемся в одну кучу. Чей-то кованый сапог наступает мне на ногу, и я невольно вскрикиваю.

Что, собственно, случилось с моей ногой? Еще ночью я почувствовал что-то неприятное. Какое-то странное ощущение в руках и в плечах. Да и голова болела. Меня бросало то в жар, то в холод.

Неужели я заболел? Только этого еще не хватало!

Поезд остановился.

– Станция, наверное, небольшая. Я вижу только маленький вокзал да какой-то сарай, – сообщил кто-то с нар.

Снаружи послышались короткие, но громкие команды, отдаваемые по-русски. Снег скрипел под ногами людей. Вскоре дверь нашего вагона открыл красноармеец в шапке и полушубке.

– Слава богу, дадут чего-нибудь поесть!

На этот раз красноармеец потребовал выделить ему не двух, а трех человек. Кроме двух обычно посылаемых офицеров майор назначил еще одного лейтенанта.

Перед открытой дверью вагона расхаживал другой красноармеец с винтовкой. Дверь вагона почему-то не закрыли. В вагон хлынул поток свежего воздуха, но одновременно стало и холодно. Вагоны не топили, а снаружи было, видимо, градусов десять мороза.

Довольно скоро наши посыльные вернулись. Они принесли два ведра горячего супа и завернутые в плащ-палатку сорок четыре порции копченой рыбы. Дверь закрыли.

Во время раздачи супа обитатели вагона заволновались. Каждый получал по две кружки. Но некоторым достался только бульон, и они громко протестовали.

Споры не утихли и во время дележа рыбы. Один был недоволен, что ему досталась голова, другой не хотел брать хвост. Пришлось пообещать недовольным, что во время следующей раздачи рыбы они получат хорошие куски.

Постепенно шум утих. Слышались лишь стук металлических ложек да громкое чавканье.

Суп ели медленно, а когда он кончился, скребли котелок ложками. Наиболее нетерпеливые сразу же принимались за рыбу. У кого остался хлеб, ели ее с хлебом.

В тот день мне почему-то не хотелось ни супа, ни рыбы, ни даже хлеба. Меня знобило и бросало в жар.

В прошлом году в донских степях я пережил подобное состояние. Тогда я лежал в легковом автомобиле под пятью шерстяными одеялами. Меня поили горячим чаем с коньяком и давали какие-то таблетки.

– У вас горячка, – сказал тогда врач. – Если вам повезет, то на утро все пройдет. Но такое состояние может повториться через пять дней.

Тогда мне действительно повезло. На следующее утро я не чувствовал никакой боли…

– Хотите мой суп и рыбу? – спросил я Мельцера. – Мне что-то не хочется есть.

– Что с вами? Уж не заболели ли вы?

– Кажется, заболел. У меня горячка, но это пройдет. Если бы можно было вытянуть ноги, а то их так ломит.

– Вам хотя бы временно нужно дать место на нарах, – заметил старший лейтенант. – Подождите, я сейчас спрошу майора.

Господин Бергдорф охотно обратился к обладателям лежачих мест.

– Господа, прошу минуточку внимания. На полу сидит один товарищ. У него жар и очень болят ноги. Кто может на одну ночь поменяться с ним местами?

Все молчали, словно майор ничего и не говорил. Согласных поменяться со мной местами не оказалось и после того, как майор еще раз обратился ко всем.

– Мне очень жаль, но у каждого что-нибудь да болит, – ответил майор Мельцеру. – А принуждать я не вправе.

– А у меня совсем другое мнение по этому поводу, господин майор, – огрызнулся старший лейтенант. – Это не по-товарищески. Вы, как старший по вагону, обязаны следить за порядком. И вообще, почему время от времени не меняются местами те, кто лежит на нарах, и те, кто сидит на полу?

– Правильно! – подхватили сидящие на полу. – Мы уже пять суток сидим тут. Пусть кто-нибудь и другой посидит.

– Я попрошу вас, молодые люди, не делать мне наставлений, – строго заговорил майор. – Где это видано, чтобы лейтенанты учили старших по званию? Я попрошу вас не забывать, что все вы – еще офицеры вермахта.

Тридцать один человек, которые находились в привилегированном положении, поддержали майора. Поднялся спор. Однако это не дало никакого результата: большинством голосов лежащие на нарах отстояли свои права.

Атмосфера в вагоне накалилась. Чувство братства, видимо, было уничтожено на полях сражения. Особенно у кадровых офицеров, которые теперь больше всего беспокоились о

собственной шкуре.

***

Поезд мчался дальше. В вагоне стемнело. Наступала пятая ночь нашего путешествия. Меня сильно знобило. Зуб на зуб не попадал. Ноги ломило. Если бы только вытянуться! Между нижними нарами и полом вагона было пустое пространство сантиметров в тридцать. Может быть, заползти туда?

– Попытайтесь, – предложил мне Мельцер. – Только смотрите не задохнитесь.

Мне помогли товарищи, и я медленно просунул ноги под нары, потом, сантиметр за сантиметром, заполз туда весь. Снаружи осталась одна голова.

Это принесло мне некоторое облегчение, однако боль в ногах не проходила. С меня градом лил пот.

Вокруг было так темно, хоть глаз коли. Теперь, когда я не чувствовал спины своего соседа и с боков никто не толкал, меня вдруг охватило чувство одиночества.

Больной и беспомощный, я казался себе всеми покинутым. Меня охватил страх, в горле пересохло, дыхание стало прерывистым. Было такое ощущение, что я вот-вот задохнусь.

Мне стало страшно, и я закричал.

– Что с вами? – спросил меня сосед, который помогал мне залезть под нары.

– Я здесь задыхаюсь. Ради бога, вытащите меня отсюда, – простонал я.

Подхватив под мышки, меня вытащили из-под нар и усадили на прежнее место, прислонив к спине Мельцера.

Ночи, казалось, не будет конца. От сильных болей мысли в голове путались. Иногда я впадал в полузабытье, но из этого состояния меня выводили стоны и крики, доносящиеся то из одного, то из другого угла вагона.

Неожиданно раздался паровозный гудок. Я очнулся. Поезд остановился. У вагона послышались чьи-то голоса и скрип шагов. Возможно, это были часовые или железнодорожники. В вагоне завозились, кто-то громко заговорил.

– Хорошенько обопритесь на меня, – посоветовал мне Мельцер.

Я снова закрыл глаза и уже не слышал, когда тронулся состав. Когда я очнулся, колеса монотонно стучали под полом.

Днем боли стали не такими резкими, как ночью. И было не так одиноко. Руки и ноги, казалось, налились свинцом.

***

– Он умер! – тихо произнес кто-то с верхних нар.

– Среди нас нет врача? – громко спросил другой. Оказалось, что врач лежал на верхних нарах. Это был старший лейтенант медицинской службы. Он не торопясь слез с нар и приблизился к умершему.

– По-видимому, умер от сыпного тифа, – высказал врач свое мнение после короткого осмотра…

– Не можем же мы сидеть рядом с трупом, – запротестовал кто-то. – Так мы все заразимся.

– Я думаю, господин капитан, что кто-то из нас уже заразился, – заметил врач. – Если сейчас и нет еще явных признаков, то они скоро появятся. Насекомых у нас у всех полно. Великая армия Наполеона в кампании 1812 года сильно пострадала от тифа. Недели через две-три мы познакомимся с печальными неожиданностями.

И доктор полез на свое место. Чувствовалось, что ему самому было как-то не по себе.

– А что же делать с трупом? Его нужно убрать отсюда! – закричал кто-то.

– Придется ждать до остановки, пока откроют дверь, – ответил врач. – Мертвого прислоните к стенке и постарайтесь отодвинуться от него подальше.

Нажимая друг на друга, все отползли от покойника.

Сыпной тиф!

… Об этой страшной болезни я услышал впервые в мае 1942 года.

Было это на занятиях по гигиене. Мы находились тогда неподалеку от Харькова, в каком-то лесу. Наша санрота проделала большой путь: Буг, Луцк, Ровно, Житомир, Киев. И почти все время – под проливным дождем. Шоссе, по которому мы ехали, было все в глубоких воронках от снарядов и напоминало русло ручья с большими заводями.

По сведениям, под Харьковом шли бои. Пехотные полки нашей дивизии, переброшенные из Франции, прямо из эшелона вступили в бой. Моторизованная санрота и некоторые другие специальные подразделения были до зарезу нужны дивизии.

12 мая 1942 года крупные советские части и соединения столкнулись северо-восточнее и юго-восточнее Харькова с немецкими войсками. Штабы и тыловые учреждения немецких войск в Харькове оказались в опасности.

Наша санрота делала все возможное, чтобы как можно скорее прибыть в пункт назначения. Нас ждали раненые товарищи на

поле боя. За Киевом шоссе было настолько разбито, что передвигаться по нему удавалось только со скоростью пять-шесть километров в час. То и дело приходилось подкладывать под колеса деревья и кусты, которые мы возили с собой. И так – от одного поврежденного участка шоссе до другого. Все это страшно изматывало и машины и людей.

Наконец дождь прекратился. Солнце быстро подсушило дорогу. Однако в Харьков мы прибыли только 29 мая 1942 года, когда главное командование вермахта известило о победоносном завершении весеннего наступления.

Рота расположилась на отдых. Нужно было осмотреть машины, оружие, приборы, да и людям следовало привести себя в порядок: помыться, постирать, зашить кое-что из обмундирования. Вот тут-то и стали мы находить в своем белье вшей.

Командир роты капитан Людерс прочитал нам целую лекцию о различных эпидемиях.

– Основным распространителем сыпного тифа, – говорил он, – являются вши. Болезнь эта очень опасна и часто кончается смертью.

Через две недели после укуса тифозной вши у больного поднимается высокая температура, затем сначала на животе, а потом и на всем теле появляются небольшие пятна коричневого цвета. Высокая температура держится несколько дней подряд. Больной начинает бредить, теряет зрение или слух. Сердце работает с перебоями, и часто больной умирает.

– Лучшая профилактика в борьбе против сыпного тифа – это уничтожение насекомых, – поучал нас командир роты. – Именно поэтому я и приказываю вам ежедневно осматривать все свое белье. Кто не будет делать этого, тот подвергает свою собственную жизнь и жизнь своих товарищей опасности.

Доктор Людерс говорил правду. Но если до окружения под Сталинградом мы имели возможность соблюдать это правило, то потом нам уже было не до этого. Многие из солдат и даже офицеров завшивели. А в последние дни окружения у некоторых появились симптомы сыпного тифа. В первые недели нашего пребывания в плену большинство из нас уже были переносчиками различных заболеваний.

И вот первый случай сыпного тифа в нашем вагоне!

Попав в плен, сначала мы находились в городе Красноармейске. Жили мы там в тесноте, кормили нас довольно скудно, но гораздо лучше, чем в декабре во время окружения. На день каждый получал четыреста граммов хлеба, кусок селедки, котелок супу и котелок чаю.

Советское командование очень быстро организовало медицинское обслуживание военнопленных. Однако число пленных в лагерях росло неимоверно быстро. Русские женщины-врачи едва успевали обходить бараки, осматривая больных.

В помещении в пятнадцать квадратных метров на трехъярусных нарах лежало человек двадцать. Многие пленные хотя еще и не заболели, однако были настолько слабы, что поднимались только за пищей или же по нужде…

А теперь я сам заболел, заболел серьезно.

Дверь вагона со скрежетом отодвинулась. Вспоминая нашу жизнь в Красноармейске, я даже не заметил, как остановился поезд.

Часовой, как и раньше, потребовал двух разносчиков пищи. Однако прежде чем они спрыгнули на землю, майор Бергдорф доложил часовому, что у нас в вагоне умерший.

– Мертвец? – переспросил русский. – Момент, подождите! – И красноармеец задвинул дверь, загремев засовом.

– Не хватало только, чтобы нас заперли здесь с мертвецом вместе. Быть может, они теперь всех нас считают заразными? – произнес вслух майор.

– Подождите немного, – успокаивающе произнес кто-то. – Солдат сейчас доложит начальству. Может, приведет с собой советского врача.

Прошло несколько томительных минут. Потом мы услышали чьи-то шаги. Дверь снова открыли, и мы увидели женщину в военной форме. Рядом с ней стояли советский офицер и знакомый нам красноармеец.

– Где мертвый? – спросила женщина, наверное, врач или военфельдшер. – Покажите мне его!

Несколько пленных с кряхтением встали на ноги и показали на умершего. Офицер и красноармеец вынесли труп и положили перед вагоном на снег. Женщина наклонилась над трупом, быстро осмотрела его и что-то сказала офицеру по-русски.

– Четыре человека! – потребовал офицер от нашего майора. Четверо выделенных пленных подняли труп и понесли его вслед за офицером.

Женщина осталась у вагона.

– Кто из вас болен? – спросила она, обращаясь к нам на ломаном немецком языке.

Все молчали.

– Вы разве не хотите сказать? – шепнул мне на ухо Мельцер. – Быть может, вам дадут лекарство.

Не успел я и рта раскрыть, как кто-то из лежащих на нижних нарах проговорил:

– Кажется, у меня температура. Дайте мне какие-нибудь таблетки.

– Кто это сказал? – спросила женщина. – Выйдите сюда!

На свет вышел бледный мужчина с рыжей бородой. Шапка у него была натянута на лоб, клапаны опущены. Знаков различия у пленного я не заметил.

– Сходите! – приказала женщина. Пленный со стоном вылез из вагона. Ему помог часовой. Женщина пощупала у больного лоб и стала считать пульс. Потом коротко сказала:

– Пойдемте со мной!

Я невольно подумал о том, что таблеток больной еще не получил, а его уже разлучили со своими товарищами. Изолировали, и кто знает как! Уж лучше остаться вместе со всеми. Здесь у меня по крайней мере есть Мельцер.

– Мне уже лучше, – тихо сказал я Мельцеру. – Я не хочу в изолятор.

На самом же деле боли усилились, да и жар не проходил. Но если нужно будет встать, мне поможет Мельцер! О больничной койке, которая была мне так нужна, я и мечтать не мог.

С этого дня ежедневно и почти на каждой остановке к нам приходила женщина-врач. Однажды она забрала с собой двух тяжелобольных. Один из них в бреду все время бормотал что-то. Другого вынесли из вагона в бессознательном состоянии. Это было на седьмые сутки нашего пути.

Больных сопровождали товарищи по вагону. Вернувшись, они рассказали, что больных положили в зале ожидания, а станция эта называется Казань. На станции и на платформе полным-полно военных и гражданских.

Итак, это была Казань!

Из школьных учебников я знал, что Казань находится на Волге и что давным-давно, во время войны русских с татарами, этот город сыграл важную роль. Больше я ничего не мог вспомнить.

Итак, ранним утром на седьмые сутки пути наш состав прибыл в Казань. Вскоре разносчики пищи принесли хлеб и чай. Мы делили и, как всегда, громко спорили. Потом в вагоне воцарилась тишина. Одни тихо разговаривали, другие чуть слышно стонали и охали, третьи, закрыв глаза, о чем-то вспоминали. К числу последних относился и я. Из нашего вагона уже взяли четверых больных. Это дало возможность четверым с пола перебраться на нары. Так что на полу теперь сидело не двенадцать, а только восемь человек.

– Давайте не разлучаться, – предложил мне Мельцер. – Вдвоем все легче, чем одному.

– Разумеется, – согласился я. – На нарах вряд ли мы получим два лежачих места рядом. Давайте лучше переберемся поближе к стенке.

– Хорошо. Туда, где есть дырочка.

С того дня мы с Мельцером больше уже не подпирали друг друга спинами, а сидели рядом, прислонившись к вагонной стене. Так было уже намного легче, так как мы могли свободно вытянуть ноги.

Клише не годится

На станции Казань наш эшелон простоял долго: весь день, ночь и еще один день. В это время я очень сожалел о том, что так мало знал о Казани. Да и вообще я ничего не знал о Советском Союзе.

… Будучи школьником, я увлекался собиранием советских почтовых марок. Впервые коллекцию таких марок я увидел у одного школьного товарища. Его отец некоторое время работал монтером в Советской России. Советские марки были по размерам меньше немецких. На многих из них изображались рабочие, крестьяне, красноармейцы. На более крупных марках я увидел портрет Ленина.

Монтер с большим уважением говорил о Ленине, называя его гениальным вождем Октябрьской революции и Советского государства. Отец моего товарища рассказал нам, что Ленин разработал план индустриализации России, что Советское государство строит на Днепре самую крупную в мире электростанцию, которая даст электрический ток металлургическим и станкостроительным заводам, а это в свою очередь вызовет к жизни целую серию новых предприятий.

Монтер говорил о тех трудностях, которые советским людям пришлось преодолеть на своем пути. И показывал марки, выпущенные в Советской России в пользу голодающих или беспризорных детишек.

Голод и беспризорность – это я вряд ли мог себе представить. Это лишь отпугивало меня.

В шестнадцать лет я стал читать Достоевского. Его романы «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» открыли мне многие острые социальные конфликты. В основном я был согласен с мнением Достоевского, что человек раздваивается в своей сущности. Не удовлетворяли меня только религиозно -мистические, анархические и крайне индивидуалистские лозунги писателя, например те, которые он пропагандировал в образе Раскольникова. Я был глубоко убежден в том, что человек сам способен преодолеть в себе все плохое и злое и что человек должен жить и действовать по здоровым этическим нормам. Но кто может сказать, что этично, а что нет? Этот вопрос возник у меня лишь в ходе войны. Можно ли говорить об этике, когда в сталинградском котле бессмысленно гибли десятки тысяч людей? Какой путь должны были выбрать для себя отдельные индивидуумы, оказавшись в этой ситуации?

Однако сколько я ни ломал себе голову над подобными

вопросами, ответа на них я не находил, хотя чувствовал, что мне необходимо найти этот ответ. Для меня это были жизненно важные вопросы.

… В восемнадцать лет я прочитал «Войну и мир» Толстого. Накануне 1933 года увидел в кино «Анну Каренину». Мне полюбились герои Толстого. Этого писателя я стал ценить выше Достоевского. Толстой давал более конкретные жизненные ответы.

А потом я начал читать Рахманова, Двингера, Крегера и Альбрехта. Это было уже после 1933 года. Тогда в витринах книжных магазинов выставляли книги только подобного рода. Я хотел пополнить свое образование, однако никакого удовлетворения от этой литературы не получил. Героями этих писателей были кровожадные красноармейцы и жестокие чекисты. Разве можно было найти в двингеровском «Между белым и красным» или крегеровском «Забытом селе» прекрасные черты характера русских людей, какими я восхищался, читая Толстого и Достоевского?

Теперь русского человека изображали в резком противоречии с моими идеалами, и я очень сожалел об этом. Конечно, идеи большевизма были чужды мне. Я не знал, что кроется за этими идеями, и потому боялся их. Это чувство страха переполняло меня, и когда я ехал в эшелоне для военнопленных. Что нас ждет? Этот вопрос волновал меня больше всего.

Однако несмотря на пропагандистский яд, которым дышали подобные книги, которым дышала каждая строчка «Фолькишер беобахтер» и были насыщены все речи Гитлера в стремлении создать самую отрицательную картину о Советской России, несмотря на крики о большевистской опасности, нависшей над Германией, я, однако, вовсе не чувствовал себя крестоносцем для борьбы против большевизма. Огромная страна, протянувшаяся на несколько тысяч километров с запада на восток, ее строй, ее идеи были для меня непонятными, загадочными.

Когда осенью 1939 года был заключен советско-германский пакт о ненападении, я был изумлен. Такой шаг никак не вязался с гитлеровской концепцией об уничтожении большевизма. Правда, я недолго тогда задумывался над этим. Я был доволен, что мы нашли общий язык с очень сильным государством.

И вдруг – 22 июня 1941 года…

***

Я, наверное, что-то сказал вслух, так как Мельцер тронул

меня за плечо.

– Что с вами? Что случилось? Опять ворошите прошлое?

– Так оно и есть. Когда вспоминаешь прошлое, невольно на ум приходят кое-какие вопросы.

– Какие, например?

– Вот я только что вспоминал о начале войны с Россией и подумал о заключенном нами пакте о ненападении. Тогда я никак не мог понять этого, да и сейчас не понимаю, – сказал я.

– Этого я тоже не понимаю, но предпочитаю и не ломать над этим голову. Сейчас у нас положение куда серьезнее. Вы не считаете?

– Да, разумеется, – ответил я. – Но изменить настоящее мы уже все равно не в силах, да и к старому я уже не вернусь.

– А где вы были 22 июня 1941 года? – спросил меня Мельцер. – Вы с самого начала войны были настроены против России?

– Нет, бог с вами, конечно, нет! В это время я был во Франции.

– Счастливчик! Вам повезло. Расскажите мне что-нибудь, хорошо?

Мельцер любил говорить со мной. За разговором и время летело незаметно.

– Дорогой Мельцер, это была восхитительная поездка – через Орлеан в Бордо. Поезд дважды переваливал через горы… Потом в синей дымке я увидел Пиренеи.

Девятьсот километров скорый поезд покрыл за какие-нибудь десять часов. Весь путь там электрифицирован.

– А что дальше? Рассказывайте, пожалуйста, дальше.

– Хорошо. Вы знаете, сам я из Шварцвальда. И Биарриц произвел на меня неизгладимое впечатление. Это была симфония красок – голубая симфония. Безбрежная синяя гладь океана сливается на горизонте с голубизной неба. Синие вершины Пиренеев и голубые гортензии на набережной. И тут же превосходные пляжи, великолепные отели, виллы, красивые женщины – все атрибуты солнечного юга. Офицеры и солдаты вермахта, должен вам признаться, одни в большей, другие в меньшей степени, постарались использовать все возможности, чтобы пожить на широкую ногу. Деньги мы тогда получали приличные, так что хватало на все, даже посылали кое-что и домой. Но была там и другая жизнь. С ней я познакомился, когда увидел, как голодные ребятишки, прижав носы к окнам офицерского казино, просили милостыню. Потом я видел и женщин, и стариков, которые рылись в помойках в поисках какой-нибудь пищи…

По-видимому, последние слова я произнес как-то по-особому, так как Мельцер заметил:

– Говорите спокойно. В этом нет ничего нового. Подобные сцены видел и я. И тоже жалел таких бедняков. Даже пробовал как-то облегчить их участь, но вы знаете, полевая жандармерия не зевает в таких случаях.

– Знаю, Мельцер. О Южной Франции я расскажу вам в другой раз. Вы вот спросили, где я был 22 июня 1941 года? Я расскажу вам подробнее, так как в тот день я многое пережил. Вот послушайте.

22 июня было воскресенье. Завтракал я в тот день в казино, на два часа позже обычного. Там я застал только ординарца.

– С четырех часов тридцати минут утра объявлена тревога, – сообщил он мне. – Война против России.

– Против России? – удивился я.

И больше не смог вымолвить ни слова. Я подошел к открытому окну, чтобы глотнуть свежего воздуха. Страх точно сковал меня. Невидящим взглядом я уставился на улицу. Мысленно представил себе, как где-то далеко на востоке германские войска сражаются против русских. На какое-то мгновение поток немецких танков и наступающей пехоты, огонь артиллерии и взрывы авиабомб заслонили собой все, но ненадолго. Русские стояли как скала. В то воскресенье я спросил себя: «Что, если вермахт будет сломлен? Что сможет противопоставить Германия этому колоссу, если ее собственная армия будет повержена в прах?..»

До сих пор Мельцер не перебивал меня, но тут, он слегка улыбнулся и сказал:

– Дорогой Рюле, я вас не считаю ни романтиком, ни фанатиком. Я охотно верю, что иногда человек способен как бы предвидеть события, но то, что сказали вы сейчас, это уж чересчур. Почувствовать тогда, что Германия будет разбита Россией? Этого я не могу сказать даже сейчас, несмотря на наше поражение в Сталинграде. Это было бы ужасно! Конечно, факт остается фактом: Красная Армия нас побила. И разумеется, она не находится при последнем издыхании, как думают некоторые. Я этого мнения не разделяю. Но и победу русских над нашей 6-й армией я объясняю прежде всего зимой. Вот увидите, летом вермахт снова перейдет в наступление. Вот увидите!

Стоило только удивляться, как крепко Мельцер держался за свои старые убеждения. Я продолжал:

– Разумеется, все не так просто. Однако вы должны признать, что наша теория «молниеносной войны» потерпела крах. Признаете или нет? Я думаю, преимущество Советского Союза

будет из месяца в месяц нарастать. К тому же не следует забывать, что Америка и Англия – очень сильные противники.

– Не будем спорить, – перебил меня Мельцер. – У вас свое мнение, у меня – свое. Побережем свою энергию, чтобы выжить.

На этом наш разговор о первом дне войны с Россией закончился.

***

Действительно, человеку, пережившему битву на Волге и попавшему в плен, нужно было много сил и энергии, чтобы выжить. Случалось, что кто-нибудь из обитателей нашего вагона вдруг ни с того ни с сего начинал бушевать как одержимый. Это был результат душевного расстройства. Сомнения одолевали всех нас, они разъедали душу и наводили на мысль о самоубийстве. Нужно было набраться мужества, чтобы критически осмыслить собственную жизнь. И я пытался разобраться, когда и где поступил не так, как следовало бы, что просмотрел, что предостерегало меня. В конце концов я хотел знать, что хорошего есть во мне и от чего необходимо избавиться.

Не шевелясь, я сидел на полу вагона, прислонившись спиной к стенке. Поезд наш, казалось, и не собирался трогаться с запасных путей казанского вокзала. Вот дверь отодвинули, и послышался знакомый голос:

– Три человека!

Вскоре все трое вернулись, неся горячий суд и копченую рыбу.

Теперь у меня было много времени, и я опять и опять думал о Советской России.

… Доктор Гизелер – бывший фельдшер, потом врач санроты. Жив ли он? И где сейчас? В декабре 1942 года в Городище я видел его в последний раз.

Я не случайно вспомнил именно его. Вместе с ним однажды мне удалось ближе познакомиться с культурой Советской страны.

Произошло это в Харькове в конце мая 1942 года. Мы с доктором взяли легковую машину и поехали в город в поисках батареи для рации. Ею у нас распоряжался лейтенант-связист.

По обеим сторонам улицы стояли приземистые, низкие дома. Некоторые были разрушены.

– Довольно неприглядная картина для рая, – заметил доктор. – В таких деревянных хибарках у нас не живут даже самые бедные крестьяне.

– Конечно, ничего особенного мы не видим, – возразил я, – но

взгляните на церковь с ее куполами. Разве она не красива?

– Да, церковь хороша, ничего не скажешь. Но ведь это – старая Россия. А вон впереди – какой-то памятник.

– Давайте вылезем и посмотрим, – предложил я. – А вы поезжайте за нами, – сказал я нашему водителю.

Деревья справа и слева от дороги сильно пострадали от артиллерийского обстрела. В центре круглой площади на пьедестале возвышалась статуя какого-то мужчины. Ниже располагались фигуры мужчин и женщин.

– Шевченко, – по буквам прочитал я. – Никогда не слышал этой фамилии. А вот и дата стоит: 1935 год. Неужели этот памятник установлен при Советской власти?

– Меня это тоже удивляет, – высказался доктор. – Я не имею ни малейшего представления, что за человек этот Шевченко, но фигуры у его ног, как я понимаю, простые люди из народа. Наверное, этот Шевченко был как-то связан с народом. Однако прославлять это большевики вряд ли бы должны.

Мы тогда так думали, начитавшись разных книг, где советских людей изображали не иначе, как тиранами. Подобная литература, ежедневная пропаганда нашего радио и наших газет сделали свое дело. Но жизнь ломала наши старые представления. Так было и с памятником Шевченко.

В тот день нас ждали и другие неожиданности. Миновав парк, мы вышли на огромную площадь, на которой стояло несколько очень высоких домов, каких мне еще никогда не приходилось видеть. Они показались мне похожими на нью-йоркские небоскребы. Дома были полуразрушены, все деревянное в них сгорело, однако по всему было видно, что строились они недавно, не более чем лет десять назад. Значит, их построили при Советской власти? И это вновь не совпадало с моими представлениями о большевизме. Доктор тоже был очень удивлен.

Россия задавала нам загадку за загадкой.

… В июне того же года наша санрота развернула свой первый дивизионный медпункт в тридцати километрах северо-восточнее Харькова. Мы выбрали здание школы. В ней разместились операционные и перевязочные пункты для легкораненых. В одной из комнат лежали больные, отставшие от своих частей. Несколько комнат были еще не заняты. Одну комнату мы подготовили для приема новых раненых, другую – для тех раненых, которых готовили отправить в тыл.

Обходя вместе с нашим ротным фельдфебелем все помещения школы, я зашел в хорошо оборудованный физический кабинет. Он с честью мог украсить любую германскую гимназию

крупного города, а эта школа находилась в небольшом советском городке. Большинство домишек этого города были неприглядными, со старыми соломенными крышами. Кто же учился в этой школе? Неужели дети тех самых женщин, одетых в поношенные телогрейки? Этих женщин мы видели работающими на полях. Возможно ли это? Мне это казалось непонятным, однако на всякий случай я отдал распоряжение – физический кабинет ни в коем случае не занимать. Я не был сторонником бессмысленного и никому не нужного разрушения…

***

В вагоне стало темнеть. Почти совсем не было видно нар. С трудом я различал контуры сидящего справа от меня Мельцера: слегка курносый нос, угловатые линии скул и серебристый погон на шинели.

Наступала седьмая ночь на колесах. А поезд вот уже вторые сутки стоял на одном и том же месте. Нас в вагоне осталось сорок. Большинство молчало, некоторые тихонько переговаривались между собой, другие тяжело вздыхали и охали. Ночью обычно раздавались испуганные крики: кого-то беспокоили кошмары.

… Я вспомнил июль и август прошлого года. Кругом степь. С безоблачного неба ярко светит солнце. На десятки километров не видно ни деревца, ни кустарника, ни деревеньки, где бы можно было укрыться от нестерпимой жары. Немецкие войска все дальше продвигались в юго-восточном направлении, в излучину Дона. Идущая по дороге пехота и проезжающие машины поднимали такую пыль, что она густым облаком стояла над колоннами людей и техникой, оседая толстым слоем на лицах и одежде солдат и на оружии. Дышать было трудно, глаза резало, в горле першило. И нигде ни капли воды, чтобы утолить жажду или освежить лицо.

В один из таких жарких летних дней маршевая колонна санроты подходила к небольшому городку. Зажатая обозными машинами, рота не могла двинуться ни взад ни вперед. Объехать же обоз было невозможно, так как по обочинам дороги стояли деревянные домишки. Волей-неволей пришлось ждать, пока вся эта длинная колонна снова не придет в движение. А в городке была вода.

Водоносы всех частей с ведрами и различными посудинами выстроились в длинную очередь перед колодцем. Кто уже набрал воды, быстро уходил к себе. Задние напирали и торопили

передних. Однако очередь нисколько не уменьшалась: прибывали все новые и новые водоносы. Крики, стук ведер, ругательства – все слилось в разноголосый гомон.

На пороге дома неподалеку от колодца сидел старик в потертом картузе. Загорелое лицо старика было все изрезано морщинами, в волосах – густая седина. Голубые ясные глаза, казалось, с удивлением смотрели на столпившихся у колодца солдат, будто спрашивали: «Что вам нужно здесь, непрошеные гости?» Старик даже не пошевельнулся, когда я подошел к нему.

Этот старый человек большую часть своей жизни прожил при царе. Но сейчас он всем своим поведением, казалось, хотел показать, что нас сюда никто не звал и никто в нас здесь не нуждается. Для него мы были захватчиками, против которых он не раз сражался. И он молча презирал нас.

Невозмутимое спокойствие старика, во всей фигуре которого угадывалось моральное превосходство над нами, заставило меня задуматься. До этого мне приходилось уже видеть многих русских, но образ этого старика буквально преследовал меня.

Было бы смешно разыгрывать перед ним роль освободителя. Да мне это даже и в голову не приходило. Освободить такого человека? От кого? Я чувствовал свое моральное поражение и невольно подумал: «А что думают наши пропагандисты, когда пишут о нашей освободительной миссии?»

Помню, я чувствовал себя ужасно неловко. Сейчас же, сидя в вагоне для военнопленных, я понимал, что тот старик уже тогда был победителем над нами…

Одни воспоминания рождали другие.

… Жизнь шла своим чередом, нелегкая, правда, но обычная походная жизнь.

В Вертячем на Дону дивизионный врач приказал нам развернуть полустационарный полевой госпиталь. Для этой цели нам освободили несколько домиков. Однако, для того чтобы длительное время держать у себя раненых, у нас многого не хватало.

В Сталине, в шестистах километрах юго-западнее Вертячего, находился крупный центр материально-технического снабжения войск вермахта. Получив задание, мы вместе с водителем Эрвином Вайсом тронулись в путь. Переправившись по мосту через Дон, мы добрались до аэродрома неподалеку от какой-то станицы и тщательно замаскировали там свою легковушку.

Нам повезло, так как вскоре прилетел Ю-52, который перевозил раненых в Сталино. Нам разрешили лететь этим же самолетом.

Из окошка самолета я видел багровый диск солнца на

горизонте. Солнечный свет позолотил степные просторы и близлежащую деревеньку. Глубокие балки казались темно-фиолетовыми пятнами. Далеко-далеко, почти на самом горизонте, блестел Дон.

Это был прекрасный пейзаж, который никак не вязался с ужасами войны. Долетев почти до самой реки, наш самолет сменил курс и полетел в юго-западном направлений.

В самолете находилось четырнадцать раненых: одни лежали на носилках, другие сидели на корточках. Я оказался рядом с радистом.

Самолет летел на небольшой высоте, и я хорошо видел людей, машины, деревья, дома и дороги. Где-то слева, по ту сторону Дона, был город Калач. Потом я заметил в желтой степи черные точки танков. На одних машинах были нарисованы красные звезды, на других – бело-черные кресты. Танки стояли неподвижно, стволы пушек у некоторых машин наклонились к земле.

– На этом месте в начале августа был большой танковый бой, – крикнул мне радист сквозь рев мотора. – Русские упорно защищались, но и нам досталось. Многие подбитые немецкие танки уже увезены отсюда в ремонтные мастерские.

Примерно через полтора часа полета пейзаж изменился. Стали чаще попадаться населенные пункты: города, заводы, шахты. Это был Донбасс. Потом под крылом блеснула река. И вот уже Сталино.

Я облегченно вздохнул, когда самолет коснулся колесами бетонной дорожки аэродрома. Полет продолжался ровно два часа.

Два дня подряд я мужественно «сражался» с бюрократами из интендантства ради того, чтобы облегчить положение моих товарищей, которые день и ночь боролись за жизнь раненых.

После бесконечной беготни и долгих уговоров мне удалось получить целую гору необходимого нам оборудования. Постепенно шаг за шагом список всего, чего нам не хватало, уменьшался. А в этом списке значилось даже двадцать железных печек, два ящика мыла и сто литров пива.

Я сумел выполнить и самое трудное задание – достать письменные принадлежности. А вот с самолетом оказалось труднее. Положение в Северной Африке потребовало от ВВС откомандировать туда добрую половину своих «юнкерсов». С грехом пополам мне удалось раздобыть товарный вагон. Все полученное мною было быстро погружено и под охраной ефрейтора Вайса отправлено на станцию Суровкино, которая находилась в ста километрах от Вертячего.

Спустя сутки я вылетел на самолете в обратном направлении.

До отлета самолета у меня оставалось несколько свободных часов, и я решил побродить по городу. Вместе со мной пошел переводчик, с которым я познакомился в интендантстве. Переводчику было лет сорок, родился он в России, в Санкт-Петербурге! После Октябрьской революции вместе с родителями переехал в Германию. От него я узнал, что город Сталино до 1924 года назывался Юзовкой, что в прошлом столетии англичанин Джон Юз построил здесь первый металлургический завод.

Переводчик провел меня по районам, где в царское время размещалась так называемая английская колония: здесь жили только англичане – владельцы заводов, инженерно-технический персонал и высокопоставленные служащие. Рядом с этим районом было рабочее поселение. Здесь в самых примитивных глиняных мазанках ютились рабочие. Ни улиц, ни канализации, ни водопровода. По мнению моего гида, таких удобств жившие здесь некогда рабочие явно не заслуживали. Затем он предложил посмотреть рабочие кварталы, выстроенные при Советской власти. Мы прошли по прямой улице из деревянных домов. Показались и мазанки из глины. Указав на них, переводчик, видимо, хотел подтвердить высказанное им мнение о рабочих.

Потом мой гид повел меня в район, где располагались металлургические предприятия, машиностроительные и химические заводы, шахты. Некоторые из шахт, как сообщил мне переводчик, находились на уровне тысячи метров под землей.

– Да, русские здорово поработали. В Донбассе они создали такой индустриальный центр, что даже удивительно. Но теперь все это принадлежит нам.

Мы остановились перед воротами одной фабрики. Переводчик показал мне на вывеску, прибитую у входа. На ней было написано: «Фридрих Крупп – А. Г. Украина».

В голове у меня шевельнулась мысль, что владения Круппа еще не являются нашей с переводчиком собственностью.

Больше я этого переводчика никогда не встречал, хотя не раз вспоминал его слова: «Но теперь все это принадлежит нам». Кого он имел в виду под словом «нам»? Круппа или нас всех? Но какое отношение я имею к Круппу? Никакого, абсолютно никакого. Но может быть, мы и воюем не столько ради интересов Германии, сколько ради интересов Круппа и ему подобных?

Германия и Крупп, Крупп и Германия… Германия превыше всего! Ради чего, собственно говоря, маршируют, стреляют, убивают и гибнут немецкие солдаты?..

– Дружище, а мы все торчим на одном и том же месте? – пробормотал Мельцер. – Эта ночь, наверное, никогда не кончится!

– А вы заснули? Тогда радуйтесь, а я вот никак не могу

уснуть. Сейчас уже, видимо, полночь, – прошептал я, чтобы не беспокоить других.

И все же нас кто-то услышал, так как тут же раздался чей-то раздраженный голос:

– Да замолчите же вы наконец! Не все ли равно, сколько сейчас времени.

… В середине сентября 1942 года, вскоре после моего возвращения из Сталино, меня вызвал дивизионный врач.

– Вот уже несколько дней, как Сталинград на Волге находится в наших руках, – начал он. – Нам необходимо подыскать там помещения для госпиталя и медпунктов. Не за горами зима. Вы получаете почетное и ответственное задание – первым выехать от нашей санроты в Сталинград. Как только вернетесь, мы пошлем туда наших людей.

Не могу сказать, чтобы я неохотно выслушал этот приказ. Мне очень хотелось попасть в этот город и увидеть собственными глазами Волгу – самую большую реку в Европе.

Я выехал из Вертячего в холодное и сырое утро.

Над степью плыл густой туман, скрывая от взора и редкие кусты, и деревья, и домики. Мотоцикл с коляской, в которой я сидел, пожирал километры. Кругом – ни души. Казалось, вся земля вымерла.

После получасовой езды неожиданно позади нас, а затем впереди взорвалось по снаряду. Потом еще. Противник обстреливал шоссе.

Постепенно туман стал рассеиваться. Вскоре показались первые городские постройки, вернее руины. От многих зданий остались только печные трубы. Дальше виднелись высокие дома, тоже полуразрушенные.

По пути мы не встретили ни одного немецкого солдата, хотя повсюду на перекрестках висели таблички с номерами полевых почт и дорожные указатели.

– Эй вы, что вам здесь нужно? – наконец окликнул нас какой-то солдат.

– Мы ищем комендатуру. Не можете ли вы нам сказать, где она располагается?

– Комендатура? У нас ее нет. Сходите вон туда, там находится командир нашей роты.

Мы вошли в блиндаж пехотной роты. Командир роты, старший лейтенант по званию, очень удивился цели нашего приезда. Пока я объяснял ему, лицо его все больше и больше вытягивалось, наконец он не выдержал и громко рассмеялся. Солдаты, сидевшие в блиндаже, понимающе захихикали.

– Видимо, ваш дивизионный врач не имеет ни малейшего

представления о том, что здесь происходит. Сталинград вовсе не в наших руках. Три дня назад на одном очень узком участке нам с трудом удалось продвинуться почти до самой Волги. Дома справа и слева от нас нужно было брать по одному. На северной окраине города, где находятся заводы, русские сражаются за каждый камень. Да и на южной окраине продолжаются бои. Кроме того, русские хорошо укрепились на противоположном берегу, откуда часто обстреливают нас артиллерией и минометами. Вот так обстоят дела.

– Но ведь в сводках вермахта все выглядит иначе! По их сообщениям, весь город находится в наших руках. И сопротивление Красной Армии – сущий пустяк. Или верховное главнокомандование не знает действительного положения вещей?

Офицер уклонился от ответа на мой вопрос.

– Я дам вам один совет, – сказал он. – Уезжайте-ка вы побыстрее обратно. Здесь все время стреляют. Сегодня у нас уже погибло трое солдат.

Однако меня не устраивал этот совет. Я хотел собственными глазами убедиться, есть ли в городе здания, пригодные под госпиталь или лазарет. Об этом я и сказал старшему лейтенанту.

– Хорошо. Поступайте как хотите, но только не делайте ни шагу в сторону центра. Вы – люди здесь новые, еще неопытные, и это может стоить вам жизни. Осмотрите вон те здания, справа. Может, вы найдете то, что вам нужно…

Поблагодарив ротного, мы попрощались с ним и осторожно, объезжая развалины и воронки, двинулись в указанном направлении. Впереди, на расстоянии какого-нибудь километра, виднелась река. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь дым пожарищ, играли на ее зеркальной глади. В стороне горели руины каких-то зданий. Великолепие природы и весь ужас происходящего составляли страшный, потрясающий контраст.

Пока мы ориентировались на местности, недалеко от нас раздался взрыв. Нас могли заметить со стороны острова. Видимо, противник внимательно следил за каждым участком.

У зданий, к которым мы направлялись, стояло несколько замаскированных зениток. Не успели мы войти в один из домов, как над нашими головами на небольшой высоте пролетели советские штурмовики. Загремели разрывы бомб, затявкали пулеметы, зенитки открыли огонь. Дом словно залихорадило.

– Немедленно вон отсюда! – закричал я водителю. – Бессмысленно выполнять этот приказ.

Вечером того же дня я поделился своими впечатлениями со старшим аптекарем.

– Этот город и приближающаяся зима не сулят нам ничего

хорошего, – сказал я в заключение. – Русские позиции здесь – крепкий орешек. Будем надеяться, что верховное главнокомандование вермахта лучше информировано о положении в Сталинграде, чем наш дивизионный врач…

С этого дня я перестал верить официальным сводкам вермахта, а реальное положение вещей меня сильно беспокоило…

***

Таким образом, еще тогда я столкнулся с фактами несоответствия многих представлений действительности. Но тогда некогда было думать об этом.

Теперь же, после всего пережитого, эти противоречия приобрели совсем другой смысл.

Ведь и мои представления о большевизме оказались тоже ложными. Как будто мне раньше подсовывали только клише, а оно оказалось совсем не похожим на оригинал.

Теперь мне, как никогда, захотелось иметь правильное представление о Советском Союзе. Это было просто необходимо. Вот только будет ли у меня для этого возможность?

Без должного масштаба

Когда я проснулся, наш поезд все еще стоял. Мельцер рядом со мной спал сном праведника, даже немного похрапывал.

Через дырочку в стенке вагона пробивался пучок света. Снаружи я услышал приглушенные женские голоса. Они перебивали друг друга. Меня подмывало любопытство. С трудом повернувшись к стене, я встал на цыпочки и прильнул к щелочке.

На соседних путях стояли такие же, как наши, товарные вагоны. Дверь одного вагона была открыта, и я разглядел нары. В вагоне было много женщин и девушек, одетых в поношенные, кое-где порванные телогрейки и ватные брюки. На ногах – сильно побитая обувь. Пестрые косынки на головах делали женщин привлекательными.

Женщины и девушки находились в приподнятом настроении. Они о чем-то весело разговаривали, а некоторые, стоящие у вагона, непринужденно перебрасывались снежками. Мне уже давно не приходилось наблюдать такой оживленной и радостной картины. Я уже перестал верить, что где-то могут быть такие радостные и довольные люди.

– Фрицы, фрицы! – вдруг крикнул кто-то из девушек, и этот крик подхватили другие.

Видимо, они увидели кого-нибудь из немцев. И тут же быстро-быстро заговорили по-русски. Я ничего не разобрал, но прекрасно понял, что в их словах не было ни ругани, ни проклятий: лица женщин по-прежнему оставались такими же светлыми и оживленными. Какая-то девушка даже бросила снежок в люк нашего вагона, но сделала она это скорее в шутку, чем из ненависти. Я отошел от щелочки.

– Что там за представление? – спросил кто-то из пленных.

– Эшелон с женщинами, – ответил я. – Они выглядят не лучше нас и едут точно в таких же вагонах, как наши.

– Наверное, штрафники или осужденные на принудительные работы.

– Не похоже, – возразил я. – Послушайте, как они весело щебечут!

– Это переселенцы, – заговорил майор Бергдорф, наблюдавший за женщинами со своего места. – Едут куда-нибудь на весенние полевые работы. На подобные мероприятия людей вербовали еще при царе.

Об этом я когда-то слышал, но не верил, что такое возможно и сейчас. Во всяком случае, вряд ли бы они так веселились, если бы ехали на принудительные работы. Может быть, эти женщины и

не видели собственными глазами всех ужасов войны, но, конечно, и их она не обошла стороной. Как бы там ни было, а ехали они в таких же, как мы, вагонах, они расстались со своими родными, возможно, их ждала нелегкая работа. Но, вопреки всему, они были жизнерадостны. Что же давало им силы? На что они надеялись? Чем жили?

Ответить на эти вопросы я не мог. Мое положение удручало меня все больше и больше. Эти женщины и девушки были свободны. Они могли по собственному желанию выйти из вагона на остановке. Они знали, куда ехали. Они знали и то, что через некоторое время смогут вернуться обратно, если не захотят остаться. Короче говоря, они сами распоряжались своей судьбой. Для меня же этот вагон был своеобразной тюрьмой на колесах. Сначала меня бросили в пекло уничтожающей битвы, а теперь вот везли неизвестно куда. Неужели у меня в жизни еще может быть что-нибудь светлое?

… Сомнения и еще раз сомнения – вот все, что мне оставалось. Что же удерживало меня в жизни? Люди. Близкие мне люди, которые находились очень далеко от меня: моя жена и шестимесячный сынишка. Сынишку я даже не видел, просто знал, что он у меня есть. И снова сомнение: а увижу ли я когда-нибудь своего сына, увижу ли жену Эльзу, своих родителей, брата, друзей и близких?

В последний раз все наши родственники собрались вместе в сентябре 1938 года на моей свадьбе. Маленький квартет играл танец «Я с тобой чувствую себя на седьмом небе…». Это был наш с Эльзой танец. Гости встали в круг. Середина паркета принадлежала только нам двоим. Казалось, что нас ждет безоблачное будущее, хотя уже тогда решался вопрос о Судетской области…

Я пощупал нагрудный карман моего френча. Свадебная фотография была на месте. Я хранил ее как зеницу ока, как единственное вещественное доказательство того счастливого времени. Никто из едущих со мной в вагоне, взглянув на мою давно не бритую, неопрятную физиономию, не узнал бы меня в молодом счастливом человеке на карточке.

… Спустя год после нашей свадьбы началась война. Нас это испугало. Мы не могли себе представить, что можно как-то помешать войне или сделать так, чтобы войны вообще не было. Мы не верили, что Гитлер так легкомысленно начнет войну, так как считали, что любой государственный деятель должен иметь чувство ответственности.

Передо мной и моей женой встал вопрос: «Что делать? Где наше место?» Дух созидания был для нас высшим смыслом

жизни. И мы с женой с головой ушли в работу. Работа и личное взаимопонимание – больше мы ни о чем старались не думать. В порыве благих намерений, летом 1939 года, я стал руководителем детских санаториев в Шварцвальде.

В живописной местности, вдали от городского шума и суеты, более трехсот детей, больных астмой, шесть недель проводили в горах на высоте восьмисот метров над уровнем моря, испытывая на себе благотворное влияние минеральных вод и чистого горного воздуха.

Дети приезжали сюда лечиться из самых разных уголков земель Вюртемберга и Бадена. Когда англичане начали чаще бомбить Рурскую область и долину Рейна, много детей стало приезжать из северо-западной Германии. Здесь им не грозили бомбардировки, но только на полтора месяца. А потом ребятишки должны были снова возвращаться в крупные промышленные города, подвергающиеся постоянной опасности.

Вместе со мной в санатории работала и моя жена. Мы старались делать все возможное, чтобы как-то смягчить ужасы войны.

Административная работа меня не удовлетворяла. Но я любил находиться в кругу нескольких сотен детей, которые, несмотря на войну, оставались веселыми, шаловливыми мальчишками и девчонками. Интересно было работать и с обслуживающим персоналом санатория. Здесь трудилось сто двадцать человек – люди, разные по специальности, характеру, взглядам и поведению. Работая в санатории, я научился обходиться с людьми и понимать их. В то же время я научился лучше понимать и самого себя…

После долгой ночи в вагоне царило обычное оживление. Мельцер тоже уже проснулся.

– Как хорошо, что ночь прошла. Хоть светло стало, – сказал он, потягиваясь. – Но что там произошло на соседних путях? Я сквозь сон слышал какой-то шум…

– Это был эшелон с русскими женщинами. Сейчас он уже уехал, – коротко ответил я.

… Новая работа захватила меня. Вместе с главным врачом санатория я нес всю ответственность за детей. В первый раз в жизни я был начальником, и в моем распоряжении находились люди. Я прекрасно понимал, что занимать должность начальника – еще не значит быть хорошим начальником. Авторитет нужно было заслужить кропотливым трудом. Как руководитель, я должен был распределять обязанности между работниками и контролировать их работу. А для этого необходимо было знать силы и способности каждого и уметь направить их на пользу

общему делу. Кроме того, нужно было создать крепкий, дружный, товарищеский коллектив…

Этой цели я остался верен и в самые тяжелые часы жизни в котле. Сейчас же, спустя пять недель, мне казалось, что эта точка зрения очень и очень уязвима. Сколько жизней было бы спасено, если бы высокие немецкие начальники, попав в котел, не потеряли мужества и взяли бы на себя смелость принять условия капитуляции от 8 января 1943 года. И хотя советский плен был для нас, немцев, книгой за семью печатями, все равно он давал нам шансы на жизнь, в то время как приказ фюрера «Стоять до последнего!» означал не что иное, как смерть многих тысяч людей.

… Спустя полтора года основные проблемы, которые нужно было решить в санатории, были решены. Дни потекли более спокойно и однообразно. И когда меня, как резервиста, призвали на переподготовку, я не особенно расстраивался. Резервный госпиталь находился в маленьком курортном местечке. Но после переподготовки меня направили во Францию.

Как раз исполнилась вторая годовщина со дня нашей свадьбы. Нам было очень тяжело расставаться, но ничего не поделаешь – пришлось.

***

В вагоне зашумели.

– Какое свинство! Стоим уже двое суток и ночь! – возмущался кто-то. – Заморозить, что ли, нас хотят?

– Паровоз отцепили, – проговорил Мельцер. Он незаметно подошел ко мне и встал рядом.

– Этак они доведут нас до сумасшествия! – раздался чей-то истеричный голос. – Нам давно пора завтракать…

В этот момент дверь вагона отворили.

– Давай три человека! – сказал красноармеец.

– Когда отъезд? – спросил майор часового.

– Скоро поедем! – ответил тот и закрыл дверь.

– Вот и выяснили, вот и узнали, – не унимался майор. – Скоро поедем! Это можно понимать: через час, а может, и через месяц.

– Может, что-нибудь с паровозом случилось и его ремонтируют?

– Во всяком случае есть нам дают, не умираем с голоду. А сегодня даже потребовали не двоих, а три человека.

Подносчики пищи принесли свежего хлеба – буханку на пятерых, чай и, к нашему огромному удивлению, кусок смальца

на газете.

В вагоне поднялся такой гвалт, какой не всегда бывает и на восточном базаре. У кого-то нашелся крошечный ножик (неизвестно, каким образом удалось его оставить при себе). Начался дележ. Особенно трудно было разделить смалец. Наши «эксперты» делили его столовыми ложками. Каждому досталось по ложке, а потом – еще по пол-ложки.

Затем наступила тишина. Все занялись завтраком. А поезд все стоял.

Позавтракав, я прислонился к стене и закрыл глаза.

… Наша семья сильно пострадала от войны. Брат моей жены погиб 22 июня 1941 года под Брестом. Другой шурин в начале октября пошел в разведку под Нарвиком и не вернулся. Как я мог написать об этом их матери? Чем мог утешить молодую женщину, оставшуюся вдовой? Невольно возникал вопрос: «Во имя чего погибли эти два еще совсем молодых человека, погибли в расцвете лет, собственно, и не пожив на свете?»

Я написал откровенно все как есть. Но разве это могло утешить? Конечно, смерть солдата на войне в какой-то степени зависит от случая, но разве случайно была начата сама война?

В школе мне приходилось слышать высказывание немецкого военного теоретика Клаузевица, что война – это продолжение политики, только другими, насильственными средствами. Но ведь все воюющие государства – Германия и Италия, Франция и Англия, Советский Союз и США – проводили каждое свою политику. Так кто же из них проводил политику насильственными средствами?

Вообще-то я не увлекался политикой. Когда Гитлер пришел к власти, мне не исполнилось еще и девятнадцати лет. Правда, некоторые из моих товарищей уже в 1933 году стали членами нацистской партии. Я не видел тогда в этом ничего предосудительного, считая, что каждый вправе поступать так, как ему хочется. Гитлер обещал немцам новый расцвет Германии. Кто мог с ним не согласиться?

Тогда мне казалось, что Гитлер хочет прогресса. И я тоже мечтал о великой и сильной Германии, которая будет иметь влияние на весь мир и пользоваться всеобщим уважением. Гитлер обещал добиться этой цели мирным путем. Разве мог я быть против этого?

Однако в 1933 году я не вступил в нацистскую партию. В то время я увлекался литературой, искусством, архитектурой, плаванием, легкой атлетикой и лыжами. На первом плане у меня стояла учеба. Я хотел как можно быстрее получить диплом. Программа экзаменов в обязательном порядке включала «Майн

кампф», программу нацистской партии, «Народ без пространства» Гримма и другие подобные книги. Прочитанное я воспринял как учебный материал, но сторонником расовой теории не стал.

В нацистскую партию я вступил в 1937 году, но это не повлияло на мой образ мыслей. Непосредственным толчком для этого стала моя карьера: чтобы занимать руководящую должность, нужно было быть членом партии. Об этом нам говорили вполне откровенно. Оставалось только выбирать между нацистской партией, СА и СС. Я предпочел партию, потому что за два года служба в армии мне порядком надоела.

В первый день нашего пребывания в лагере для военнопленных в Красноармейске к нам в барак пришел советский офицер с переводчиком и спросил:

– Кто из вас состоит в нацистской партии? Говорите честно, вам за это ничего не будет.

Все молчали. Я оглянулся. У некоторых в глазах застыл страх, но все молчали.

Я не понимал, почему мне нужно лгать. Ведь, как член партии, я не совершил никаких преступлений.

– Я был членом партии, – проговорил я.

– Назовите вашу фамилию, имя, отчество, последнее воинское звание и часть, в которой вы служили. Когда вы вступили в партию?

Я подробно ответил на все вопросы. Офицер записывал на лист бумаги.

– Хорошо. Кто еще? – спросил переводчик. Сознался еще один офицер. Остальные молчали.

– Я не верю, что здесь только два нациста, – покачал головой офицер. – Это никс гут. – И вместе с переводчиком он вышел из барака.

Познакомившись с Мельцером, я спросил его однажды, спрашивали ли их об этом же.

– К нам приходил офицер в синей фуражке. Знаете, что это значит, нет? Такие фуражки носят в частях секретной службы, а я не сумасшедший говорить им правду. Из нашей группы ни один не сознался, что он нацист.

Я немного испугался. Секретная служба! Значит, меня занесли в специальный список, но ведь я не совершил никакого преступления!

Неужели русские будут судить нас только за одно то, что мы – члены нацистской партии? А что, если русские считают каждого члена нацистской партии виновным во всех разрушениях и страданиях, причиненных их народу?

Если это действительно так, тогда прощайте, мои родные,

прощай, родина. Не до свидания, а именно прощайте!

Вагон дернуло. Послышался стук буферов. Затем раздался свисток паровоза, и наш состав медленно тронулся.

– Наконец-то! – воскликнул кто-то.

– Обед они могли бы выдать нам и здесь, – проворчал другой.

Все оживились. Лежавшие на нарах слезли на пол, сидевшие на полу встали. Потом снова наступила тишина.

Я тоже встал и прильнул к дырочке в стене вагона. Я увидел бледный диск солнца на небе. Мелькали вершины елей, присыпанные снегом, и голые лиственные деревья. Затем лес кончился и потянулось большое поле с маленькими деревянными домиками по краю, а потом – снова смешанный лес в красивом снежном наряде.

Я всегда любил ели, особенно когда они присыпаны снегом. В последний раз я был в лесу вместе с Эльзой в канун 1942 года.

***

– Э, друг Рюле, – услышал я вдруг голос Мельцера. – Да вы, никак, опять размечтались и толкаете меня.

– Извините, я действительно задумался.

– Оно и заметно. Садитесь-ка лучше.

Я повернулся и, опираясь на руку Мельцера, снова медленно присел на корточки, а потом плюхнулся на пол.

– Ах, Мельцер, – проговорил я, – не в первый раз я думаю о своей жизни. И прихожу к выводу, что до сих пор жил иллюзиями. Теперь же хочу сам распоряжаться своей жизнью. Ведь до сих пор мною играли, как мячиком, а потом вообще выбросили вон.

– Да, дела ваши совсем плохи, – заметил старший лейтенант Мельцер. – Чего ради вы ломаете себе голову? Мы сражались во имя большой идеи – это и хорошо и правильно! Сражались героически! Правда, на этот раз русским повезло больше, чем нам. Во время войны такое бывает. Теперь нужно подождать…

– Большая идея? Героически? А разве все это не иллюзия? У меня такое чувство, будто в нашей великой Германии что-то идет не так. Что именно, я не знаю, но обязательно узнаю. Сейчас же могу только сожалеть, что до сих пор слишком мало занимался политикой.

– Почему слишком мало? – спросил Мельцер. – Ведь вы были членом партии? Разве вы не верили фюреру? Или скажете, не знали конечных целей национал-социализма?

– В основном я только верил, но не понимал всего до конца, – ответил я. – Политикой занимался от случая к случаю, многое

принимал на веру, не оценивая критически. Мне тогда казалось, что можно прожить и без политики, можно быть свободным от нее, можно заключить своеобразный компромисс с нею. И в этом, как я теперь вижу, была моя большая ошибка.

– Вы всегда все усложняете. Я национал-социалист. Для меня лично эта война – и приключение, и одновременно доказательство. Сталинградская битва и мне принесла массу разочарований, однако в главном я не сомневаюсь. Почему вы думаете, что наше руководство не может однажды ошибиться и допустить какой-нибудь ляпсус?

Я уже не раз слышал такое. Но действительно ли, что наша катастрофа на берегах Волги – следствие каких-то частных ошибок или же это – результат в целом фальшивой и опасной последствиями германской политики? Мельцер придерживался первого мнения, я склонялся ко второму. Правда, у меня еще не хватало аргументов, чтобы доказать свою правоту, но я уже хорошо понимал, в каком направлении мне следует искать эти доказательства.

Я многое передумал и пришел к выводу, что человек не может быть свободен от политики. И мои компромиссы с нею жестоко отомстили мне.

Я пытался заключить с политикой своеобразную сделку, чтобы с головой уйти только в работу и в заботы о семье, но политика ввергла меня в пучину войны. И над любовью, и над работой нависла смертельная опасность.

Поезд мчался по равнине. Мы были узниками этого поезда и не могли распоряжаться собой. Мы не могли выйти из этого вагона. Но даже если бы нам и удалось проломить стену вагона и бежать, то далеко ли уйдешь в зимнее время?

Поезд остановился. Все оживленно заговорили. Вскоре появился часовой.

И на этот раз выделили троих. Они принесли суп и копченую рыбу. Началась обычная процедура дележа. Когда отгремели ложки, в вагоне было уже темно. Обед в этот день выдали позже обычного.

А поезд все стоял…

Мельцер говорит, что мы героически сражались. Да, многие из наших сражались до конца. Даже мы, работавшие под флагом Красного Креста, изо всех сил старались выполнить свой долг. Но героизм?

Разве героические поступки совершаются не во имя гуманных целей? Да и что такое, собственно, гуманизм? Если бы окруженная 6-я армия выступила бы против бессмысленного приказа продолжать сопротивление, это был бы героизм. Разве

наше командование не должно было выбрать одно из двух: Гитлер или народ? Но командование армии не нашло в себе мужества взять на себя ответственность за жизнь сотен тысяч солдат. Слепое повиновение приказу и страх перед советским пленом помешали целой армии, от командующего до рядового, капитулировать вовремя…

Колеса вагона мерно постукивали. Это была восьмая ночь пути.

Красные сигналы

В вагоне стало светлее. Поезд двигался так медленно, будто вот-вот остановится. И он действительно остановился. Снаружи раздались слова команды. Дверь нашего вагона открыли.

Мельцер встал и выглянул в дверь.

– Стоим на какой-то маленькой станции.

– Кизнер, – прочитал я.

Из некоторых вагонов стали выпрыгивать люди. Наверное, здесь нас будут высаживать.

Так оно и было. Станция называлась Кизнер. Раньше я никогда не слышал о таком городе. Да и теперь знал только, что находится где-то восточнее Казани. Сюда мы прибыли утром на девятые сутки пути.

Подталкиваемый сзади другими пленными, я в числе первых спрыгнул на землю. Спрыгнул и чуть было не упал: от слабости закружилась голова.

– Ого! – воскликнул красноармеец и, схватив меня за шинель, поддержал. – Еще бегать будешь.

Остальные пленные чувствовали себя не лучше. Только сейчас, оказавшись на солнечном свету, мы по-настоящему рассмотрели друг друга. Бледные, заросшие, с ввалившимися щеками, в помятой грязной форме, многие из нас походили на стариков.

Выслушав приказ советского офицера, мы с грехом пополам построились в колонну по четыре. Я с Мельцером встал в один ряд. У Мельцера был ранец, в котором лежало шерстяное одеяло, белье, бритвенный прибор, тапочки и даже зубная щетка с ножницами. Старший лейтенант мог считаться среди пленных почти богачом. По сравнению с ним я был просто нищим, но зато мне ничего не нужно было нести.

Некоторые помимо вещевого мешка тащили даже чемоданы. Эти слыли между нами богачами. Стоило только удивляться, как тщательно они готовились к плену. Правда, теперь им нелегко было нести свое барахло. Некоторые уже настолько ослабли, что бросали кое-что по дороге. Постепенно от их багажа ничего не осталось.

Колонна военнопленных медленно двигалась по заснеженной улице. Для детишек наше шествие было настоящей сенсацией. Смеясь и что-то крича, они провожали нас до самого последнего дома. Попадались на пути и взрослые – в основном женщины и старики. Они смотрели на нас молча. На их лицах я не увидел выражения ни ненависти, ни триумфа. Наверное, у нас был

слишком жалкий вид.

Вскоре Кизнер остался позади. И опять, насколько хватал глаз, заснеженная равнина.

Мы шли, механически переставляя ноги. Время от времени кто-то стонал, кто-то валился в снег. Я чуть было не наступил на одного упавшего. Мне показалось, что он умер. Тех, кто уже не мог идти, сажали на сани, которые замыкали наше шествие.

– Постараюсь выдержать, – сказал мне Мельцер. – Я так ослаб, что охотно бы сел сейчас в снег и никуда бы не пошел. На меня нашла какая-то апатия.

– Мне тоже на все наплевать, но идти нужно, – успокаивал я его. – Идти, стиснув зубы. Просто от долгого сидения ноги еще не разошлись. Это пройдет.

В душе я уговаривал самого себя, подбадривал, чтобы совсем не расклеиться. Я волочил ноги, а ведь раньше мог проходить по сорок километров в сутки с полной выкладкой: ранец, противогаз, плащ-палатка, каска, карабин. Теперь мне это казалось сказкой. Раньше лейтенант обычно приказывал запевать песню и вся рота пела: «Сегодня нам принадлежит Германия, а завтра нам будет принадлежать весь мир!..»

Мы так и пели: «… Завтра нам будет принадлежать весь мир!» Это было семь лет назад. И я пел вместе со всеми. Сердце мое учащенно билось. Я как безумный орал песни и, ни о чем не думая, маршировал по улицам. Это воспоминание задело меня больше, чем любое другое. Катастрофа немецких войск под Сталинградом стала закономерным историческим приговором для нас. В эту катастрофу попал и я. И хотя мне лично было все равно, завоюет ли Германия весь мир, теперь я вместе со всеми немцами несу ответственность за то, что Германия захватывала чужие территории.

Эти вопросы мучили меня, и я не мог не думать о них, так как собирался докопаться до истины. Да, теперь я уже не проскочу красный сигнал, как раньше.

***

Углубившись в свои мысли, я не замечал дороги. На какое-то время волнение, охватившее меня, заставило забыть о физической боли. Но вскоре я снова почувствовал, как сильно болят ноги, как колет в груди.

Из головы колонны передали приказ остановиться. Остановились мы в лесу.

– Внимание! Слушать всем! – закричал переводчик, стоявший

рядом с советским офицером. – Объявляется часовой привал. Кому нужно по надобности, может отойти. Кто отойдет дальше пяти метров от дороги, будет считаться беглецом. По нему безо всякого предупреждения откроют огонь. Через десять минут раздадут суп и хлеб. Полевые кухни стоят ужо впереди. Все делать только по команде!

Переводчик заметно выделялся среди пленных. Его меховая шапка, шинель и сапоги выглядели так, будто их только что выдали со склада. Сытое, свежевыбритое лицо. Погонов на шинели не видно.

– Кто он такой? – поинтересовался я. – Он так и брызжет здоровьем.

– Аферист, – ответил мне стоявший рядом ветеринар. – Обычный парень. Он еще в Красногорске дурил нас на пайках. К сожалению, он хорошо говорит по-русски и потому находится на особом положении.

– А как он сюда попал? – не отставал я.

– Этого точно никто не знает. Говорят, был переводчиком в штабе части.

Вскоре колонна медленно стала продвигаться вперед. Справа и слева от дороги показались полевые кухни. Каждый из нас получил миску рыбного супа и пригоршню сухарей. И хотя раздача пищи шла нормально и общий порядок не нарушался, переводчик неистовствовал. Кого-то он только ругал, а кое-кому даже доставалось от него по пинку. Уж не думает ли он подобным образом заслужить у русских авторитет?

Как и все, я сел на обочину. Усталость была так сильна, что я не думал о простуде.

– Приготовиться! Двигаемся дальше! – раздался голос переводчика.

– Давай! Давай! – закричали охранники.

Боже мой, как трудно подняться с земли и сделать первые шаги!

– Я больше не могу, – взмолился Мельцер. – Я отстану.

– Соберись с силами! – подбадривал я его.

Из последних сил, медленно, шаг за шагом тащились бывшие офицеры 6-й армии сквозь снег и пургу. Изредка на пути попадалась небольшая деревенька, домишки которой почти полностью были засыпаны снегом.

Россия! Загадочная страна! И вермахт собирался победить ее в «молниеносной войне»! Мои опасения в первый день войны не были напрасными. В этой стране для нас все незнакомо – огромная территория, климат и люди. Масса, огромная масса людей. Как эти люди умеют воевать, я впервые узнал, находясь в

сталинградском котле. Кое-какое представление о том, как воюют русские, я получил еще в Мюнхене на курсах для войсковых казначеев. Об этом нам, новичкам, откровенно рассказывали интенданты, уже побывавшие на восточном фронте.

… С большим интересом ждал я доклада одного старшего лейтенанта из военного училища о положении на восточном фронте. Но оказалось, что докладчик ни дня на фронте не был. Он говорил о борьбе двух мировоззрений, о большевистской опасности, которую навсегда устранит вермахт. По его словам, немецкая армия победоносно закончит войну уже в 1942 году.

После обеда, отправившись на прогулку, я случайно познакомился в трамвае со старшим лейтенантом-пехотинцем. Левая рука у него была ампутирована. На груди у него я увидел Железный крест 1-й степени и значок участника атак. Мы прогуливались по парку и разговаривали исключительно о войне. Я рассказал старшему лейтенанту о только что прослушанном докладе на курсах и поделился своими впечатлениями.

– Я вижу, вы неплохо переварили этот доклад, – с издевкой заметил офицер.

– Нам сказали, что в 1942 году война закончится.

– Это официальная версия. В действительности же все выглядит совсем иначе. В прошлом году в начале декабря я был под Москвой и все испытал на собственной шкуре. В середине декабря у меня не стало руки. А за несколько дней до этого я был свидетелем панического бегства. Вчера я получил письмо от знакомого лейтенанта. После моего ранения он принял командование ротой. Так вот он пишет, что из сотни солдат третья часть погибла, а остальные или ранены, или больны. Фронт же сейчас проходит на двести километров западнее, чем это было к началу контрнаступления. Об остальном вам и самому нетрудно догадаться.

– Об этом наш докладчик ничего не сказал.

Разговор с одноруким старшим лейтенантом не выходил у меня из головы и когда я проводил свое последнее воскресенье в Мюнхене. Уже тогда я понял, что радио и пресса попросту умалчивают о тяжелом положении наших войск.

В Аугсбурге, встретившись со своим младшим братом, служившим в войсках связи, я не стал говорить ему о своих сомнениях.

Первый день нашего перехода подходил к концу. Вечерело. Часовые торопили: «Давай!.. Давай!.. Быстро!.. Быстро!..»

Колонна наша сильно растянулась, не менее чем на километр. Я шел примерно в середине колонны. Каждый тащился как мог.

Скоро в полумраке показались какие-то домики. Колонна остановилась.

Красноармейцы разделили нас на небольшие группы. Наша группа разместилась на ночевку в школе. Полевые кухни подвезли горячий чай, но многим было не до чая. Повалившись на пол, они сразу же уснули.

Я тоже смертельно устал, но заснул не сразу: мешали крики и стоны пятидесяти пленных. Шуму было больше, чем в вагоне.

Но сон постепенно одолел и меня. Сколько я проспал, не знаю, только проснулся оттого, что кто-то тормошил меня.

– Ну успокойтесь же, пожалуйста!

– Что тут случилось? – спросил я, вглядываясь в темноту.

– Вы кричали и бились во сне. Наверное, приснилось что-то страшное. Вот и разбудили меня своими криками.

Да, сон мне приснился действительно страшный: гетто в польском городе.

… По дороге, километрах эдак в пятнадцати от Буга, наша санрота проезжала мимо территории, огороженной колючей проволокой. Там содержались старики, женщины и дети в длинных оборванных одеждах. На худых детских лицах горели черные глазенки. У всех была нашита желтая шестиконечная звезда: евреи.

И тут произошло совершенно неожиданное. Бледные и исхудалые люди бросились нам навстречу. Они разрывали проволоку, перелезали через нее. Еще несколько мгновений – и передние были уже на дороге, по которой ехали наши машины.

– Дайте газ! – приказал я водителю.

Но было уже поздно. Машину мгновенно окружило плотное кольцо людей – мужчины, женщины, дети. Глаза их горели ненавистью. Чьи-то тощие, как у скелета, руки распахнули дверцу машины.

– Что вам нужно? – испуганно завопил я. – Я ничего не знаю.

– Знаешь! – крикнул мне один из евреев. – И будешь отвечать за это!

Худые костлявые пальцы схватили меня за плечо…

***

Я проснулся. Мельцер уложил меня на пол.

Знал ли я обо всех преступлениях, которые фашисты совершали над евреями?

О том, что я увидел в Польше, я действительно ничего не знал. Но было еще и кое-что другое – «кристальная ночь» в ноябре

1938 года.

… Ничего не подозревая, шел я в ту ночь к себе на работу. По дороге увидел разбитые витрины в лавках. Лавочки были разграблены. Недалеко от них возились офицеры СА. Услышав ругань и выкрики «проклятый жид», я понял, что все это значит. Я рассказал об этом своим друзьям, но они только боязливо пожали плечами.

Бесчеловечное обращение с польскими евреями испугало меня. Я понимал, что добиваться величия Германии нужно отнюдь не таким путем…

Так что на моем жизненном пути, в период с 1933 по 1943 год, меня не раз предупреждал «красный сигнал», не раз он как бы говорил мне: «Стой!» Однако он настораживал меня лишь на мгновение, а потом я продолжал идти тем же путем, который казался мне удобным. В этом была моя моральная ошибка. И теперь я должен был нести за это ответственность…

***

– Как вы думаете, куда нас ведут? – спросил меня Мельцер утром.

– В какой-нибудь лагерь, где мы будет работать, – ответил я. – Надо полагать, легко нам там не будет, но это гораздо лучше, чем восстанавливать Сталинград. Когда мы были в Красноармейске, разнесся слух, будто оставшиеся в живых солдаты и офицеры 6-й армии должны будут полностью восстановить в Сталинграде разрушенные нами заводы, жилые дома, театры, магазины – короче говоря, весь город!

– Это была бы пожизненная каторга, – заметил старший лейтенант Мельцер. – Что же мы будем делать восточнее Казани? Там ведь не было фронта?

– Наверное, русские хотят пустить здесь заводы, эвакуированные из западных районов. Так что работы нам хватит.

Наша пропаганда всегда кричала о том, что всех пленных ждет выстрел в спину. Еще находясь в котле, я не верил этому. А вот в то, что победители заставят нас как следует работать, я верил. Я даже сомневался, что мы когда-нибудь попадем на родину. Ведь война унесла у русских миллионы людей, а десятки больших городов лежали в развалинах, как и Сталинград. И если нас, военнопленных, заставят все восстанавливать, это будет нелегко и долго.

… По меньшей мере пятьдесят процентов всего продовольствия немецкие войска получали из России. Этого

требовал приказ по вермахту, а это означало, что у населения реквизировались скот, овощи, картофель, мука, масло и прочее. Фактически это означало грабеж русского населения. Но зато населению выдавались справки о конфискации! Эти справки ничего не стоили, но, как у нас говорили, порядок есть порядок. И вместо отобранного продовольствия давали бумажку. Но разве от этого грабеж переставал быть грабежом?

Где бы ни побывали немецкие части, население обдиралось как липка. Мне не раз приходилось быть невольным свидетелем подобных ограблений, и я от души жалел советских людей. Но что я мог поделать?..

Наша санрота также получала свою долю отобранного продовольствия. Кроме этого, на запад регулярно уходили эшелоны, груженные скотом, маслом, яйцами и зерном. Каждый солдат и офицер, отправляясь с восточного фронта в отпуск на родину, получал так называемый «пакет фюрера». Там тоже были различные продукты…

Однако гитлеровцы не только грабили.

… Произошло это за Боковской. Наша санрота расположилась на опушке леса. Я распределял места для машин. Вдруг послышались выстрелы. Ко мне подбежал наш начальник финансовой части.

– Где стреляли? Кто?

– Произошло нечто страшное, – ответил унтер-офицер. – Фельдфебель Моль застрелил Петра Хиви.

– Он что, мертвецки пьян? Невероятно! – воскликнул я. – Зачем он это сделал?

– Это он отомстил за свое ранение.

– Я доложу об этом шефу, – сказал я и направился в штаб.

Доктор Людерс был возмущен этим случаем не меньше меня. Он тотчас же вызвал к себе Моля и стал на него кричать:

– Вы знаете, что это не больше не меньше, как убийство? Я доложу о вас в штаб дивизии.

Однако раненого фельдфебеля Моля в тот же вечер вместе с другими ранеными отправили в тыл. Через несколько дней Людерс сказал мне, что он разговаривал с дивизионным врачом, но тот не советовал ему писать докладную, так как Моль всегда был исполнительным солдатом.

На этом дело и закончилось.

Вскоре мы вообще забыли об этом случае. В конце концов, ведь речь шла о жизни какого-то русского! Яд расовой теории проник и в наши души, заглушив понятия о гуманизме…

***

Сегодня мои ноги совсем не шагали. Я еле переставлял их. Иногда кто-нибудь в колонне падал и уже не мог встать. К упавшему тотчас подскакивал наш переводчик и начинал орать, а то и пинал ногами.

– Проклятая свинья, – выругался на переводчика ветеринар. – Я еще ни разу не видел, чтобы красноармеец ударил пленного, а этот мерзавец лупит почем зря…

И действительно, советские солдаты, сопровождавшие колонну пленных, вели себя очень корректно. Красноармейцы подгоняли нас лишь криками «Давай-давай», и не больше. А если какой-нибудь пленный падал, русский солдат подходил к немцу, помогал ему встать, а потом докладывал своему офицеру о случившемся. И обессиленный немец получал место на санях! Больных пленных русские оставляли в лазарете, так что на следующее утро сани снова ехали пустыми.

Потом был обед, отдых и снова – в путь. Прошла вторая половина дня. Ночь мы провели в пустом амбаре. На этот раз я заснул очень быстро и на следующее утро почувствовал себя гораздо лучше.

«Сегодня придем» – понял я слова красноармейца, который шел сбоку от нас. На нем были шапка, меховой полушубок и валенки. На груди – автомат.

Итак, сегодня мы придем к цели.

Что же уготовили нам победители за те разрушения, которые мы им причинили? А разрушения те не маленькие, как не мала и наша вина в этом.

После долгих размышлений о своей жизни я пришел к выводу, что я, со своим стремлением жить честно и прилично в созданном мною мирке, потерпел крах, так как фактически был игрушкой в чужих руках. В конце концов я понял, что жил без должного масштаба.

Как немец, я почувствовал теперь всю ответственность за тот гибельный путь, по которому шли мой народ и моя страна. Я был готов преодолеть любые трудности, чтобы восторжествовала справедливость.

***

Я плелся по. заснеженной дороге в колонне пленных. Силы оставляли меня. Переживу ли я плен? Найду ли ответ на те волнующие вопросы, которые роились в моей голове? Пока я еще не был в состоянии ответить на них…

Часть третья
Встреча с правдой

Люди на другой стороне

В балках и низинах протянулись голубые тени. Оранжевый солнечный диск готов был вот-вот скрыться за горизонтом. Однако прежде чем это сделать, он немало удивил пленных, медленно двигающихся по дороге в колонне. Дрожащие солнечные лучи, казалось, играли в каких-то золотых куполах-луковицах. Все это скорее походило на мираж. Когда же колонна подошла ближе, оказалось, что это высокая колокольня, окруженная четырьмя или даже пятью куполами.

– Вот она, Елабуга! – пояснил сопровождавший нас часовой-татарин и снял с головы меховую шапку.

По-видимому, он не меньше пленных обрадовался концу пути.

«Мы у цели!» – эти слова подобно электрической искре пронеслись в головах уставших людей, приободрив их.

– Елабуга, – сказал красноармеец, делая ударение на первом «а». Слово это прозвучало почти экзотично: ведь я никогда не слышал его раньше. Вглядываясь в силуэты города, я подумал, что раньше это, вероятно, был церковный центр. Город, расположенный неподалеку от впадения речки Тоймы в Каму, тысячу лет назад играл видную роль. Еще в X веке местные феодалы построили на этом месте крепость с четырьмя огромными башнями по углам. Одна из этих башен сохранилась до наших дней. Начиная с XVII столетия видные духовные лица православной церкви строили здесь город. В руках церкви были тысячи гектаров пашни, лугов и лесов. Опорным пунктом духовенства стал монастырь.

Но обо всем этом я узнал гораздо позже. Тогда же наша колонна остановилась перед каким-то невзрачным зданием. И хотя сгущались сумерки, я разглядел, что все окна этого здания заложены кирпичами почти до самого верха. Незаложенной оставалась только узенькая полоска.

Такие странные окна я уже где-то видел. Но где? Да у нас, в Людвигсбурге! Несколько лет назад, путешествуя по старым вюртембергским крепостям, я видел нечто подобное. В подземелье замка находилась камера, в которую герцог Карл-Евгений на долгие годы бросил поэта Шубарта. Одно из крыльев замка и в наше время служило тюрьмой. Именно там я и видел точно такие окошечки.

***

– Поздравляю, мои господа, – услышал я голос Мельцера. – Каторжная тюрьма готова.

– Каторжная тюрьма? Значит, самые черные прорицатели оказались правы?

Эти слова с быстротой молнии облетели всю колонну. Многих охватил страх. Некоторые стали проталкиваться к краю, надеясь, видимо, бежать под покровом наступающей ночи. И в тот же миг послышались крики:

– Стой! Назад!

Красноармейцы крепко прижали к себе приклады своих автоматов, угрожающе направив на нас стволы.

Откуда ни возьмись появился и переводчик.

– Не расходиться! Кто попытается отстать, будет расстрелян на месте!

Конвойные окружили пленных, согнав их в кучу перед зданием тюрьмы. В этот момент дверь тюрьмы распахнулась. Два красноармейца ввели группу человек в пятьдесят. Тяжелая дверь тотчас же захлопнулась.

Нам пришлось долго ждать. Стало совсем темно. Пленные падали от усталости. Большинство из нас село на покрытую грязным снегом землю.

Я тоже присел. Но тут дверь снова растворилась, и я увидел часовых с фонарями. Покрикивая на нас «Давай-давай!», они загнали во двор очередную группу пленных, В их число попали я и Мельцер.

Сопровождаемые советскими солдатами, мы медленно шли по темному коридору.

– Вы знаете, что все это значит? – спросил меня старший лейтенант Мельцер.

– Не имею ни малейшего представления! Скоро узнаем, – ответил я.

Через несколько секунд мы уже стояли в большом помещении, освещенном множеством электрических лампочек. Я увидел сдвинутые столы. За ними сидели два советских старшины. Позади них виднелись карты, компасы, перочинные ножи, а еще дальше стопки нижнего белья, носков, вязаные жилетки, свитера.

– Посмотрите, что здесь творится, – обратился я к Мельцеру.

– Генеральное обирание будущих узников, – саркастически ответил он.

Термин «обирание» родился у нас в пересыльном лагере в Красноармейске, где всех нас по очереди тщательно обыскивали и отбирали все лишнее или то, что запрещалось иметь пленному по русским инструкциям.

– Внимание! Слушать всем! – услышали мы вдруг женский голос. Женщина говорила почти без акцента. – По двое проходите в баню. Сначала пройдете мимо контролера. Он проверит ваши вещи. Потом всем раздеться. Строго запрещено брать с собой в мыльную какие бы то ни было вещи и предметы. Все ваше белье и личные вещи подлежат дезинфекции.

Меня эта проверка нисколько не беспокоила. Все мои вещички были на мне. Ничего другого не осталось. Все вещи нужно было повесить на крючок, после чего их на полчаса помещали в специальную камеру, где гибли все насекомые.

В интересах гигиены нас остригли наголо, а затем направили в мыльное отделение.

Там каждый получил по маленькому кусочку коричневого мыла и полотенце, а: потом деревянную шайку с горячей водой. И началось мытье. Я тер спину Мельцеру, он – мне. После бани все получили по паре нижнего белья из грубого белого полотна с завязками вместо пуговиц.

Вымытые, в чистом белье, мы чувствовали себя превосходно. На какое-то время все забыли о каторжной тюрьме.

«Как мне хорошо вечером…» – вдруг запел кто-то. Несколько голосов подхватили мелодию.

Между тем две женщины достали наши вещи из дезинфекционной камеры. Все вещи складывались на полу, и каждый разыскивал свои.

Нас торопил красноармеец. «Теперь уж наверняка загонят в камеры, – думали мы. – А поскольку нас тысячи, будет тесно. Наверное, даже теснее, чей в вагоне…»

Наша группа во главе с сержантом и в сопровождении двух солдат вышла из бани и направилась по холодному коридору.

– Стой! – воскликнул вдруг сержант, остановившись перед обитой железом дверью. Он со скрежетом отодвинул засов, и дверь открылась.

– Давай проходи! – скомандовал сержант. Мы перешагнули через порог и оказались под открытым небом, сверкающим мириадами звезд.

– Давай! – сказал еще раз сержант и быстро пошел вперед.

Он повел нас не в камеру, а куда-то прочь от этого неприветливого здания. Вскоре мы остановились перед длинным низким домом. А когда вошли в него, увидели, что там на полу лежит много пленных.

– Спать, – приказал нам сержант.

Помещение, в котором мы оказались, нисколько не походило на тюремную камеру.

– Что вы на это скажете? – обратился я к Мельцеру.

– Наверное, в тюрьму нас возили, чтобы мы помылись в бане и прошли дезинфекцию. Все же остальное не больше не меньше, как бред нашего разгоряченного мозга.

– Неужели это так? Но сколько нас продержат в этом сарае?

– Поживем – увидим.

На следующее утро стало ясно, что в сарае нас разместили всего лишь на ночь. Оказалось, что военнопленные в Елабуге будут жить в бывшем монастыре, что находился поблизости. И здесь на первом месте стояла гигиена. Нас снова разделили на группы и повели в баню. Она была недалеко. Все шли очень организованно, но, чтобы выкупать тысячу пленных, потребовался целый день. Я попал в последнюю сотню.

***

На другой день перед нами наконец открылись ворота лагеря для военнопленных. Нашу группу в несколько десятков человек сопровождали три солдата. На погонах одного из них была широкая желтая лычка – старший сержант. Вскоре мы подошли к низкому зданию. Сквозь матовые окна пробивался свет. Это была баня, но здесь нас ожидало нечто новое. В раздевалке нас осматривали женщина-врач и сестра. Мы по очереди называли фамилию и имя. Сестра записывала данные на лист бумаги. Моя фамилия стояла напротив порядкового номера 955. Затем следовало: «Рюле, Отто Вильгельмович».

Врачебный осмотр проводился очень тщательно: нужно было выявить тяжелобольных или больных заразными болезнями. Одного пленного из нашей группы отвели в сторону. Врач коротко сказала:

– В лазарет!

Больной ушел в сопровождении часового.

Сержант повел нас в двухэтажное длинное здание, в какой-нибудь сотне шагов от бани. Нас расположили на первом этаже. Длинная узкая комната скупо освещалась лампой. Три четверти комнаты занимали двухэтажные нары, на которых могли спать сорок человек. На нарах лежали соломенные матрацы, шерстяные одеяла и, чему я никак не мог поверить, белоснежные простыни.

Геральд Мельцер и я решили занять верхние места справа от окошка. Забираясь на нары, сапоги оставили внизу. Все остальные свои вещички взяли с собой наверх. Быстро постлали простыни на матрацы, собственные вещички положили под голову. Одеялом и шинелью накрылись. Желая поскорее улечься в постель, мы даже забыли о еде, да и вряд ли нас будут кормить в десять вечера.

Однако мы ошиблись и на этот раз.

Вскоре кто-то из русских громко закричал:

– Комната четырнадцать, приготовиться к получению хлеба и чая!

В четырнадцатой комнате обосновались мы. Но кто из нас должен идти за хлебом и чаем и с чем, собственно говоря? Не побегут же все сорок человек!

Нужно было выбрать старосту комнаты.

– Предлагаю в старосты капитана Вебера! – выкрикнул мой сосед слева. Это был незнакомый мне лейтенант. – Он командовал батальоном триста семьдесят первой пехотной дивизии, награжден Немецким крестом в золоте и Железным крестом 1-й степени. Капитан Вебер пользовался большим авторитетом у солдат и командования.

– Пусть капитан Вебер покажется всем нам! Сам-то он согласен быть старостой? – спросил кто-то.

Из правого угла комнаты показался широкоплечий офицер в кителе, украшенном орденами.

– Моя фамилия Вебер, – просто сказал он. – Если вы окажете мне такое доверие, я согласен быть старостой.

Вебер был избран безо всяких дебатов. И он сразу же назначил четверых дневальными по комнате. Захватив плащ-палатку, Вебер вышел с ними из комнаты. Вскоре дневальные вернулись. Каждый из нас получил по двести граммов черного хлеба и по кружке горячего чаю. Этого было, конечно, маловато, чтобы наполнить наши голодные желудки, но все же это была пища. К тому же выдача пищи в столь поздний час была для нас приятной неожиданностью.

Свою первую ночь в лагере я спал так крепко, как не спал очень давно.

***

Прошла первая неделя нашего пребывания в лагере. По-видимому, шел апрель 1943 года. По-видимому, так как ни у кого из нас не было календаря. А время после нашего разгрома под Сталинградом летело быстро.

Постепенно в нашей лагерной жизни установился определенный ритм. Первое время мы чувствовали себя очень слабыми, да и снег на дворе лежал глубокий, так что ни о каких прогулках не могло быть и речи. Наш лагерь состоял из двух длинных, метров по шестьдесят, зданий – блока «А» и блока «Б». Здесь мы жили, здесь же размещались кухня и столовая. Имелось

еще несколько небольших строений. В одном из них был лазарет. Его обнесли забором. В другом здании жили пленные старшие офицеры. В третьем доме располагалась советская комендатура. Амбулатория помещалась в отдельном низком домике. На территории лагеря были баня, уборные, склады, электродвижок и даже здание с вывеской «Клуб».

Лагерь был обнесен высокой каменной стеной. Ее выстроили еще в монастырские времена. Вдоль всей стены тянулась колючая проволока, а боковые башни служили постом для часовых. В шести метрах от стены проходил еще забор с колючей проволокой.

У ворот, обитых железом, стоял домик охраны. Все это напоминало нам, что мы находимся в плену.

Осмотревшись в нашем новом жилище, я невольно обратил внимание на то, что в двадцатиметровой комнате почему-то десять дверей. Большинство из них заколочено гвоздями. Позже я узнал, что когда-то каждая дверь вела в узкую монашескую келью. Когда же монастырь прекратил свое существование, перегородки между кельями сломали и получилась одна большая комната. Теперь в ней размещалось сорок военнопленных.

***

Распорядок дня в лагере устанавливался лагерным начальством.

В семь утра нас будил голос советского сержанта:

– Вставать! Подъем!

Впоследствии эту обязанность стали выполнять немецкие дневальные. Каждую неделю нас водили в баню, и мы получали чистое белье.

Дважды в день проводилась проверка. Все пленные выстраивались по четыре, на правом фланге стояли старшие офицеры. Немецкий староста лагеря – полковник – докладывал советскому лейтенанту или старшине, дежурившему по лагерю, о количестве военнопленных.

По приказу лагерного начальства мы расчищали снег, готовили дрова, убирали помещения и двор.

В самом начале каждому пленному выдали анкету со множеством вопросов. Иногда чья-нибудь анкета интересовала представителя НКВД, и тогда пленного приглашали на особые беседы. Меня лично ни на одну такую беседу не вызывали. Как я успел заметить, НКВД интересовалось прежде всего офицерами разведки, высших штабов или же частей, которые совершили

какие-нибудь преступления.

Желание хоть раз наесться досыта не покидало нас и в Елабуге. Трижды в день нам выдавали по двести граммов черного хлеба, небольшую порцию масла, немного сушеной или соленой рыбы и несколько кусочков сахару. Утром и вечером мы получали сладкий чай или же солодовый кофе, а в обед – целую тарелку супу и каши. Каждая комната выделяла для работы на кухне своих дежурных. Делить пищу было делом нелегким, так как нужно было никого не обидеть.

Справедливости ради следует отметить, что паек, получаемый военнопленными, был в два раза больше пайка русского гражданского жителя. Я имел возможность убедиться в этом лично, когда осенью работал грузчиком на Каме. Советские люди, выполнявшие точно такую же работу, как и мы, получали на день только четыреста граммов хлеба да несколько вареных картофелин или соленых огурцов. Иногда, если кому-нибудь удавалось поймать в Каме рыбину, мы варили рыбный суп, однако это случалось редко. Несмотря на усиленный паек, пленные поправлялись медленно: сказывалось сильное истощение в котле окружения.

Постепенно пленные сдружились между собой, как я с Мельцером. Если одному из нас нездоровилось, за него дежурил по комнате или выполнял какую-нибудь работу другой. Как-то я добровольно одолжил Мельцеру свои валенки и теплую куртку, а он, в свою очередь, разрешил мне пользоваться бритвой. Само собой разумеется, очень скоро мы с ним перешли на «ты».

***

– Скажи, ты любишь наши горы? – спросил меня как-то Мельцер. Когда речь заходила о родных местах, мы могли говорить часами.

– Еще как! – ответил я. – Больше всего мне нравится осень в горах. Листва становится золотой и багряной. В такую пору я не раз брал рюкзак и отправлялся в горы…

– Превосходные места есть в долине Неккара! А сколько с ними связано легенд!

– А какие там люди! – подхватил я.

– Да, Шиллер, Гердерлинг, Гегель, Шеллинг, Кеплер… все они из тех краев, – с гордостью произнес Мельцер, словно имел прямое отношение к этим людям. И тут же на память прочитал большой отрывок из стихотворения Августа Леммле.

Мельцер хорошо знал стихи не только своего земляка. У него

была хорошая память. И довольно часто мы с ним по очереди читали отрывки из баллад Шиллера или стихи Гете.

Нужно сказать, что поэзию любили многие пленные. Те, у кого были бумага и карандаш, записывали стихи. Я выменял бумагу и карандаш на табак, который выдавался каждому пленному. Я не курил по состоянию здоровья. Заядлые же курильщики, напротив, меняли на табак зубные щетки, бритвы, кисточки или что-нибудь, что считали менее важным, чем табак.

***

В лагере Елабуга вспыхнула эпидемия сыпного тифа.

Трагедия, начавшаяся на Волге, продолжалась. И если в Красноармейске или в поезде имели место только отдельные случаи заболевания, то теперь число больных тифом росло день ото дня. Болезнь, вспыхнувшая в развалинах Сталинграда, быстро распространялась. Беда усугублялась еще и тем, что многие пленные вопреки строгому приказу все же не сдавали кое-что из своих вещей в дезинфекцию и тем самым способствовали распространению эпидемии.

За короткое время в лазарете не осталось ни одной свободной койки. Все они были заняты тифозными. Вскоре пришлось освободить под изолятор и нижний этаж блока «А». Санитаров не хватало. Я и еще два человека из нашей комнаты добровольно вызвались исполнять обязанности санитаров. Восемь суток подряд я подавал больным чай, убирал за ними. И каждый день вместе с другим санитаром выносил трупы в морг, откуда их увозили для погребения куда-то за пределы лагеря.

Работа санитара требовала большого напряжения духовных и физических сил. И я очень обрадовался, встретив старшего лейтенанта медицинской службы, вместе с которым ехал в эшелоне. Он и еще несколько его коллег также добровольно вызвались помогать заболевшим. Однако медперсонала все равно не хватало. Пришлось прибегнуть к помощи тех, кто имел хоть какое-нибудь отношение к медицине. Однако были и такие, кто старался увильнуть от неприятной работы. Узнав об этом, доктор Волкова, заведовавшая отделением, недоуменно покачала головой.

– Я не понимаю таких немцев, – сказала она печально. – Ведь это же ваши товарищи. Нужно помогать друг другу.

Попытка избежать эпидемии результатов не дала. Удалось лишь несколько замедлить ее ход. Через три недели после прибытия раненых в Елабугу наш лагерь был единственным

рассадником тифа. Из тысячи пленных вряд ли набралось бы человек пятьдесят, которых пощадила болезнь.

Мельцер попал в лазарет с первой партией тифозников. Я тоже ослабел. Работая санитаром, я вскоре почувствовал, что мне с трудом приходится заставлять себя что-либо сделать. В довершение ко всему начались сильные головные боли. Голова, казалось, вот-вот расколется. Руки были какими-то ватными, ноги еле двигались. Я догадывался, что со мной, но доктору Волковой о своем самочувствии ничего не говорил. Однажды она послала меня в соседний блок за медикаментами.

До кабинета начальника санчасти я кое-как дошел. А потом ноги мои подкосились и я упал. Когда же я снова пришел в себя, то увидел лицо склонившейся надо мной женщины – главного врача. Она ставила мне термометр.

– Лежите спокойно, – услышал я ее грудной голос. – Сейчас станет ясно, что с вами.

Термометр показал тридцать девять и пять. Внимательно осмотрев меня, врач обнаружила у меня на шее и груди крошечные пятнышки коричневого цвета.

– Вы подхватили тиф. Дня два-три назад. Почему вы не доложили об этом доктору Волковой? Вас нужно немедленно отправить в блок «А».

Два товарища помогли мне встать на ноги и повели через весь двор. Один из них зашел в комнату, где я жил, и, взяв мою шинель, сообщил дневальному, что меня кладут в лазарет.

– Ай-ай, – проговорила доктор Волкова. – Очень нехорошо, что вы ничего мне не сказали. Ну что ж, пойдемте на первый этаж.

В палате лежали человек тридцать. Сосед слева не шевелился. Вскоре его вынесли в морг. Больные находились в таком состоянии, что не могли бы даже назвать своего имени. Все мы были не больше не меньше, как жалкие остатки разгромленной германской армии, случайно оставшиеся в живых, – остатки более чем двух тысяч рот, батарей и штабов. Однако очень редки были случаи, чтобы фронтовые друзья или однополчане встречались в Елабуге.

Больные сильно страдали. В первый же день моего пребывания в лазарете меня не оставляла мысль, что страшная битва на уничтожение все еще продолжается: со всех сторон неслись команды, крики о помощи, вопли обезумевших от боли людей. Единственный санитар был бессилен что-либо сделать. Он и сам едва держался на ногах. Иногда какой-то солдат помогал ему вынести труп.

В первый же вечер меня одолела сонливость. Я впал в

полузабытье и почти ничего не помнил. Не знаю точно, сколько дней я так проспал, может, три, а может, пять.

Я старался прогнать видения прошлого. Неужели я брежу? Перед моими нарами стояла молоденькая, лет двадцати, симпатичная девушка в белом халате и белой косынке. Будто совершенно из другого мира! У меня, наверное, жар? Нет, это было наяву. Милое создание с улыбкой протягивало мне термометр.

– Мерить температуру!

Через несколько минут девушка снова пришла и забрала у меня термометр.

– Хорошо, – сказала она. – У вас тридцать восемь и три. Температура спадает. Скоро вы будете здоровы!

Самое большее, на что я был способен, это немного, приподнять голову. Чувствовал я себя скверно, руки и ноги почти не повиновались. Высокая температура окончательно измотала меня. Малейшее движение давалось с трудом.

В таком состоянии слова ободрения, услышанные от советской девушки, растрогали меня. Ведь последние месяцы я окончательно отвык от какого-нибудь проявления человеческого сочувствия.

Оказалось, что эта девушка – далеко не единственная сестра милосердия в нашем лагере. В последующие дни я увидел по крайней мере еще десять таких девушек. Все они были молоденькими и решительными.

Ходили слухи, что эти девушки приехали из Москвы после окончания медицинского вуза, чтобы пополнить медперсонал лагеря. Вызвались ухаживать за нами и некоторые жительницы Елабуги. В основном это были уже пожилые женщины с посеребренными волосами. Они не могли без слез смотреть на умирающих, будто умирали их собственные дети.

Преодолев расстояние в полторы тысячи километров, в лагерь прибыл большой специалист по тифу – профессор-эпидемиолог. Он лично осмотрел каждого больного. Профессор чем-то походил на Льва Толстого, хотя и носил очки без оправы. Он внимательно осматривал и простукивал каждого больного, внимательно выслушивал сердце. Сестра записывала все замечания профессора в историю болезни.

– Скоро вам станет лучше. Не падайте духом, – сказал мне профессор.

Сестра повела меня в самый конец коридора, где стояли деревянные чаны.

– Помойтесь. Вот вам чистое белье. Вас переводят в другую палату, – объяснила мне девушка.

Я помылся, как смог, и надел чистое белье. Меня провели в палату с белоснежной койкой.

В течение десяти дней я наслаждался всеми благами палаты для выздоравливающих. Здесь лежали человек двадцать. Каждый день мы получали по семьсот пятьдесят граммов белого хлеба и усиленный паек. Все больные обеспечивались необходимыми медикаментами.

***

С каждым днем я чувствовал себя лучше – и физически и морально. Я видел, с каким упорством и самоотверженностью боролись советские люди за наши жизни, и невольно вспоминал профессора Кутчеру из елшанского полевого госпиталя. Как жаль, что раньше мы ничего подобного не знали о своих противниках. Ведь все это происходило в условиях военного времени!

По основным вопросам проявления гуманизма я был согласен с профессором Кутчерой. Бессмысленная гибель 6-й армии была актом антигуманным. Антигуманны преступления фашистов против евреев, антигуманна «кристальная ночь» в ноябре 1938 года. А польские гетто прямо-таки ужаснули меня. Бесчеловечным было и обращение фашистов с русским мирным населением.

Все это – преступления против человечества.

А как назвать самоотверженный труд доктора Волковой, еврейки по национальности, которая спасает жизнь многим сотням пленных? Разве это не высшее проявление гуманизма? Ведь многие из пленных причастны к бесчеловечным преступлениям против славянского населения!

Я, как сейчас, вижу симпатичное лицо этой женщины. Однажды она так сказала мне:

– Я любила Германию и очень высоко ценила и ценю Гете, Лессинга и Гейне. Мы, советские люди, уважаем немецкий народ, который дал миру Маркса и Энгельса. И как только немцы решились напасть на нашу страну? Как они могли убивать и разрушать?

Я ничего не мог ей ответить. Доктор снова занялась больными. Она переходила от одного к другому, осматривая их, давая сульфидин, тихо ободряя каждого.

Доктор Волкова была не единственной женщиной, которая произвела на меня такое сильное впечатление.

Очень часто я ходил за лекарствами к главврачу лазарета – тоже женщине. Каждое утро у нее был прием, после обеда она

обходила жилые помещения лагеря, беседовала с пленными, интересуясь состоянием их здоровья. Если кто казался ей подозрительным, главврач внимательно осматривала его и, если нужно, тут же направляла в лазарет. Меня она не раз упрекала за то, что не сказал вовремя о своем плохом самочувствии. Эта женщина тоже с головой ушла в свою работу, хотя и сама была нездорова: левый рукав ее белого халата болтался пустой. У нее не было руки. Я слышал, что доктор пережила блокаду в Ленинграде. Там ей и оторвало руку осколком немецкого снаряда. А сейчас она не жалела своих сил для того, чтобы спасти пленных немцев от эпидемии тифа.

В Елабуге, в лагере для военнопленных, работала еще одна женщина-врач, по фамилии Малевицкая. Эта молодая, высокая, стройная женщина с темно-вишневыми глазами и черными волосами так же, как и ее коллеги, работала самоотверженно. Она сама заразилась тифом и долгое время находилась в опасности. После выздоровления начальство предложило ей пойти работать в гражданскую больницу, но она решила остаться в лагерном лазарете за толстыми стенами и колючей проволокой. После болезни ее черные волосы вылезли, и она никогда не снимала с головы желтого платка. Пленные называли ее Желтой бабочкой.

Самоотверженность и трудолюбие врачей, эпидемиолога, медицинских сестер и всего персонала вызывали к ним глубокое уважение. Ведь они сами, их страна, их народ столько перенесли из-за немцев! Никто из нас не мог и мечтать о таком отношении к нам. Об этом нам долгие годы твердила наша пропаганда. Эти же советские врачи и медицинские сестры своим трудом, своей добротой разоблачили всю ложь пропагандистских измышлений. Эти люди были высокогуманны. Им были присущи лучшие черты положительных героев Толстого или Достоевского.

А я-то под влиянием нацистской пропаганды думал совсем по-другому о советских людях. На деле оказалось, что большевики – самые гуманные люди. И это неожиданное открытие очень обрадовало меня: была пробита брешь в моих антисоветских настроениях.

***

В один из дней, когда я находился в палате для выздоравливающих, меня навестил Мельцер. Он неделю как выписался из лазарета. Мы очень обрадовались встрече.

– А помнишь, что ты говорил о русских врачах и медсестрах? – спросил я его.

– Они много труда положили на нас. Вот это и есть загадка русской души. С одной стороны, страшная жестокость – со времен Ивана Грозного до большевизма. А с другой – сердечная доброта простых людей и готовность помочь.

– Пока я лежал в лазарете, многое передумал. Эта характеристика русской души – сплошная ложь, – перебил я своего друга. – Скажи, почему профессор или студентки приехали из Москвы? Только ли потому, что у всех у них доброе сердце? Разве не послали их сюда соответствующие организации? Я не согласен, что самоотверженная работа медицинского персонала здесь – всего лишь проявление их прекрасной души.

– Так что же, по-твоему, это на самом деле? – спросил Мельцер не без ехидства.

– Этого я тебе точно не скажу, но еще в эшелоне я понял, что у меня совершенно неправильные представления об этой стране.

– Ты опять начинаешь философствовать? Нельзя же все ставить под сомнение. Для немецкого солдата такие понятия, как честь, верность, повиновение, отечество и победа, – священны. А так можно стать и антифашистом.

Я почувствовал, что мой товарищ начинает злиться, а мне не хотелось омрачать нашу встречу. Но и согласиться с его точкой зрения я никак не мог. Еще в эшелоне меня охватили сомнения. Действительно ли Германия призвана выполнить какую-то особую миссию? А лозунг об угрозе большевистской опасности? К сожалению, до сих пор у меня не было собеседника, кто помог бы мне разобраться в моих беспорядочных мыслях.

– Ты вот сейчас что-то сказал об антифашистах, – начал я после небольшой паузы. – А чего они хотят?

– Они образовали в лагере антифашистскую группу. Позавчера советский комендант говорил об этом. Их всего человек десять – двенадцать. Выступают против Гитлера! Больше я о них ничего не знаю.

Мельцер помолчал, а потом добавил:

– Ну, мне пора идти! Как раз полдень. Я тебе держу место в нашей комнате. Выходи поскорее.

Этот разговор растревожил старые сомнения, которые во время болезни как бы отошли на второй план. Непродолжительное еще пребывание в Елабуге уже дало мне ответы на некоторые мучившие меня вопросы.

Начало выздоровления

В предгорьях Урала зима держится долго. Но зато весна наступает сразу. Такую весну я пережил в Елабуге.

Тиф свалил меня в середине апреля. На дворе еще стояла зима. Когда же я в первые дни мая, шатаясь на неокрепших ногах, вышел из барака, от снега и следа не осталось. По двору бежали многочисленные ручьи. Ноги вязли в талой земле по самую щиколотку.

Комната № 16 блока «Б» находилась как раз напротив дома, в котором мы жили раньше. Такая же длинная и узкая. Некоторых из ее обитателей я знал по старой комнате. Были здесь и новички.

Мельцер занял мне место рядом с собой, на нижних нарах. К моему приходу он приготовил сюрприз: вырезал ножом шахматы. Они получились у него довольно удачно. Половину фигур Мельцер выкрасил фиолетовыми чернилами. Таким же цветом он закрасил и тридцать две клеточки на шахматной доске.

С тех пор мы частенько играли в шахматы. Говорили о родине, вспоминали прочитанные книги, читали стихи. Шахматы скрашивали наши скудные будни. Мы, как и прежде, помогали друг другу жить. Избегали только одного – говорить о политике, словно боялись, что такие разговоры вобьют клин в нашу дружбу.

Однако в нашей комнате хватало таких, кто любил поговорить о политике. Я обратил внимание на двух старших лейтенантов, которые все время проводили за чтением толстых книг. Один из них, высокий и худой, носил очки. Другой тоже был худощав, только меньше ростом. Говорил он на рейнском диалекте. Прислушиваясь к их разговорам, я заметил, что в их речи часто употребляются слова «государство» и «революция», «пролетариат» и «буржуазия». На книгах, которые они читали, стояли имена Маркса и Энгельса.

Мои соседи справа тоже были довольно разговорчивыми людьми. Эти говорили чаще всего о Рейнской области, о долине Мозеля, о церкви, о разгроме 6-й армии и его последствиях. Вскоре я узнал, что мои соседи – дивизионные католические священники Кайзер и Моор.

Оба священника придерживались одного мнения о поражении наших войск на Волге. Фанатичные в своей вере, они с этой точки рассматривали и отношение Гитлера к 6-й армии, давали уничтожающую критику военному руководству третьей империи. Мне, невольному свидетелю их разговоров, был, однако, чужд догматизм в оценке событий.

Кроме старших лейтенантов и священников в нашей комнате

жили и такие, кто нередко твердил о «стойкости», «послушании», «солдатском долге» и тому подобном. В общем, каждый по-своему оценивал недавние события.

Мои разговоры с Мельцером о родине, о поэзии, а также наши шахматные турниры служили своего рода громоотводом. Нужно было пережить как-то это время и найти правильные ответы на все вопросы.

К моему удивлению, в нашей комнате были и такие, кого ничто не интересовало. Они впали в какую-то апатию. Им было лень принести даже продукты для товарищей. Когда дежурный по лагерю вызывал добровольцев подмести двор или сделать еще что-нибудь, они старались увильнуть и от этой работы. Апатия буквально съедала их.

Само собой разумеется, эпидемия тифа, свалившаяся на измученных и обессиленных людей, была настоящим бедствием. Каждый третий умирал от тифа. Те же, кому посчастливилось выжить, так ослабели, что подняться по лестнице на второй этаж было для них все равно, что взойти на пик Эверест. Каждое движение давалось им с огромным трудом. Некоторые боялись даже пошевелиться.

Тяжелая болезнь подорвала и мое здоровье. Спуститься в убежище было для меня сущим адом, и делал я это почти на четвереньках. Хорошо еще, что у меня было место на нижних нарах! Однако я не отказывался выходить на работу во двор. Это заставляло меня хоть как-то двигаться, к тому же на свежем воздухе. День ото дня мое состояние понемногу улучшалось. А через три дня я уже рискнул пойти за пайком для всех обитателей нашей комнаты. И нужно сказать, сделал это вполне добросовестно.

С того дня я три раза в день разносил в нашей комнате хлеб, масло, сахар, порции мяса. Особенно радовало то, что на складе удалось заменить мою обувь на более легкую и удобную. В новой обуви было очень удобно. А как-то будет в дождь или в снег?

В мае все пленные лагеря проходили медицинский осмотр. Комиссия состояла из советских врачей. В зависимости от состояния здоровья пленных делили на группы. Слабые временно освобождались от физической работы, и вместо шестисот граммов черного хлеба им назначали семьсот пятьдесят граммов белого хлеба и усиленную порцию масла и сахара.

Я тоже попал в группу ослабленных. Утром и вечером мне выдавали в амбулатории лекарство.

Такие комиссии проводились каждый месяц. Постепенно росло число пленных в третьей и второй рабочих группах. В первой группе пока вообще никого не было.

Прошло целых восемь недель, прежде чем я попал в третью группу. Правда, территорию лагеря я убирал и тогда, когда находился в группе ослабленных.

Работа пошла мне на пользу. Еще больше помогла мне гимнастика, которой я стал заниматься сразу же после выхода из лазарета.

Каждое утро после подъема я шел в угол монастырской стены, туда, где стояла вышка часового. Увидев пленного, который шел напрямик к нему, часовой машинально хватался за винтовку. Близко к стене я не подходил: там была тень, а мне хотелось погреться в лучах только что поднявшегося солнца. Мои гимнастические упражнения сначала длились минут по пять, а потом и дольше.

Поняв, в чем дело, часовой на вышке опускал винтовку. Русские часовые с большим интересом наблюдали за моими успехами в гимнастике, и, поскольку устав запрещал им на посту разговаривать с пленными, они приветствовали меня кивком головы или дружеской улыбкой.

Усиленный паек для ослабевших пленных сделал свое дело: мы стали быстро поправляться. Это была большая жертва советского народа. Ведь гитлеровцы разграбили не один элеватор и не одно хранилище зерна! А теперь советские люди делились куском хлеба с немецкими военнопленными.

Однако многие пленные этого не понимали. Одни недовольно ворчали, что кормят их таким супом и кашей, какую в Германии не будет есть и скот. Другие ссылались на свои офицерские звания и на Женевскую конвенцию, в которой якобы говорится, будто пленные офицеры должны получать точно такой же паек, как и офицеры армии противника.

– Ваша точка зрения кажется мне односторонней, – сказал я как-то одному из таких недовольных. – Не забывайте, что основная житница России – Украина занята частями вермахта. Вот нам, немецким пленным, и приходится сейчас на собственной шкуре чувствовать оборотную сторону завоевательской политики германского империализма. Тут уж не поможет никакая Женевская конвенция.

– А вы, кажется, готовы стать рабом у русских, – бросил мне в лицо казначей.

– Вовсе нет, господин Вагнер! Я только хочу заметить, что ваше возмущение и ваша ненависть к русским – плохие советчики в данной ситуации.

Разговоры о еде были одной из главных тем. Некоторые пленные в лагере открыто ненавидели Советский Союз. Они признавали помощь, которую им оказывали советские врачи, но

не делали из этого никаких выводов.

В конце мая 1943 года мне в руки впервые попал экземпляр газеты «Дас фрайе ворт», выпускаемой в Советском Союзе на немецком языке для немецких военнопленных. Немецкие антифашисты высказывали в ней свое мнение по актуальным политическим и военным вопросам. В газете помещались статьи о жизни пленных в лагерях. Прочитав эту газету, я узнал много нового об антифашистски настроенных военнопленных, о существовании которых я впервые услышал от Мельцера.

Когда я работал на лагерном дворе, ко мне не раз подходили незнакомые люди и говорили отнюдь не лестные слова:

– Ты ведешь себя как предатель.

– Русский раб.

– Ну подожди, в Германии тебе не будет никакой пощады! Твой адрес мы записали.

Подобные замечания иногда делал мне и Мельцер. Стараясь избежать ссоры с другом, я делал вид, будто ничего не случилось.

Однако как бы там ни было, но существование антифашистской группы стало фактом и в нашем лагере. Члены этой группы стремились в первую очередь переводить на немецкий язык и зачитывать пленным статьи из «Правды» и «Известий» о положении на фронте. В лагере некоторые «знатоки» ставили под сомнение успехи Красной Армии. Но стоило им услышать перечень освобожденных Красной Армией городов, как они тотчас же замолкали. Весна 1943 года наглядно показала таким «стратегам», сидящим за колючей проволокой, что победа советского народа на Волге – лишь предпосылка всеобщего наступления Красной Армии по всему фронту – от Ленинграда до предгорий Кавказа.

Советский офицер Парфинов прочитал пленным лекцию о состоянии Красной Армии и перспективах ее развития. Эти лекции невольно заставляли задуматься. В своей первой лекции Парфинов коротко рассказал о положении царской России, о том, какой гнет терпел русский народ от своих собственных и иностранных поработителей, красочно обрисовал положение безземельных и малоземельных крестьян. При царе Россия была, по сути дела, безграмотной и нищей страной. Я с большим вниманием слушал лекции старшего лейтенанта.

В ноябре 1917 года залп «Авроры» возвестил начало новой эры, эры социализма. Рабочие вместе с беднейшим крестьянством захватили власть в свои руки, однако враги не хотели сдаваться без боя. С 1917 по 1921 год в Советской России бушевало пламя гражданской войны. Народное хозяйство было почти полностью разрушено. До 1928 года Советская республика залечивала раны,

нанесенные войной. Затем началась индустриализация. На селе стали создаваться первые колхозы. Против них ополчились кулаки. Они уничтожили половину скота. С 1932 по 1938 год Советское государство занималось хозяйственным строительством.

Вскоре Гитлер начал проводить захватническую политику, что заставило Советский Союз усилить свою оборону. Затем последовало нападение Германии на Советский Союз. Война принесла советскому народу неисчислимые разрушения.

– Из двадцати пяти лет своего существования, – объяснял старший лейтенант Парфинов, – Советская власть лишь шесть лет могла посвятить исключительно мирному строительству и подъему жизненного уровня трудящихся. И в то же время строительство в нашей стране шло такими темпами, каких не знало ни одно капиталистическое государство. В 1921 году, после окончания гражданской войны, общий объем промышленной продукции СССР составлял всего лишь два и четыре десятых процента от уровня промышленности США, а в 1940 году, то есть непосредственно перед войной, вырос до тридцати процентов. Даже в годы войны уровень промышленности продолжал расти…

Помню, в один прекрасный день пленные офицеры, усевшись в кружок вокруг докладчика, внимательно слушали советского старшего лейтенанта: кто с неподдельным интересом, кто с недоверием, а кто и с презрением. Когда докладчик стал говорить, что Советский Союз ведет справедливую войну, защищая свободу своей Родины и завоевания Великой Октябрьской социалистической революции, несколько офицеров даже свистнули. Но докладчик продолжал. «Советские люди, – говорил он, – будут вести эту войну до тех пор, пока на их территории не останется ни одного захватчика…»

Парфинов рассказывал так много нового для меня, что я не мог сразу переварить все услышанное. Я молча шел к себе в комнату. Шагая рядом, Мельцер тоже не проронил ни слова. Я заметил, что он тоже очень внимательно слушал доклад старшего лейтенанта. На следующий день после обеда мы с Мельцером прогуливались по лагерю.

– Тебя не удивляет, с какой гордостью и убеждением говорит этот Парфинов о своей стране? – спросил я Мельцера.

– Он может говорить что угодно, – уклончиво ответил Мельцер. – Когда мы наступали, я собственными глазами видел русские деревни. В них мало привлекательного.

– Разве тебе не приходилось видеть в этих деревнях школы с хорошо оборудованным физическим кабинетом и прекрасными классами? Или хорошо оборудованные больницы в каком-нибудь

захолустье? Или многоэтажные дома в Харькове, огромные фабрики в Сталинграде?

– А тебе не приходилось ничего слышать о так называемых потемкинских деревнях? Если не знаешь, я расскажу тебе, что такие «липовые» деревни строил граф Потемкин перед самым приездом Екатерины в южные районы России, чтобы ввести императрицу в заблуждение. Нечто подобное усматриваю я и здесь.

Все это Мельцер проговорил с такой убежденностью, что я сразу же понял: он до сих пор не желает расставаться со своими старыми убеждениями.

– Ты забываешь, что еще совсем недавно мы считали Россию карточным домиком, колоссом на глиняных ногах. Какой дорогой ценой пришлось нам расплачиваться за это! Так что в заблуждение нас ввели не русские, а Гитлер.

– Выходит, какому-то большевистскому старшему лейтенанту ты веришь больше, чем фюреру? – не унимался Мельцер.

– Я испытал на собственной шкуре, что Гитлер обманул нас, а потом просто-напросто предал. Вот с тех пор я и пытаюсь понять, где правда, а где ложь. Из лекций старшего лейтенанта мне стало ясно, что русский народ борется за лучшее будущее. Жалкие соломенные крыши, плохая одежда, скверные дороги – все это вчерашний день, а школы, больницы, индустриальные предприятия – предвестники будущего.

Мельцер ничего не ответил и несколько дней избегал говорить на подобные темы. Мы по-прежнему оказывали друг другу различные услуги, играли в шахматы, вспоминали родные края. Политика же как бы стала для нас запрещенной темой.

Я начал чаще ходить в лагерную библиотеку. Все экземпляры книги Варги «Двадцать лет капитализма и социализма», а также Отчетный доклад XVIII съезду ВКП (б) находились на руках. Обе работы рекомендовал нам старший лейтенант, и их отсутствие в библиотеке назло неверующим свидетельствовало о том, что у многих военнопленных растет интерес к политике.

***

Помимо книги Варги я как-то взял в библиотеке и брошюру с речью капитана д-ра Эрнста Хадермана, с которой он выступил перед пленными немецкими офицерами 26 мая 1942 года в елабугском лагере.

Никто из нас не знал капитана Хадермана. Неужели такой действительно существует? Тогда почему нам его не покажут? И

неужели действительно год назад в этом лагере были военнопленные?

Никто не ответил нам на эти вопросы, однако само выступление я прочитал с огромным интересом. Называлось оно так: «Как можно покончить с войной? Откровение одного немецкого капитана».

Чего-чего, а мужества у этого человека нельзя было отнять. Уже в самом начале своей брошюры он писал буквально следующее:

«… Для того чтобы спасти наших солдат на фронте и избавить германский народ от неминуемой катастрофы, необходимо прежде всего: сбросить Гитлера, предоставить немецкому народу свободу, заключить своевременный и честный мир».

Год назад, в конце мая 1942 года, я вместе с санитарной ротой находился в Харькове. Пропагандисты вермахта пророчили нам блистательные победы в весенней кампании. Я, правда, уже тогда понимал, что война на востоке потребует от нас очень многих жертв. Однако я нисколько не сомневался, что в конечном счете мы все равно победим. А в то же самое время, в мае 1942 года, капитан Хадерман говорил следующее:

«С военной точки зрения, война стала бесперспективной. Против нас с оружием в руках выступают Советский Союз, Великобритания и США. В экономическом отношении эти три державы могут опираться на экономику всей Америки, Африки, Австралии и даже значительной части Азии. Кто может верить в то, что Германия способна сокрушить такую мощную группировку?»

Капитан Хадерман в своей брошюре затрагивал не только военные и экономические аспекты войны. Он разоблачал фашизм с его теорией завоевания «жизненного пространства», с его «новым порядком» в Европе. А с какой уничтожающей критикой писал Хадерман о приходе фашистов к власти в 1933 году, о их программе «воспитания» молодежи и об этой войне, особенно о зверствах, совершенных гитлеровцами в Польше и в Советском Союзе! Не умолчал автор и о разгоне фашистами профсоюзов и политических партий, о применении силы против христианской церкви…

В своих размышлениях я прежде всего возмущался жестокостью и беззастенчивостью гитлеровской политики. В брошюре же приводились и такие примеры, на которые прежде я смотрел совершенно другими глазами. И я был полностью согласен с Хадерманом, когда он спрашивал:

«Разве могли бы в сегодняшней Германии существовать

величайшие умы? Такие, как Лессинг, который всю свою жизнь был сторонником гуманизма и борцом за свободу совести? Или Гердер, который научил нас прислушиваться к голосу других народов? Или Шиллер – этот певец свободы? Или Гете, выступавший за всестороннее образование? А такие мыслители с мировым именем, как Лейбниц, Кант?»

Ясно как день, что сегодняшняя официальная Германия чужда для этих величайших умов.

«Настоящее лицо Германии скрыто, заграница видит лишь искаженную душу немецкого народа. Немецкий дух задавлен, восторжествовала грубая сила!»

Это мог сказать только немец! Такой стиль, такое знание предмета!

Капитан говорил правду. Он за целый год предугадал ход событий.

Правда, я и сам еще задолго до Сталинградской битвы уже понял, что приход нацистов к власти несовместим с немецкой культурой. То немногое, что я знал о преследовании евреев, уже достаточно красноречиво свидетельствовало об этом. Кое-что о стерилизации и борьбе за чистоту расы я слышал от знакомых врачей еще в Шварцвальде, когда работал в детском санатории. Помню, меня очень обеспокоили эти ужасы, однако никаких выводов для себя я не сделал. Настроение было ужасное, временами даже хотелось покончить с собой, однако до этого дело не дошло.

Так неужели и теперь я буду непоследователен? Неужели я испугался того, что кто-то назвал меня предателем и изменником?

Д-р Хадерман дал мне ясный ответ:

«Предательство совершает тот, кто ради собственной выгоды причиняет вред своей родине. Оставим личные беды себе, чтобы спасти отечество! Мы не предатели, а спасители отечества. Так пусть же каждый из нас станет активным в защите истинных интересов отечества!»

В этой брошюре немец откровенно высказался относительно того, как следует понимать ответственность отдельной личности перед своим народом.

«Сегодня мы, немцы, являемся насильниками и разрушителями. И сегодня мы преклоняемся перед теми же идолами, что и в годы первой мировой войны, – перед деньгами, властью и насилием.

Или мы будем катиться назад, или же обретем себя и возродим лучшие немецкие традиции!

Немецкий народ должен решить, по какому пути он пойдет!

Близится час, который решит его судьбу.

И перед вами, господа, стоит тот же выбор!

Не ошибитесь в выборе правильного пути!»

Написанное капитаном кровно затрагивало мои интересы. Я понимал, что сам стою перед выбором.

И нужно сделать правильный выбор!

А это значит подняться против Гитлера, который обманул весь немецкий народ.

Я содрогался при мысли о злодеяниях гитлеровской Германии. В то же время меня пугало решение открыто выступить против власть имущих, стать мятежником, противником Гитлера, за которым еще шли миллионы ослепленных им сторонников – как на фронте, так и в тылу.

Эта тоненькая брошюра ввергла меня в пучину новых мучительных сомнений, но это был еще один шаг на пути к истине…

***

Капитан д-р Хадерман выступал как антифашист, хотя в брошюре на сорок страниц лишь один раз встречается это слово. Хадерман совсем не употреблял слов «фашист» и «фашизм», он заменял их словами «национал-социалист» и «национал-социализм». И это казалось мне более правильным для Германии.

Такие понятия, как «фашист» и «антифашист», были для меня непривычны. По моим представлениям, фашизм – это Италия, Муссолини. Само это слово существовало со времен древнеримских легионеров. И я не понимал, как это понятие подходит к движению в Германии.

Хотя, собственно говоря, члены антифашистской группы знают лучше, что делают. И как-то я спросил одного из них об этом.

В правом крыле блока «А» один пленный рисовал лагерную стенную газету, выпускаемую активом группы. Между прочим, слова «стенная газета» и «актив» казались мне тоже необычными. Пленный, занимавшийся с газетой, был тоже старшим лейтенантом. На груди у него висел Железный крест, нашивка с орлом спорота. По одежде он ничем не отличался от меня.

– Скажите, пожалуйста, – обратился я к нему, – почему вы по русской моде употребляете такие слова, как «фашист» и «антифашист»? Можно по-разному относиться к Гитлеру, но ведь он – основатель национал-социализма, а не фашизма.

На меня открыто и дружелюбно смотрели голубые глаза

старшего лейтенанта.

– Объяснить это не так уж сложно. Фашизм – это собирательное понятие. Оно обозначает определенного рода политическую систему правления. Под это понятие подходит режим Гитлера в Германии, Муссолини в Италии и Франко в Испании. Фашистов можно найти и во Франции, и в Англии.

– Выходит, фашизм – явление интернациональное? – спросил я.

– Вы правы в том, что не отдельные личности являются первопричиной такой формы правления. За их спиной стоят экономические силы. Гитлер – ставленник крупного германского капитала, ради интересов которого он и развязал эту войну. Побывав под Сталинградом, мы на горьком опыте убедились, на что способен фюрер. И я должен сказать вам, что все пережитое нами – предупреждение для всего немецкого народа.

Голубые глаза старшего лейтенанта стали строгими. Он крепко сжал губы. Выражение его лица свидетельствовало о решимости.

Да, этот человек не забудет катастрофы 6-й армии. Однако в вопросе о причинах он, как мне показалось, мыслил слишком упрощенно. Гитлер – исполнитель воли крупного капитала? А где этому доказательства?

– Я вижу, вы человек начитанный, – заметил я. – но не подпадаете ли вы под влияние коммунистической пропаганды, когда говорите, что Гитлер – ставленник банков и крупных промышленников? У меня такое впечатление, что к этому выводу вы пришли только здесь, за колючей проволокой…

– К сожалению, так оно и есть. Было время, когда я слепо верил Гитлеру, был руководителем гитлерюгенда и хотел стать корреспондентом одной национал-социалистской газеты. На войну я шел с воодушевлением. И слепо верил таким лозунгам Гитлера, как «честь», «народ» и «отечество», верил его словам: «6-я армия может на меня положиться, как на гранитную скалу…»

– Такое состояние мне знакомо.

– Я был готов воевать до последнего патрона, а если потребуется, то и умереть. А в последние дни Сталинградской битвы меня вдруг осенило: «Зачем Германии нужна такая жертва?» Эта преисподня и действительно была не просто проигранным сражением. Самое страшное было сознавать, что фюрер беспричинно пожертвовал жизнью нескольких сот тысяч солдат, которые были ему преданы…

Склонившись над газетой, офицер замолчал. На лице его я прочел выражение возмущения и печали. Он приклеил газету на специальную доску. Одна из статей называлась «Чего хочет

антифашистская группа?». В ней говорилось, что варварское нападение Гитлера на Советский Союз требует от каждого немца сделать выбор. «Покончить с Гитлером и этой войной – таково требование времени!» – так заканчивалась статья.

«Не слишком ли далеко зашел автор этой статьи?» – подумал я. Однако как бы там ни было, а слова старшего лейтенанта заставили меня вспомнить прошлое. Подполковник Кутчера еще в котле окружения говорил мне о предательстве Гитлера. А мои размышления в эшелоне? Разве не привели они меня к таким же выводам? Осторожно я возобновил разговор.

– Я во время окружения работал на дивизионном медпункте и в полевом госпитале. Я видел, как умирают сотни людей, и разделяю вашу точку зрения относительно бесцельности сопротивления. Именно тогда у меня и возник вопрос: «Кто такой Гитлер и как он мог стать безграничным властителем?»

– Разрешите пригласить вас на собрание нашей антифашистской группы? На следующей неделе, в четверг, в десять утра, политический инструктор Книпшильд прочтет нам лекцию о мировом кризисе и приходе Гитлера к власти в 1933 году. Мы будем рады, если придете и вы. Меня зовут Гельфрид Гроне. Я из Ашерслебена, что близ Магдебурга.

Я пожал Гельфриду руку и тоже представился.

Так весной 1943 года началось мое первое знакомство с антифашистским движением немецких военнопленных.

За обедом я рассказал Мельцеру о своем новом знакомстве.

– Я тебе еще несколько недель назад говорил, что ты рано или поздно попадешь в кружок антифашистов, – заметил Мельцер.

– Но, Геральд, – попытался защищаться я, – у те5я ведь тоже возникает немало вопросов. Неужели ты не хочешь пойти на эту лекцию?

– Об этом не может быть и речи. Я не хочу иметь ничего общего с коммунистами.

Лицо Мельцера стало серым. Он молча ел суп и ни разу не взглянул на меня.

***

Над входом в небольшой двухэтажный деревянный дом висела вывеска с коротким словом «Клуб». В клубе собиралась антифашистская группа пленных. Здесь они слушали лекции и доклады. Присутствовало человек двадцать пять. Общие собрания всех пленных проходили обычно под открытым небом.

Политический инструктор, из немецких эмигрантов, имел в клубе небольшую комнатку, где работал. Фамилия инструктора была Генрих Книпшильд. По профессии он был не то художником, не то графиком: он занимался не только пропагандой, но и снимал копии с картин Репина, Касаткина и Серова. Писал он также и портреты советских руководителей. Чувствовалось, что это был неплохой мастер.

Инструктор был средних лет. Он производил впечатление больного человека: дышал, как астматик, все лицо его было в мелких пятнышках.

Хорошо познакомившись с ним, я понял, что он убежденный антифашист. Стоило Книпшильду заговорить о Гитлере или услышать из уст какого-нибудь пленного офицера, пережившего окружение, что-то из фашистских лозунгов, как глаза его загорались гневом. Книпшильд всегда был готов ответить на любой вопрос. Когда инструктор видел, что кто-то находится в разладе с самим собой, он любил давать дружеские советы.

Генрих Книпшильд сидел за столом, накрытым красной материей. Перед ним на четырех скамейках сидели двадцать офицеров. Все коротко пострижены. На одном из них – форма танкиста, на остальных – полевая форма пехотинца. Все с орденами или орденскими планками. Большинство из них – члены антифашистской группы. Симпатизирующих кроме меня оказалось еще двое.

Инструктор поздоровался с присутствующими, назвав их товарищами. Свою лекцию на тему «Приход Гитлера к власти» он начал небольшим введением о Версальском мирном договоре. Я впервые узнал, что Советский Союз не подписал этого грабительского договора. При этом Книпшильд процитировал Ленина, который заклеймил политику империалистических держав. Не менее ошеломляющей была для меня оценка, которую лектор дал господствующим кругам Германии в вопросе о репарациях: всевозможные налоги тяжелым бременем легли на трудовые массы, а представители финансового капитала наживались на поставках. Гитлер демагогическими обещаниями обманул немецкий народ, свалив всю вину на экономическое положение страны, на Версальский мирный договор. В стране процветал шовинизм и реваншизм, отвлекая народные массы от борьбы за свои права.

Постепенно я привык к сухому языку доклада, пересыпанного иностранными словами. Как логично он говорил!

Затем лектор перешел к мировому кризису 1929 года и рассказал о событиях вплоть до 1932 года. Когда разразился кризис, мне было всего лишь пятнадцать лет. Кое-что печальное

из того времени запало и в мою мальчишескую память, особенно огромные массы безработных.

На лекции я впервые услышал, что явилось причиной первого кризиса империализма, узнал, что в погоне за максимальными прибылями капиталистические державы значительно увеличили выпуск продукции, а покупательная способность трудящихся – как реальная, так и относительная – сильно упала. В период кризиса обострилась политическая обстановка. Массы требовали коренных изменений. Социал-демократическая партия с 1928 по 1932 год потеряла миллионы своих избирателей. В то же время Коммунистическая партия Германии и национал-социалистская рабочая партия Германии получили миллионы голосов. Банковские и индустриальные короли поддерживали нацистскую партию крупными суммами, опираясь на нее, как на буфер, в борьбе против растущего революционного движения. По этому поводу докладчик привел много конкретных примеров. В числе лиц, финансировавших нацистов, он назвал Стиннеса, Кирдорфа, Круппа и целый ряд других крупных промышленников. 27 января 1932 года Гитлер выступил перед ними в Дюссельдорфе, изложив свою программу. Папен помог Гитлеру захватить власть. 30 января 1933 года Гинденбург, исходя из интересов агрессивных кругов германского монополистического капитала, назначил Гитлера рейхсканцлером.

Книпшильд обвел взглядом присутствующих, словно проверяя, насколько внимательно они его слушают.

– Национал-социализм – это не что иное, как власть крупного финансового капитала. И как таковой, он не имеет ничего общего ни с национальными, ли с социалистическими идеями. Если до 1933 года буржуазия осуществляла свою власть парламентарным путем, то теперь она перешла к открытой террористической диктатуре. Это была не «национальная» революция, а кровавая контрреволюция! Начало массового уничтожения собственного и других народов!

Беды для Германии начались задолго до начала войны. Особенно роковым днем для Германии стал день 30 января 1933 года. Опьяненные нацистской пропагандой, миллионы немцев приветствовали своего фюрера, не зная, что многих из них он превратит в могильщиков.

– Если мы, товарищи, – продолжал докладчик, – спросим себя, можно ли было преградить дорогу фашизму, то на этот вопрос найдем только положительный ответ. Самой большой ошибкой был раскол рабочего класса. Всю вину за этот раскол несет социал-демократическая партия Германии, которая отклонила предложения Коммунистической партии Германии по

созданию единого антифашистского фронта. А какая это была бы сила! Что могли бы сделать Гитлер и его лакеи, если бы руководство СДПГ призвало трудящихся к проведению всеобщей стачки? Вспомним хотя бы тот факт, что в ноябре 1932 года на очередных выборах в рейхстаг за кандидатов СДПГ и КПГ проголосовало в общей сложности 13,2 миллиона избирателей, а за НСРПГ всего лишь 11,7 миллиона…

Фашизм сразу же зарекомендовал себя как жестокий, заклятый враг собственного народа и народов других стран. И теперь от немецких антифашистов не в последнюю очередь зависит, как долго фашизм еще будет совершать свои преступления…

Доклад был закончен. После небольшого перерыва лектор спросил, будут ли к нему вопросы.

Вопросов не оказалось. Не потому, что их на самом деле не было. Просто стеснялись задавать их среди незнакомых людей.

– Давайте погуляем сегодня после обеда, – предложил мне Гроне, когда мы вышли из клуба.

– Согласен. Когда?

– Я предлагаю часа в четыре. В это время так хорошо побыть на воздухе. А сейчас я немного поработаю над новым номером стенной газеты.

Вечер в тот день действительно удался на славу. Мы медленно прогуливались вдоль забора. Солнце клонилось к горизонту, дул легкий ветерок.

– Ну что вы скажете о лекции инструктора? – спросил меня старший лейтенант.

– Он говорил о том, что пережито всеми. Но аргументация оказалась для меня совершенно новой.

– Да, я согласен с вами. Все эти события десяти – пятнадцатилетней давности хорошо знакомы нам, лично пережиты… И все же истинного их смысла мы тогда не понимали.

– Теперь-то мы знаем, что Гитлер вовсе не выдающаяся личность в истории Германии, как мы думали раньше, – сказал я. – Если я правильно понял Книпшильда, Гитлер – ставленник крупных капиталистов, для которых война – лучшее средство обогащения.

– Так оно и есть. А мы очертя голову бросились за ним. Мы верили тому, кого следовало ненавидеть.

– Моя вера в Гитлера умерла еще в последние недели окружения. Сегодня я его ненавижу. И в то же время нелегко желать ему гибели. Что станет с Германией, если война будет проиграна?

Гельфрид Гроне ответил не сразу. Мы молча шли рядом.

Заходящее солнце наполовину скрылось за каменной стеной, окрасив горизонт в оранжевые тона.

– Германии, разумеется, будет не легко, – ответил Гельфрид. – Теперь мы сами должны позаботиться о будущем. То, что пережило наше поколение, не должно повториться.

– Я согласен с вами. Память о погибших товарищах требует от нас этого. И все же я нахожусь в каком-то раздвоении. А не берем ли мы на свои плечи новую вину, выступая против Гитлера? А с другой стороны, разве мы не совершаем ошибки, когда молчим о том, что пережили?

– Давайте разберемся, – ответил Гроне. – Что касается Гитлера, мы теперь хорошо знаем, что он олицетворяет собой обман. Именно поэтому мы выступаем против него и требуем его свержения. Другого пути нет.

Мы остановились. Солнце уже село, но было еще совсем светло.

– Благодарю вас за прогулку.

Лекция инструктора и разговор с Гроне помогли мне разобраться в целом ряде вопросов. Я понял, что должен учиться.

Однако это решение было только одной стороной вопроса и далеко не самой важной. Самое главное – что же должен я делать? Но что мог военнопленный Отто Рюле, находясь в нескольких тысячах километров от Берлина? Как мог он повлиять на судьбу Германии? Интересно, что думают по этому поводу антифашисты?

В конце июня в наш лагерь прибыла делегация пленных из лагеря № 27, находящегося в Красногорске под Москвой. Все разговоры в лагере только и велись о старшем лейтенанте инженерных войск Фридрихе Рейере.

– Он был взят русскими в плен 22 июля 1941 года, – сказал кто-то.

– Значит, он празднует сейчас двухлетний юбилей? – заметил другой. – Я бы на его месте с ума сошел: два года за колючей проволокой!

– Этот Рейер хуже сумасшедшего, – вмешался в разговор один старший инженер. – Он изменник родины. Если ему приведется вернуться домой, там его наверняка ждет пуля. Под Сталинградом он сидел в русских окопах и через громкоговоритель призывал нас переходить на сторону русских. Я читал об этом во «Фрайе ворт».

Основная масса военнопленных прибыла в Елабугу из Оранки, то есть преимущественно это были офицеры 6-й армии. И политическая атмосфера в лагере не менялась. Весной 1943 года фанатичные сторонники Гитлера и закоренелые пруссаки

представляли в лагере основную силу. Они задавали тон во всем и формировали общественное мнение среди военнопленных. Число же тех, кто серьезно задумывался, как покончить с прошлым и начать новую жизнь, было слишком мало. И даже этих немногих часто охватывал страх, ибо путь немецкого офицера от клятвы на верность фюреру до борьбы против него был нелегок.

С удивлением я наблюдал за поведением самого Рейера. Казалось, он не замечал тысяч пар глаз, осуждающих его. Рейер часто беседовал с антифашистами, а еще чаще разговаривал с теми, кто не хотел отказываться от своих старых убеждений. Однажды я увидел его прогуливающимся со старшими офицерами. Они расхаживали взад и вперед за блоком «Б». Рейер что-то оживленно говорил, остальные молча слушали его.

В один прекрасный день состоялось общее собрание военнопленных лагеря. И тут выяснилось, что Рейер прибыл в наш лагерь как делегат подготовительного комитета, занимающегося созданием немецкого Национального комитета.

– Ого! – послышались выкрики.

– Комитет без нас!

Рейер не дал сбить себя с толку. Коротко он рассказал о своей жизни в плену и о катастрофическом ухудшении положения Германии после поражения на берегах Волги.

Рейер говорил, что каждый здравомыслящий немец, попав в эту переделку, понял, что час расплаты Германии близится. В лагере № 27 на общем собрании из числа военнопленных солдат и офицеров был образован подготовительный комитет, который и обратился со своим воззванием к товарищам в Елабуге.

Докладчик прочитал небольшой отрывок из этого воззвания:

– «Ни один здравомыслящий человек в настоящее время уже не сомневается в том, что поражение Германии неизбежно.

Это поражение будет для нашего народа уничтожающим, если все честные и здравомыслящие немцы не остановят Гитлера и собственными силами не покончат с этой разбойничьей войной прежде, чем наступит военный крах Германии.

Время не ждет. Каждый день войны требует от Германии новых и новых жертв, которых мы можем и должны избежать.

Немецкий народ измучен, истощен, он устал от этой войны. Он хочет и требует мира».

– Кто должен заключить этот мир? – спросил Рейер. – Никто, разумеется, не думает, что это сделает Гитлер. Войну можно закончить, лишь свергнув гитлеровский режим. Если же народ пустит события на самотек, тогда наше национальное положение будет еще хуже. Настало время, когда Германия должна признать свою вину. Мы должны доказать, что сами вынесли приговор

гитлеровскому режиму…

Все на какое-то время притихли, а когда докладчик начал зачитывать имена тех, кто подписался под воззванием, оживились и зашумели. Он назвал фамилии Вайнерта, Бехера, Маале, Пика, Ульбрихта и фамилии некоторых пленных: Эшбозан, Хадерман, Кюгельман, Штресов.

«Вайнерт, – осенило вдруг меня. – Так ведь это он был автором листовки, которую я нашел в Воропаново! А д-р Хадерман? Ведь это же тот самый капитан, которого я знал как умного и решительного человека. Во всяком случае, последовательности этим людям не занимать!»

Рядом со мной сидел врач-офицер. Эти фамилии никакой симпатии у него не вызвали.

– Пятеро из них – коммунисты, четверо – солдаты! Вот так-то! Все это рассчитано на простачков.

Как раз в этот момент докладчик прочитал следующее:

– «Многие подписавшиеся под этим воззванием до последнего времени придерживались самых различных политических убеждений… Так что же, спрашивается, объединило их? А объединило их сознание, что только решительное выступление нашего народа может предотвратить катастрофу… Вчерашний сторонник Гитлера, с ужасом осознавший, куда ведет Германию разбойничья политика, уже протягивает руку бойцу-антифашисту…»

Я впервые услышал подобные предостережения, сказанные в полный голос. Докладчик был, безусловно, прав. Даже в нашей лагерной библиотеке появилось немало брошюр, в которых красноречиво доказывалась вся пагубность политики Гитлера.

Старший лейтенант объяснил, как мы можем в какой-то степени предотвратить эту опасность.

– У военнопленных нет винтовки, но они могут оказать поддержку тем, кто сражается с оружием в руках, если присоединятся к антифашистам и будут вести разъяснительную работу среди заблуждающихся.

Подготовительный комитет предлагал создать руководящий орган антифашистов – немецкий Национальный комитет, обратившись к Советскому правительству с просьбой разрешить образовать такой комитет в СССР. В воззвании предлагалось обсудить этот документ в лагерях и избрать представителей в учредительное собрание.

За создание комитета голосовали далеко не все из присутствующих. Около десятка штабных офицеров демонстративно покинули зал еще до того, как лектор закончил свое выступление.

Оценку положения я считал правильной. Мы, оставшиеся в живых, несли особую ответственность перед немецким народом. Правители третьего рейха готовы были и нас объявить мертвецами, лишь бы не иметь оставшихся в живых свидетелей. И все же были вопросы, которые меня мучили.

Имею ли я право нарушить присягу? Не нанесу ли я немецкому фронту удар в спину, если, находясь на территории вражеской страны, буду призывать к свержению Гитлера? Мне хотелось побеседовать об этом со старшим лейтенантом Рейером, но он с каким-то подполковником пошел обходить лагерь.

По дороге в клуб я встретился со старшим лейтенантом Гроне.

– Давайте немного пройдемся, – предложил я ему. – У меня есть кое-какие вопросы.

Он согласился и, помолчав, заговорил:

– Да, я понимаю: «Военная присяга» для офицера – не простые слова. Я лично никогда не присягал на верность вермахту. Мне удалось увильнуть от нее. И все-таки я солдат, боец своей партии – Коммунистической партии Германии. Ей я присягнул на верность до последнего дыхания. И я скорее умру, чем нарушу эту клятву! Но должен сказать, что моя партия никогда не обманывала меня, не предавала, попусту не жертвовала моей жизнью. Она никогда не требовала от меня чего-то антигуманного, аморального. Именно поэтому я никогда но попаду в положение, в каком оказались сейчас вы.

– Значит, по-вашему, присяга, как таковая, держится на обоюдном доверии? – спросил я. – Значит, верность требуется не только от того, кто принимает присягу, но и от того, кому она приносится? И если одна из сторон нарушает этот принцип, другая сторона может считать присягу недействительной?

– Да, примерно так и следует понимать этот вопрос, – ответил мне инструктор, когда мы пришли в клуб.

– Помню, – вступил в разговор Гроне, – как я в свое время принимал присягу. По приказу сотни рекрутов выстроились на плацу. Раздалась команда «Смирно!», затем из строя вышли четыре солдата, положили руки на полковое знамя и за командиром батальона повторили слова присяги. Мы присягали Гитлеру не как частному лицу, а как фюреру немецкого государства и народа. Однако Гитлер не выполнил своих обязательств перед народом и армией. Мы же останемся верны нашему народу, если поднимем голос против своих палачей и потребуем немедленного окончания войны. Мне лично это кажется национальным долгом.

– Только не думайте, что только мы скажем правду, как

фронт и вермахт развалятся, – заметил Книпшильд. – Огромное поражение вермахта под Москвой и в Сталинграде, разгром африканского корпуса – все это результат приказа Гитлера «Держаться до последнего!». Мы потеряли несколько армий! Так, спрашивается, кто же на самом деле наносит удар в спину немецким армиям?

– Здесь, в лагере, – сказал старший лейтенант Гроне, – многие офицеры, называя нас антифашистами, считают, что мы наносим вермахту удар в спину. Такие «умники» были у нас еще и в 1918 году. Однако мы не обращали на них никакого внимания и делали все возможное, чтобы сохранить силы народа и уменьшить его страдания.

– Собственно, я придерживаюсь такого мнения, как и вы. Чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер. Но скажите, поверят ли нам, когда мы поднимем свой голос из советского плена?

Инструктор улыбнулся.

– Дорогой товарищ Рюле! В Национальный комитет войдут многие тысячи немецких пленных – солдат и офицеров. Разумеется, гитлеровские приспешники попытаются объявить воззвания и призывы Национального комитета фальшивками и будут выдавать их за трюки вражеской пропаганды. Они скажут, что 6-я армия вся уничтожена, а русские, мол, просто-напросто манипулируют фамилиями умерших и убитых. Я считаю: чем больше солдат и офицеров, побывавших в Сталинграде, выступит с заявлением, тем скорее удастся разоблачить гитлеровскую пропаганду.

– Может быть, вы и правы, но не поможет ли Национальный комитет в первую очередь русским? Вот что мне хотелось бы знать..

– А вы упрямы, – заметил Книпшильд. – Ход военных действий за последние полгода убедительно показал, что наступления Красной Армии не остановить. Чем дольше будет продолжаться эта война, тем больше она потребует жертв, в том числе и от нас лично. Обе стороны, и немецкая и советская, только выиграют, если Национальный комитет будет иметь успех.

Это был вполне логичный ответ на волнующие меня вопросы. И в то же время все это давало пищу для дальнейших размышлений.

Я думал так. Будет ли иметь успех деятельность Национального комитета или нет, в нашей лагерной жизни все равно ничего не изменится.

Как и раньше, подъем будет в шесть утра. Обычно по сигналу «подъем» пленные выбегали из корпусов «А» и «Б». Из небольших

домиков, справа от корпуса «А», выходили на плац старшие офицеры. Каждое утро можно было видеть одних и тех же полковников, подполковников, майоров.

Однако кое-какие изменения уже произошли.

Два майора срезали свои нашивки!

Два старших офицера в лагере объявили себя антифашистами. Это были майоры Гетц и Гоман.

Значит, фаланга старших офицеров не так уж и монолитна, как казалось на первый взгляд. Два ее представителя уже сделали первый шаг по пути к национальному возрождению Германии.

Я проникся к этим майорам симпатией, и сам стал более решительным.

Большинство же пленных начали относиться к Карлу Гетцу и Генриху Гоману с презрением и ненавистью.

Однако деятельность Национального комитета от этого нисколько не пострадала.

В начале июля группа офицеров из лагеря № 97 и вместе с ними оба наших майора выехали в Красногорск на учредительное собрание.

К тому времени во мне тоже созрело решение. Мой горький опыт и все мои злоключения после битвы на Волге способствовали тому, чтобы я стал членом Национального комитета. И однажды я сорвал нашивку орла на груди. А когда пришел в клуб, меня приветствовали как равноправного члена антифашистского движения.

Когда я вернулся в нашу комнату, Мельцер сразу же бросил настороженный взгляд на темную полосу, где раньше была фашистская нашивка.

– Я хотел бы поговорить с тобой, – обратился я к Мельцеру, положив руку ему на плечо. Он кивнул и первым пошел к двери. На пустыре за блоком «А» всегда можно было спокойно побеседовать.

– Мы знаем друг друга уже больше полугода, – начал я разговор. – Это не большой срок, однако за это время мы пережили много трудностей и стали друзьями…

Я посмотрел Мельцеру прямо в глаза. Он выдержал мой взгляд, но ничего не ответил.

– Видишь ли, – продолжал я, – мне хотелось, чтобы ты понял меня. Я не могу иначе. Мне хочется проверить, на что я способен. Ты знаешь, сколько я передумал. Я много колебался и долго не мог решиться нарушить присягу и поступиться офицерской честью. Однако ум и сердце подсказывают мне, что мы шли по неверному пути, и если не возьмемся за ум, то дальше будет еще хуже.

– Фюрер вооружил меня великой идеей. И я останусь ей верен, – ответил мне Мельцер. – Между прочим, ты тоже приносил ему клятву на верность и не имеешь никакого права нарушать ее. Тем более, что мы проиграли только одну битву.

– Какая это великая идея? Уж не думаешь ли ты, что братские кладбища на нашем пути и сожженные города и села в России служат интересам нашего народа? А разве под Сталинградом мы проиграли только одну битву? Разве всего этого недостаточно, чтобы понять, что нас ввели в заблуждение? И что вся нынешняя Германия тяжело больна?

– Ты можешь думать что угодно, – возразил мне старший лейтенант, – но я еще раз напоминаю: ты тоже поклялся фюреру на верность!

– За это я сам отвечу. Я буду нести ответственность, как один из многих миллионов сподвижников Гитлера, которые подготовили почву для его разбойничьей политики. У меня немало ошибок и заблуждений, но самая тяжкая моя ошибка в том, что Германия и Гитлер для меня были одно и то же. Присоединяясь к антифашистскому движению, я тем самым постараюсь хоть как-то реабилитировать себя.

Разговаривая, мы прохаживались между забором и блоком «А». Некоторое время мы шли молча, и я уже начал было думать, что Мельцеру просто нечего ответить мне, но вдруг он заговорил.

– За свои поступки ты будешь отвечать сам. Я уверен, что ты действуешь по убеждению. И если тебе по какой-либо причине не удастся вернуться в Германию, твоей жене я объясню твое решение твоими же собственными словами. Но за тобой я не пойду. Я тысячу раз говорил своим ученикам, что твердость всегда вознаграждается. По этому принципу я буду жить и дальше.

Мы пожали друг другу руки. Я видел, что Мельцер сочувствует мне от души.

– Спасибо, что ты стараешься меня понять. Надеюсь, это не последний наш разговор. Вся трагедия наша в том и состоит, что мы глубоко заблуждаемся. Но самое страшное то, что еще миллионы немцев используются в чуждых им интересам. В нашем положении твердость – это борьба против тех, в чьих руках мы были игрушками. А разве не нужна твердость для того, чтобы рассказать немцам правду?

– Каждый высказал свое мнение, так что давай прекратим этот разговор, – сказал Мельцер, устало махнув рукой.

Призыв к действию

Однажды, когда я шел в библиотеку, меня встретил старший лейтенант Гроне.

– Важные новости! Пошли скорее в клуб! Я пошел за ним.

В комнате инструктора по политработе несколько офицеров склонились над номером газеты «Фрайес Дойчланд». Я встал на цыпочки, чтобы заглянуть в газету через плечи других.

И вот что я прочитал: «Манифест Национального комитета „Свободная Германия“.

Значит, Национальный комитет все-таки создан! И газета «Фрайес Дойчланд» – его печатный орган. Я пытался прочитать текст манифеста. Книпшильд заметил мои потуги и, улыбнувшись, сказал:

– Товарищи, не вытягивайте шеи! Каждый из вас получит по экземпляру газеты, так что все вы не спеша сможете прочитать манифест. Прочитайте и обсудите в ваших комнатах! Сейчас же я скажу вам только самое главное: 12 и 13 июля 1943 года в Красногорске под Москвой образован Национальный комитет «Свободная Германия». Президентом этого комитета избран писатель Эрих Вайнерт. Первым вице-президентом – знакомый всем вам майор Карл Гетц. А майор Генрих Гоман избран членом комитета. Кроме солдат и офицеров в комитет вошли политические деятели, такие, как Вильгельм Флорин, Эдвин Герим, Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрихт, а также писатели Иоганнес Бехер, Вилли Бредель, Фридрих Вольф. Все мы очень рады созданию комитета. Этот факт имеет важное историческое значение, и мы гордимся, что с самого начала стали на сторону этого комитета. Вот вам газеты, читайте и как можно больше обсуждайте прочитанное.

Зайдя за блок «Б», я присел на кочку и стал жадно читать.

«События требуют от нас, немцев, немедленно решить, с кем мы.

Национальный комитет «Свободная Германия» создан в момент самой страшной опасности для Германии…»

Первое предложение потрясло меня; второе говорило о том, что серьезность ситуации не осталась незамеченной: прогрессивно настроенные немцы создали специальный комитет. Интересно, какую роль будет играть этот комитет?

«… Рабочие и писатели, солдаты и офицеры, профсоюзные работники и общественные деятели, люди всех политических взглядов и убеждений, год назад вы даже и мечтать не могли о таком объединении…

В эти решающие для нас дни Национальный комитет берет на себя право говорить от лица всего немецкого народа, говорить ясно и откровенно, как этого требует ситуация: Гитлер ведет Германию к гибели!»

Я понимал, что создание национального боевого союза немцев сейчас необходимо больше, чем когда бы то ни было. Понимал, что там, где речь идет о будущем Германии, не должно быть никаких политических или религиозных барьеров, люди, подписавшие манифест, выражали интересы и чаяния миллионов немцев на фронте и в тылу. Так что авторы манифеста имели полное право говорить от имени всего немецкого народа.

Но где же наши генералы? Ведь под Сталинградом попало в плен двадцать два генерала, один генерал-фельдмаршал и два генерал-полковника. Я еще раз просмотрел подписи под манифестом, но ни одной фамилии генерала не увидел. Сначала я даже обрадовался этому, так как генералы, которые отдавали бессмысленные приказы и гнали тысячи солдат на убой, не пользовались популярностью в нашем лагере. Ну а как же на фронте? Ведь там у генералов был авторитет! Право повелевать другими облекало их всей полнотой власти и авторитетом. Сейчас Национальный комитет олицетворяет собой широкий союз, и генералы, которым в первую очередь следовало бы извлечь уроки из поражения под Сталинградом, должны были бы войти в этот союз. Где же эти генералы? Уж не хотят ли они и теперь повернуть историю вспять?

Но разве по их инициативе был создан Национальный комитет? Конечно нет.

Манифест рассказывал правду о положении на фронте – о поражении в Сталинграде, на Дону, на Кавказе, в Ливии и Тунисе. Немцы везде терпели поражение. Американские и английские войска наступали на побережье. Германия стонала под игом тотальной мобилизации и от сильных бомбардировок англо-американской авиации.

«Ни один враг извне не ввергал Германию в такую пучину бедствий, как это сделал Гитлер.

Факты свидетельствуют, что война проиграна. Продолжение этой бессмысленной мясорубки означает гибель для всей нации.

Сейчас речь идет о том, быть или не быть Германии!»

В лагере я как-то слышал разговор, что, покончив с гитлеризмом, можно добиться заключения сепаратного мира. Об этом я как-то говорил и с Книпшильдом. Он сказал, что некоторым господам пришлось не по вкусу поражение под Сталинградом, и они надеются войти в союз с американцами и англичанами, чтобы с их помощью отомстить русским.

Политинструктор показал мне тогда статью в «Правде». Там сообщалось о конференции Рузвельта и Черчилля в Касабланке, после которой Рузвельт заявил, что союзники будут вести войну до безоговорочной капитуляции Германии, Италии и Японии.

Меня вопросы войны интересовали и с другой стороны. Чем больше я убеждался в бессмысленности этой войны, тем больше я о ней думал. Какие зверства чинили фашисты на оккупированной ими территории! Какое будущее ждало бы немецкую молодежь, если бы она унаследовала захваченные отцами земли? Сколько крови и несправедливости увидели бы молодые немцы?

Нет, Германия должна проиграть эту войну. И сейчас от самих немцев зависит их судьба. В манифесте говорилось:

«Если же немецкий народ вовремя опомнится и на деле покажет, что хочет стать свободным и готов избавить Германию от Гитлера, то этим самым наш народ завоюет себе право самому решать свою судьбу в будущем. И это единственный путь к спасению страны, свободы и чести германской нации. Немецкому народу необходим мир!»

Я лично был глубоко убежден, что с Гитлером никто никакого мира заключать не станет. Гитлер во всем мире дискредитировал само слово «немец». Именно поэтому немцы должны сами избавиться от Гитлера и расчистить путь к созданию нового, поистине свободного германского государства и правительства. Если Гитлера уберут сами немцы, они смогут этим завоевать доверие других народов.

Такое правительство должно быть сильным… Оно должно руководствоваться лишь идеями освободительной борьбы всех слоев населения. Важную роль при этом должны сыграть прогрессивно настроенные силы немецкой армии…

Должно быть создано такое демократическое государство, которое не имело бы ничего общего с Веймарской республикой, и такая демократия, которая воспрепятствовала бы любому заговору против стремления народов к миру.

Необходимо сделать выводы из господства третьего рейха, длившегося долгие годы. Необходимо сделать выводы из тринадцатилетнего существования Веймарской республики. Такие выводы наш народ способен сделать, если его поддержат вооруженные силы. Первая и основная обязанность новой власти, говорилось в манифесте, – это «… немедленно прекратить войну, все немецкие войска вывести в границы рейха и немедленно начать переговоры о заключении мирного договора с обязательным отказом от всех оккупированных территорий».

Задача эта была не из легких. Но если немецкий народ не примет необходимых мер, чтобы прекратить эту разбойничью

войну, ему это будет стоить огромных жертв. Советский Союз и его западные союзники достаточно сильны, чтобы нанести Германии решающий удар. Они имеют для этого все возможности. Население этих стран в три раза больше населения Германии и ее сателлитов; их военный потенциал также намного выше. Возникал, однако, вопрос: найдет ли требование об отводе немецких войск в границы рейха должное понимание у солдат и офицеров, находившихся на фронте?

Я опустил газету. Взгляд мой невольно скользнул по фигурам красноармейцев, стоявших на сторожевой вышке. Советский народ понес в этой войне большие потери – и в людях и в материальных ценностях. Но ведь русским эта война была просто-напросто навязана. И сейчас они защищали свою родину, свою свободу и независимость. И потому, как ни тяжелы были их жертвы, они приносились во имя светлой и благородной цели. А за что воевали мы? Ради чего погибла 6-я армия?

С чувством глубокого удовлетворения воспринял я призыв манифеста уничтожить гитлеровский режим и создать такой правопорядок, который гарантировал бы свободу и неприкосновенность человеческой личности, свободу слова, печати, организаций, совести и религии, а также свободу экономики, торговли и ремесел! И, само собой разумеется, немедленное освобождение всех жертв гитлеровского режима.

Да, необходимо строго наказать всех военных преступников, всех явных и тайных руководителей, которые ввергли Германию в эту войну. И в то же время я полагал, что тех, кто вовремя понял свою вину и решительно порвал с Гитлером, следовало бы амнистировать. Таким образом, тысячи людей получили бы возможность примкнуть к движению, возглавляемому комитетом «Свободная Германия».

Манифест заканчивался призывами:

«Немцы, вперед – за новую, свободную Германию!..

Немецкие солдаты и офицеры на фронте!

В ваших руках находится оружие! Не бросайте этого оружия! Найдите в себе мужество подняться на борьбу против Гитлера, за родину, за мир.

Трудящиеся мужчины и женщины в тылу страны!

Вы составляете большинство населения Германии. Вступайте в организации Сопротивления!.. Сражайтесь всеми средствами, каждый – на своем посту!»

Фронт и тыл поднимутся на общую борьбу против Гитлера! Это будет нелегкий путь, он будет тернист и потребует многих жертв. Однако это – единственно возможный путь. Необходимо, чтобы народ понял это и повернул бы оружие против зачинщиков

войны. Пойдут ли наши генералы по этому пути? Горький опыт 6-й армии не давал мне никакой уверенности в этом. Сейчас вот ведь никто из двадцати двух пленных генералов и звука не подал.

Недели четыре назад я и думать не мог, что коммунисты так самоотверженно поднимутся на защиту наших национальных интересов и что они могут поставить свои подписи рядом с фамилиями бывших офицеров вермахта. Теперь же я хорошо знал, что такое коммунисты. Человеческое обаяние и политическая прямота Генриха Книпшильда заставили меня не только уважать его, но и помогли расстаться с некоторыми моими заблуждениями. Вот, например, как коммунисты относились к событиям 1812-1813 годов. Об этом в манифесте говорилось буквально следующее:

«В нашей истории есть один пример. Еще сто тридцать лет назад, когда немецкие войска находились на русской земле как враги, лучшие представители немецкой нации из России через головы своих руководителей обратились к немецкому народу с призывом к освободительной борьбе. Их примеру должны последовать и мы, чтобы свергнуть Гитлера и развернуть во всю ширь освободительную борьбу нашего народа… За народ и отечество! Против Гитлера и развязанной им войны!

За немедленный мир!

За спасение немецкого народа!

За свободную, независимую Германию!»

Я бережно сложил газету. Она была для меня сейчас самым драгоценным документом. Она была для меня как путеводная звезда. Манифест четко изложил все, что мучило меня долгое время. Он говорил мне, зачем и ради чего я остался жив. Манифест не только открывал нам глаза, но и звал к решительным действиям в рядах Национального комитета «Свободная Германия».

Мысленно я часто уносился домой. Между моей жизнью в идиллических условиях Шварцвальда и лагерным существованием за колючей проволокой лежала громадная пропасть. Жена Эльза, родители, родственники и все друзья находились по ту сторону этой пропасти. Как они воспримут мое решение, поймут ли меня? Вряд ли! Многие, видимо, осудят и отвернутся. Думаю, что Эльза меня не оставит. Придет время, и я ей все объясню.

Вместе со мной вступить в антифашистскую группу решили еще два старших лейтенанта из нашей комнаты. Итак, нас было трое. В первую очередь мы решили заняться разъяснением манифеста среди пленных. Каждый из нас собирал вокруг себя группку из нескольких человек и читал манифест, комментируя

его кто как может. Поднимая глаза от газеты, я часто ловил на себе холодные, неодобрительные взгляды. Однако как бы там ни было, высказывать свое неодобрение вслух никто из моих слушателей не отваживался. Каждый осторожничал и вел себя по принципу «Внимание, враг подслушивает!».

Правда, в частных разговорах между собой люди были более откровенны. Таких, как я, называли изменниками родины. А один старший лейтенант даже заявил, что Женевская конвенция запрещает пленным заниматься политической деятельностью. Это был юрист из Кенигсберга.

– Президент Эрих Вайнерт, да это же просто смешно! Знаете ли вы хоть по крайней мере, что это за человек? – спросил меня с издевкой один преподаватель из Берлина. – Он – отъявленный большевик!

– Уж не думаете ли вы, что ваш Национальный комитет создан не по указке русских? А почему же тогда в его руководстве так много коммунистов? Все это ни больше ни меньше, как коммунистический трюк! – высказался старший казначей из Кельна.

Читать «Фрайес Дойчланд» в кругу подобных соотечественников было делом бесполезным, так как они руководствовались такими понятиями, как покорность, антикоммунизм, упорство и неучастие ни в каких политических акциях. Разумеется, никто из них и не думал, что именно эти принципы дали возможность легко ввести их в заблуждение и использовать в чуждых им интересах.

Однако наряду с такой аполитичной массой старших офицеров среди пленных лагеря в Елабуге оказалось и несколько десятков закоренелых фашистов. Это были молодые штабные офицеры, несколько человек из партийного руководства, в частности, руководители гитлерюгенда. Они не сидели сложа руки и пытались со своей стороны создать некий противовес Национальному комитету. Они провозглашали свои собственные лозунги и старались сформировать угодное им общественное мнение. Они не брезговали ничем. Могли, например, начертить на стене барака фашистскую свастику или же, придя на прием к медицинской сестре, поздороваться с ней по фашистскому образцу.

Однако тем из пленных, кто, побывав в котле, не избежал конфликта с собственной совестью, были явно не по душе ни старые лозунги, ни старые порядки. Такие невольно искали какого-то выхода. Этим людям Национальный комитет и манифест давали пищу для размышлений и помогали найти ответ на целый ряд вопросов. Эти люди скорее прозревали и приходили

к определенному решению. Подобная эволюция на моих глазах произошла с двумя католическими священниками – Йозефом Кайзером и Петером Моором.

Священник Йозеф Кайзер был моим соседом по нарам и постоянным собеседником. Этот здоровый мужчина среднего роста не был лишен чувства юмора. Он то и дело рассказывал какие-нибудь веселые истории из своей жизни. Полной противоположностью ему был священник Моор. Он был молчалив, но так же дружелюбен.

Довольно часто обоих священников навещал некто д-р Алоиз Людвиг, тоже католический священник. Это был человек острого ума, он намного лучше разбирался в догмах святого писания, чем его братья по вере. Оказалось, что он был награжден орденом иезуитов и потому прошел особый курс обучения. Людвиг обычно присаживался к своим друзьям на нары и горячо спорил.

К Мельцеру часто приходил старший лейтенант д-р Ганс Хубер. Познакомились они еще во время окружения. В первые дни нашего пребывания в лагере Хубер жил в одной комнате со мной и Мельцером. Хубер сразу же обращал на себя внимание: весь он был какой-то квадратный, почти совсем без шеи. Он носил очки, из-за толстых стекол которых блестели колючие глаза. Своим внешним видом он походил на судью, хотя на самом деле до войны работал в министерстве просвещения.

– Послушайте-ка меня, ребята, – сказал он однажды, когда обитатели нашей комнаты, по обыкновению, рассуждали о будущем. – Если считать, что поражение под Сталинградом означает для рейха проигрыш всей войны, то вполне логично допустить, что в Германии будет установлено господство большевиков. Для нас это равносильно гибели всей германской нации, а иначе говоря, наше дальнейшее существование бессмысленно. В таком случае нам должно быть совершенно безразлично, переживем мы плен или нет. Я же думаю, что Сталинград – всего лишь одно-единственное поражение. Такая постановка вопроса более вероятна и реальна. И только мы, пленные, наверное, сомневаемся в этом. Каждый из нас, даже находясь за колючей проволокой, остается офицером фюрера. И, чтобы с нами ни случилось, мы должны быть сторонниками национал-социалистской Германии. Наша общая цель – борьба с большевизмом. Вот и давайте подумаем, как мы, находясь в плену, сможем лучше служить делу национал-социализма.

Пленных, которые думали так же, как Хубер, в лагере было много, однако такая постановка вопроса их шокировала. Все молчали. Я лично слышал выступление старшего лейтенанта только один раз. Он один из первых заболел тифом, и его

отправили в лазарет. Там Мельцер сошелся с Хубером ближе. Возможно, это знакомство и повлияло на Мельцера. Во всяком случае, мы все дальше и дальше отдалялись друг от друга. Наши отношения стали более натянутыми.

За несколько недель я как бы врос в антифашистское движение. Здесь и нашел новых товарищей, которые, как и я, мечтали о лучшей жизни. Манифест Национального комитета объединил нас, сплотив для борьбы за новую, свободную Германию.

Дискуссии с инакомыслящими отнимали много времени, но в спорах выкристаллизовывались точки зрения, рождались убеждения, сближались союзники и расходились противники.

В лагере работали различные кружки: по экономике, искусству, истории, теории государства и революции, а также по истории ВКП (б). Очень часто проводились оживленные дискуссии. Члены «лагерной группы НК» (как нас обычно называли) почти все время оказывались в меньшинстве. Так что нам отнюдь не легко было отстаивать свою точку зрения.

Все антифашисты много времени отдавали политической учебе. В нашей лагерной библиотеке на длинных полках стояли полные собрания сочинений Маркса, Энгельса и Ленина. Было здесь и очень много отдельных томов и брошюр с их произведениями, а также работы И. В. Сталина по национальному вопросу, «Вопросы ленинизма» и другие.

Я взял Краткий курс истории ВКП (б) в светло-зеленом переплете. Читать по-русски мне было очень трудно, и я стал читать немецкий перевод, сверяя его с русским текстом, чтобы иметь своеобразную языковую практику.

В конце концов я вчитался в книгу и, чем дальше читал, тем больше удивлялся тому, сколько сделали большевики.

В книге рассказывалось о борьбе рабочего класса и» крестьянства за освобождение от угнетения и эксплуатации, за создание нового, справедливого общества. С каждым днем все больше и больше я понимал всю никчемность и бесчеловечность фашистского мировоззрения.

Большинство книг в библиотеке были политического характера, но здесь можно было найти и произведения художественной литературы. Самое большое впечатление произвел на меня роман Николая Островского «Как закалялась сталь». В своей тетрадочке я записал слова Павки Корчагина:

«Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все

силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества».

Из «Матери» Горького я выписал себе следующее:

«Мы – социалисты. Это значит, что мы враги частной собственности, которая разъединяет людей, вооружает их друг против друга, создает непримиримую вражду интересов…

Мы говорим: общество, которое рассматривает человека только как орудие своего обогащения, – противочеловечно, оно враждебно нам, мы не можем примириться с его маралью, двуличной и лживой… Мы – революционеры и будем таковыми до поры, пока одни – только командуют, другие – только работают…»

Читая произведения Горького и Николая Островского, я лучше представил себе картину жизни в России.

Здесь не было никакой попытки замкнуться в самом себе! Здесь была борьба за права человека, борьба за человеческое достоинство. Такой же призыв к борьбе звучал и в лучших произведениях немецких писателей, чьи имена можно было прочесть под манифестом Национального комитета. Это были писатели и поэты другой Германии, которую преследовал Гитлер.

С глубоким волнением читал я стихи Бехера о родине, стихи Эриха Вайнерта. Всего семь месяцев назад, несмотря на всю тяжесть нашего положения, я относился к этим стихам скептически. Теперь же я знал, что поэт-коммунист Вайнерт говорит правду. Теперь я стоял с ним в одном строю, хотя, откровенно говоря, был еще далек от того, чтобы назвать себя коммунистом.

Стихи Вайнерта дышали любовью к Германии и ненавистью к ее убийцам.

«Мы знаем, что есть две Германии: одна, которую ненавидят, и другая, которую любят. Снова скоро наступит май! Он придет с освобождением Германии. А ее освобождение – дело ваших рук!»

Виллл Бредель, как Вайнерт и Бехер, был членом Национального комитета. Я прочитал его роман «Испытания». В нем рассказывалось о мужестве немецких коммунистов в концлагерях.

С д-ром Фридрихом Вольфом – драматургом я познакомился в августе 1943 года лично, когда он вместе с двумя другими членами Национального комитета «Свободная Германия» приезжал в Елабугу. Его пьесу «Бедный Конрад» я тоже читал.

Помню, однажды нас всех собрали вместе. Выступал Вольф. Свой рассказ он начал с характеристики положения на фронте. Мы узнали, что в битве на Курской дуге вермахт сосредоточил на одном участке фронта такое количество сил и средств, как

никогда раньше: 50 дивизий, из них 18 танковых, которые образовали своеобразный ударный клин. На флангах было до 30 дивизий. Всего немецкая группировка насчитывала здесь до 900 тысяч солдат и офицеров, до 10 тысяч орудий и минометов, около 2700 танков. Операция носила кодовое название «Цитадель». Немцы обладали значительным превосходством в живой силе и технике и потому надеялись на успех операции.

Однако 15 июля немецкое наступление было повсеместно остановлено. Понеся большие потери, войска вермахта отошли на исходные позиции. Части Красной Армии, перейдя в контрнаступление, 5 августа овладели городами Белгород и Орел и подошли к Харькову.

Далее выступающий сказал, что начиная с 1943 года Красная Армия неуклонно приближается к границам Германии. И скоро немецкому народу придется познакомиться со всеми ужасами войны на своей собственной территории. Необходимо остановить преступную руку Гитлера и свергнуть его! Именно поэтому Национальный комитет требует принять все меры, чтобы развернуть освободительную борьбу нашего народа и ускорить гибель гитлеровского режима.

Далее Вольф заметил, что немецкому народу и солдатам вермахта нелегко освободиться от паутины лживой гитлеровской пропаганды. И потому тем важнее, чтобы немецкие военнопленные подняли свой голос протеста. У нас есть все возможности правильно разобраться в обстановке, чтобы понять, в чем заключается сейчас наш гражданский долг. Очень жаль, что большинство офицеров все еще находятся в плену старых представлений.

Писатель четко сформулировал задачи, стоящие перед нами.

Офицеры почти не аплодировали докладчику, чем красноречиво подчеркнули свое оппозиционное настроение. Некоторые из них демонстративно повернулись к докладчику спиной, другие, не стесняясь, смеялись.

После Вольфа слово взял лейтенант фон Ейнзидель – вице-президент комитета «Свободная Германия». Он живо и интересно стал рассказывать о Бисмарке, как будто лично знал старого канцлера. Он привел высказывания Бисмарка об отношениях Германии с Россией.

Этому выступающему аплодировали больше. Вероятно, потому, что лейтенант был графом. Может быть, этим аплодирующие офицеры хотели как-то подчеркнуть, что графу не место среди коммунистов Национального комитета. Я был со всем согласен в выступлении Ейнзиделя, однако мне показалось, что он намеренно добивался эффекта. Невольно возник вопрос: а

дорос ли этот молодой голосистый человек до тех серьезных задач, что стояли перед Национальным комитетом?

В конце митинга выступил майор Генрих Гоман – член Национального комитета. Он говорил от лица тех, кто участвовал в Сталинградской битве. Говорил о том, что все мы стоим перед выбором: или же отдать все свои силы во имя новой Германии, в которой не будет места ни Гитлеру, ни войне, или же идти на поводу у событий и допустить, чтобы на страну обрушилась катастрофа. Национальный комитет призывал к решительной борьбе за новую Германию – без Гитлера и без войны.

Делегаты Национального комитета, прибывшие из Лунево под Москвой, вели многочисленные беседы в узком кругу с членами лагерных групп, с каждым из симпатизирующих нам и, наконец, даже со своими противниками. Счастливый случай помог мне попасть на одну такую беседу с Фридрихом Вольфом.

– Вы из Штутгарта? – спросил он меня. – Это очень хороший город. Лет двенадцать назад я тоже жил и работал там. Пойдемте немного погуляем. Вы мне расскажете о себе.

– В родном городе в последний раз я был три года назад. Казалось, и войны-то никакой нет: на улицах зелень, цветы. Я долго бродил по центру от старой ратуши до рынка. Только вечером затемнение напомнило мне о войне.

– Да, военное затемнение, – вздохнул Вольф. – Я всегда любовался Штутгартом, сверкающим мириадами огней. Чудесная картина! По своей красоте она, пожалуй, не уступит панораме ночного Будапешта или Венеции… А сейчас мрак, темная ночь над всей Германией.

Вольф смотрел прямо перед собой, в пустоту. Помолчав, он спросил:

– Как вы думаете, почему немецкий народ докатился до такого состояния?

– Этот вопрос мне и самому не давал покоя под Сталинградом ни днем ни ночью. Народ наш сам по себе неплохой. Если же говорить о молодежи, которой в 1933 году не исполнилось и двадцати лет, то ее просто-напросто захлестнула политическая шумиха. Эта молодежь еще не имела сложившихся политических убеждений. Я, например, как следует не разбирался в целях борьбы национал-социалистов. Когда разразился новый экономический кризис, мне было пятнадцать лет.

– Кто вы по профессии? – спросил Фридрих.

– Обыкновенный чиновник. Одно время работал в управлении для безработных. Видел нужду простых тружеников. Я понимал, что это несправедливо, но не знал, как найти выход из создавшегося положения. И тут появился человек, который стал

обещать, что он уничтожит нужду, даст каждому работу и хлеб, сделает Германию сильной и великой.

– А вы разве не знали, как жестоко и бесчеловечно расправляются гитлеровские молодчики с теми, кто не согласен с ними… с коммунистами и социал-демократами? С либералами и христианами? Вам не приходилось слышать о массовых уничтожениях еврейского населения?

– Господин доктор Вольф! Разумеется, я кое-что знал, и это беспокоило меня. Но все это были лишь частные открытия отдельного человека. О масштабах преступлений против евреев я, конечно, не имел ни малейшего представления. Честно говоря, по своим моральным убеждениям я враг любого убийства и каких бы то ни было жестокостей.

– Коммунисты открыто предупреждали об этом народ, – заметил писатель.

– К сожалению, ни до 1933 года, ни после я не был знаком ни с одним коммунистом. У меня были о них смутные представления. Что, например, знал я тогда о коммунистах? Слышал, что все они борцы Рот Фронта, что приветствуют друг друга крепко сжатыми кулаками, что устраивают жаркие диспуты, что вывешивают лозунги, украшенные пятиконечной звездой, серпом и молотом, что расклеивают на стенах домов листовки с воззваниями, и только! Разве могло только это воодушевить? Как я мог знать тогда правду?

– Значит, в то время вам больше импонировали молодчики из СА?

– До 1933 года для меня лично было как-то все равно, идет ли речь о бойце Рот Фронта или же о парне из СА. Я старался оградить себя и от того и от другого. Однако после 1933 года это уже не удалось. Мне тогда казалось, что нацистская партия способна добиться многого, и потому я вступил в нее. Что касается внутренней политики, то третья империя казалась мне лучше Веймарской республики. Потом началась война. Сначала я очень испугался, но постепенно успокоился, так как на первых норах все шло гладко. Вот в этом я себя теперь и упрекаю. Я покорно признал тогда тезис нацистов: «Правильно то, что полезно».

Некоторое время мы шли молча. Потом я снова заговорил:

– Остальное вы знаете сами. Чтобы прозреть, мне пришлось побывать под Сталинградом и пережить там нашу катастрофу.

Писатель задумчиво улыбнулся и сказал, обращаясь ко мне:

– Прозреть никогда не поздно! Стыдно и обидно за тех офицеров, которые тоже много пережили, однако упорствуют в своих заблуждениях. Что же нужно для их прозрения? Ваше

поколение стоит сейчас перед той же дилеммой, что и мы в годы первой мировой. Необходимо отвернуться от войны, которая ведет нацию к катастрофе, и сплотить все миролюбивые силы страны. На этот путь я лично встал четверть века назад. С тех пор вся моя жизнь получила новый смысл. Движение «Свободная Германия» основано на тех же самых принципах. И тот, кто поверил этому движению, постарается сбросить с себя груз прошлых ошибок.

Личность Фридриха Вольфа произвела на меня огромное впечатление. Внешне писатель выглядел тоже очень привлекательно: стройная фигура, средний рост и красивое волевое лицо с умными веселыми глазами. Он был и врачом, и писателем, и политиком. Никогда раньше мне не приходилось встречаться с подобным человеком. Как врач, Вольф страдал от противоречий между своей гуманной профессией и бесчеловечной действительностью. Подобное состояние я пережил на дивизионном медпункте. Конечно, Фридрих Вольф понимал гуманизм глубже, чем я. Не только как медик, но и как политический и общественный деятель. Он не только решительно выступал против массового уничтожения людей в ходе войны, но и нашел свое место в рядах революционного рабочего движения. Его произведения призывали к миру. «Весь мир должен родиться заново!» – так пели восставшие крестьяне в его «Бедном Конраде».

Встреча с Фридрихом Вольфом была для меня как подарок судьбы. Я понял, что выбрал правильный путь.

Два дня спустя Вольф, прощаясь, пожал мне руку как другу.

Вскоре к нам в лагерь снова приехала делегация от Национального комитета. В нее входили д-р Вольф, майор Гоман и лейтенант Ейнзидель. Через несколько дней вместе с ними уехали несколько наших офицеров. По слухам, в Лунево создавался «Союз немецких офицеров».

На первых порах мы, разумеется, не представляли себе, какую задачу будет выполнять вновь создаваемый союз. Мы хорошо знали, что большинство старших офицеров выступило против манифеста. Они утверждали, что призыв к солдатам «проложить себе путь на родину» есть не что иное, как призыв к силам, борющимся на фронте. К тому же старшие офицеры не хотели сотрудничать с коммунистами Национального комитета.

Чтобы шире развернуть агитацию среди офицеров, группа прогрессивно настроенных офицеров и решила создать такую организацию, которая по своим целям была бы идентична с Национальным комитетом, но имела бы собственное руководство и проводила бы определенную работу по своему плану.

В Елабугу прибыли два человека из инициативной группы по

созданию такого союза. Познакомив офицеров с целями и задачами новой организации, эти товарищи сумели привлечь на свою сторону несколько десятков пленных офицеров. Еще каких-нибудь недели две назад эти офицеры решительно выступали против Национального комитета. Отравленные ядом антикоммунистической пропаганды, они не могли решиться на союз с коммунистами, хотя и были настроены против гитлеровского режима. Позже, обретя известный опыт, они стали сотрудничать и с коммунистами.

В нашем лагере делегатов в «Союз немецких офицеров» оказалось человек пятнадцать, среди них майор Бернгард Бехлер, капитан Пауль Маркграф, священник Йозеф Кайзер. Даже старший лейтенант Ганс Хубер и тот попал в число делегатов, что очень и очень удивило меня, так как я прекрасно знал его как закоренелого сторонника гитлеризма и отнюдь не замечал, чтобы в нем происходили какие-нибудь изменения.

– Твой знакомый доктор Хубер тоже едет в Лунево, – сказал я как-то Мельцеру.

– Ему лучше знать, что он делает, – коротко ответил Мельцер.

Спустя три недели до нас дошло официальное сообщение о создании «Союза немецких офицеров». Вернувшись из Лунево, капитан Маркграф и другие офицеры рассказали на собрании о том, как был создан этот союз. Потом к нам в лагерь поступил номер газеты «Фрайес Дойчланд» от 15 сентября 1943 года. В нем можно было прочитать следующее:

«И и 12 сентября 1943 года под Москвой в присутствии более ста военнопленных офицеров, приехавших из пяти лагерей, и многочисленных представителей Национального комитета „Свободная Германия“ был создан „Союз немецких офицеров“.

Далее сообщалось о генералах, которые стали членами комитета союза!

Президент союза – генерал артиллерии фон Зейдлиц. Вице-президенты – генерал-лейтенант Едлер фон Даниельс, полковник Хоовен и полковник Штайдель, генерал-майор д-р Корфиси, генерал-майор Латман. Все они были видными фигурами разгромленной 6-й армии. Из нашего лагеря в руководство союза были избраны священник Кайзер и майор Бехлер. Старший лейтенант д-р Хубер вошел в рабочий штаб союза в Лунево.

«Союз немецких офицеров» объявлял «… борьбу против гитлеровского режима, за создание правительства, облеченного доверием народа, правительства, способного обеспечить стране мир и счастливое будущее».

Союз признал программу «Свободной Германии» и решил примкнуть к ней. Генерал фон Зейдлиц и генерал-лейтенант

Едлер фон Даниельс подкрепили это решение, став вице-президентами Национального комитета «Свободная Германия».

Налаживающееся сотрудничество обоих союзов говорило о взаимном признании. Лед недоверия генералов и офицеров к антифашистам-эмигрантам в ходе личных контактов постепенно таял. Что касается офицерского лагеря в Елабуге, то положение здесь после организации союза мало чем изменилось.

Особое впечатление произвела на меня заключительная часть воззвания «Союза немецких офицеров»:

«Мы, оставшиеся в живых генералы, офицеры и солдаты 6-й немецкой армии, обращаемся к вам, чтобы указать нашей родине и нашему народу путь к спасению.

Вся Германия знает, что значил для нас Сталинград.

Мы прошли через пекло.

Нас объявили погибшими, но мы возродились к новой жизни.

Молчать дальше мы не можем!

Мы, как никто другой, имеем право говорить не только от своего имени, но и от имени погибших под Сталинградом товарищей».

Но вся ли Германия знает, что произошло в Сталинграде, на берегах Волги? Я сомневался в этом. Тем более нужно предупредить наш народ об этом.

«Мы, офицеры и генералы 6-й армии, не хотим, чтобы жертвы, принесенные нашими товарищами, оказались напрасными. Горький урок, полученный в Сталинграде, заставил нас сделать для себя выбор. И теперь мы обращаемся к народу и солдатам, и прежде всего к руководителям армии, генералам и офицерам вермахта.

В ваших руках – собственная судьба!»

Было очень отрадно, что четыре генерала 6-й армии подали свой голос. Это, конечно, отнюдь не снимало с них вины за прошлое, но и не увеличивало ее. Их заявление поднимало дух у оставшихся в живых солдат.

Но где же фельдмаршал? Почему он молчит? Где остальные семнадцать немецких генералов, попавших в плен? Почему молчат они?

Надежды и треволнения

Антифашисты лагеря много учились. Мы вели постоянные дискуссии, проводили собрания. Их организовывали члены комитета «Свободная Германия» и один полковник – полномочный представитель «Союза немецких офицеров». В основе всей нашей деятельности лежал манифест Национального комитета и призыв «Союза немецких офицеров».

Я частенько беседовал с одним капитаном из Карлсруэ. Он двенадцать лет прослужил в рейхсвере и после введения закона о всеобщей повинности получил звание лейтенанта. Он остался единственным офицером из батальона. Капитану чудом удалось спастись.

– И зачем только я остался жив? Лучше бы меня убили, – со стоном говорил он. – Что я скажу родным моих погибших товарищей, если вернусь домой?

– Это, конечно, нелегко, – ответил я. – Но никому из них не было бы легче, если б убили и вас. Не вы виноваты в нашем поражении, а те, кто затащил нас на берега Волги и заставил сражаться до последнего патрона.

– Я понимаю, чего вы, антифашисты, хотите. Но я, как офицер, не нарушу присяги.

Я видел, что капитана терзают угрызения совести. Мне это было хорошо знакомо. Я старался объяснить ему, как следует в данной ситуации относиться к присяге.

– Возможно, вас больше убедит генерал-майор Латман. Послушайте, что он пишет в газете «Фрайес Дойчланд».

И я прочитал ему следующий отрывок:

«… Мы никогда не приносили присяги быть „господами Европы“. Мы клялись господу богу быть верными его слугами, когда речь будет идти о существовании Германии. А человек, которому мы приносили эту присягу, обманул нас. Теперь же мы обязаны и ответственны только перед нашим народом».

– Возьмите эту газету себе. А завтра утром отдадите, – предложил я.

На следующий день я опять встретился с капитаном. Мы не один раз говорили с ним по душам. И вот однажды он пришел ко мне в комнату и сказал:

– Я понял, что вы правы. Проводите меня, пожалуйста, в клуб. Я хочу вступить в одну из лагерных групп антифашистов.

Так капитан из Карлсруэ сделал первый шаг навстречу новой жизни.

Мне пришлось быть свидетелем многих таких поступков. Так,

один молодой офицер генерального штаба, перед фамилией которого стояло «фон», на одном из наших собраний буквально расплакался:

– Вы оказались правы. То, что Гитлер сделал с Германией, не что иное, как преступление. Но вся моя беда в том, что я родился в семье потомственного офицера, где никто и никогда не нарушал присяги. И, если я сделаю это, все будут считать меня бесчестным.

Этот офицер хотел остаться нейтральным. Каждый раз при встрече он по-дружески здоровался со мной. С тех пор он уже не принимал никакого участия в различных сборищах, устраиваемых убежденными фашистами.

К великому моему сожалению, Мельцер все еще находился в числе тех, кто оставался верным приверженцем гитлеровского режима. Откровенного разговора со мной он избегал. При встрече мы говорили друг другу «добрый день» или «добрый вечер», и только.

Однажды Мельцер добровольно записался в бригаду, которая валила лес (он полностью оправился от болезни и хорошо себя чувствовал). Бригада эта работала в лесу, недалеко от нашего лагеря. Мы стали встречаться еще реже – от случая к случаю.

В октябре Гельфрид Гроне попрощался с нашим лагерем. Я очень сожалел об этом: ведь мы так часто беседовали с ним. Вместе с двадцатью семью антифашистами Гроне уезжал в красногорский лагерь, под Москву.

– Не задерживайся здесь, приезжай к нам, – сказал он, пожимая мне руку.

Я, откровенно говоря, не отказался бы поучиться в красногорской школе, однако число мест было там ограничено.

Все наши группы систематически занимались. Новые инструкторы, по фамилии Книтель и Вагнер, вели у нас семинары по темам: «Сущность и цели фашизма» и «Характер и цели войны, развязанной Гитлером» и, кроме того, семинар «Основы марксистской философии». На наши занятия разрешалось приглашать гостей. Помимо этого, для всех пленных проводились политические занятия и общеобразовательные лекции.

***

Я начал изучать два фундаментальных труда марксизма-ленинизма: «Анти-Дюринг» Энгельса и «Империализм, как высшая стадия капитализма» Ленина. Эти работы я читал несколько недель, так как разобраться в них мне было не так

легко.

«Анти-Дюринг» восхитил меня своей композицией: философия, политическая экономия и научный социализм. Тут, по сути дела, были изложены основы марксизма. А как остроумно Энгельс разделал под орех Дюринга! Правда, в книге встречались места, которые были мне не по зубам. Особенно трудно далась мне первая часть книги – философский раздел.

Философскими вопросами я занимался только в школе. Кое-что читал у Канта и Шиллера.

В «Анти-Дюринге» я познакомился с совершенно иной философией.

Каких-нибудь несколько недель назад меня вообще не интересовал ни марксизм, ни коммунизм. Больше того, я даже враждебно относился к ним. Манифест «Свободной Германии» открыл мне глаза на многое, а в «Кратком курсе истории ВКП (б)» и «Анти-Дюринге» я нашел теоретическое обоснование мучившим меня вопросам.

Большое впечатление произвело на меня и произведение Ленина об империализме. Читая эту книгу, я невольно вспомнил отца моего друга, который в двадцатых годах работал в Советском Союзе. Он называл Ленина гениальным вождем Великой Октябрьской социалистической революции и Советского государства. В этом труде Ленин предстал передо мной как ученый, который помог мне разобраться в экономике Германии. Некоторые места книги я перечитывал по нескольку раз. Ленин открыл мне «секрет» возникновения современных войн.

Я понял, что обострение противоречий капитализма неизбежно ведет к войне, а стремление империалистических держав к переделу уже поделенного мира чревато военными конфликтами и катастрофами.

На берегах Волги и по дороге в плен меня не раз терзал вопрос: «Неизбежна ли была эта война?» Неужели правы те, кто неустанно твердят, что войны всегда были и будут? У Ленина я нашел и объяснение причин возникновения первой и второй мировых войн. Вильгельм Второй в свое время требовал для Германии «места под солнцем». Гитлер назвал это иначе – «жизненным пространством». Немцы двух поколений, отцы в 1914-1918 годах и сыновья начиная с 1939 года, во вред себе и нации следовали этим фальшивым лозунгам империалистов.

Ленин разоблачил империализм, заявив, что империализм чреват войнами. Одновременно Ленин указал и на тот факт, что империализм – это эпоха социальных революций, так как обострение противоречий в лагере империализма ослабляет его фронт в целом. В результате в империалистической цепи

появляется слабое звено, что дает возможность пролетариату захватить власть в свои руки.

Меня потрясла знаменитая теория Ленина о победе социализма в нескольких или даже в одной, отдельно взятой стране. Русский пролетариат доказал правильность этого учения в октябре 1917 года.

«Интересно, какие изменения произойдут после окончания второй мировой войны? – невольно спрашивал я самого себя. – Что будет с Германией?»

Точного, ответа на эти вопросы я пока не мог найти.

***

Каждую неделю, иногда, правда, нерегулярно, мы получали свежий номер «Фрайес Дойчланд». Из Нью-Йорка нас приветствовали многие знаменитые соотечественники. Томас Манн писал: «Манифест Национального комитета „Свободная Германия“ кажется мне естественным и законным продолжением призыва, с которым западные демократы недавно обратились к Италии: избавиться от фашистского режима и обрести право стать членом Организации Объединенных Наций». Католический политик Хубертус принц фон Левенштайн также одобрительно отозвался о создании Национального комитета. Из Англии, Мексики и других стран приходили известия о признании «Фрайес Дойчланд». Так постепенно наша организация превратилась в политический и организационный центр немецкого антифашистского движения и во многих капиталистических странах.

Статьи и выступления членов Национального комитета и правления «Союза немецких офицеров» касались вопросов антифашистского движения. В одном из своих докладов Вальтер Ульбрихт в октябре 1943 года провозгласил лозунг «Отступление к границам рейха!»: «Организованный отход к границам рейха – единственная возможность для сопротивления. Каждый солдат и офицер обязан сейчас выше всего ставить интересы жизни, а не связь с Гитлером».

В лагере разгорелись жаркие споры по этому поводу.

– Узнав об этом, наши генералы сойдут с ума, – сказал мне сосед по комнате. – У нас в руках главные козыри.

– Вот как?! – удивился я. – Как можно говорить об этом после нашего поражения на Волге и разгрома под Курском?

– Войска вермахта находятся сейчас в Крыму, то есть более чем в полутора тысячах километров от границ рейха, а от Киева –

в тысяче двухстах километрах. Так что пока еще никакой опасности нет!

– Разве вы не понимаете, – возразил я ему, – что такое расстояние и есть гарантия победы? Немецкие планы на блицкриг давным-давно рухнули. Противник превосходит Германию в живой силе и технике. Войска Красной Армии непрерывно гонят немецкие войска на запад.

– Русские никогда не побьют нас своими силами. На западе же у нас – Атлантический вал. И англичанам и американцам вряд ли удастся его прорвать. А потом, кто знает, быть может, уже сейчас идут переговоры о заключении сепаратного мира. Кроме того, у нас есть еще чудо-оружие.

– Да ведь это ни больше ни меньше, как самая настоящая спекуляция! Если вы здраво оцените события на фронте начиная с осени 1942 года, то увидите, что вермахт потерял инициативу на фронтах!

– И все же я не верю, что Германия проиграет эту войну. Тем более я не могу допустить мысли, что немецкие генералы добровольно отведут свои войска к границам рейха.

Разговор наш зашел в тупик.

Действительно, лозунг об отводе войск к границам рейха разоблачал бессмысленные цели фашистских заправил и препятствовал превращению Германии в театр войны. И в то же время такая акция послужила бы сигналом для начала восстания в Германии и способствовала бы свержению гитлеровского режима немецкими антифашистскими силами. Многие пленные отнеслись к этому лозунгу отрицательно.

Временами на меня самого находили сомнения. Я видел, что деятельность Национального комитета и «Союза немецких офицеров» не находит еще должного отклика на фронте и в самой Германии. Но я был твердо убежден в правильности требований комитета.

В каждом номере газеты печатались комментарии о положении на фронте. Они были написаны с таким знанием дела, что даже офицеры генерального штаба с одобрением отзывались о них. Под этими комментариями обычно стояла подпись – Карл Марон. Все у нас гадали, кто же скрывается за этой фамилией.

Пленные генералы и полковники из «Союза немецких офицеров» стали все чаще и чаще обращаться к генералам вермахта с различными призывами. Газета «Фрайес Дойчланд» опубликовала в одном из своих номеров открытое письмо генерала фон Зейдлица командующему 9-й армией генерал-полковнику Моделю. В своем приказе от 16 сентября 1943 года Модель сделал попытку как-то объяснить отступление на востоке.

Зейдлиц же разоблачил ложные утверждения Моделя о необходимости выиграть время. Зейдлиц писал буквально следующее:

«Факт остается фактом: путь русских к границам рейха стоит им многих жертв. Но не следует забывать, что немецкой восточной армии придется понести еще большие жертвы. Русские относительно легко смогут восполнить свои потери. Мы же этого сделать не сможем. Вся опасность нынешнего момента состоит в том, что война приближается к границам рейха. Солдаты вермахта должны отвратить эту опасность! И не путем продолжения этой бесперспективной и бессмысленной войны, а путем отказа повиноваться Адольфу Гитлеру!»

Генерал Зейдлиц призывал Моделя оставить русскую территорию и вместе с другими командующими армиями отвести свои войска к границам Германии, создав тем самым предпосылки для заключения мира.

Другие командующие армиями тоже получили подобные письма, но ни генерал-полковник Модель, ни его коллеги никак не прореагировали на эти послания. Все они, за немногим исключением, остались верны Гитлеру. Прикрываясь разглагольствованиями о верности присяге, они продолжали посылать на верную гибель миллионы немецких солдат.

Однако несмотря ни на что, Национальный комитет и «Союз немецких офицеров» делали все возможное, чтобы ускорить свержение гитлеровского режима. Их деятельность открыла глаза тысячам гитлеровских солдат и офицеров и фактически спасла им жизнь. Однако этих результатов было недостаточно. Ни один из немецких полководцев не повернул подчиненные ему войска к границам рейха. Нам, антифашистам, не оставалось ничего другого, как ждать. Мы учились, от корки до корки прочитывали газеты, спорили. Каждый день у нас был наполнен до краев.

***

В лагере полным ходом шли приготовления к рождеству. Наши лесорубы принесли огромную елку. Кто делал игрушки из бумаги, кто раскрашивал их красками. Хор пленных разучивал рождественские песни. Служители культа готовили торжественные проповеди.

И вот настал долгожданный рождественский вечер. Торжество началось в столовой. Казалось, яблоку негде было упасть. Сотни глаз устремились на елку, на которой горели редкие свечи. Хор запел: «Тихая ночь, святая ночь…» С короткой

речью выступил уполномоченный «Союза немецких офицеров».

Потом началось богослужение. Я вышел во двор, на мороз. С темного неба светили мириады звезд. Они светили и мне и дорогим мне людям: моей жене, моему сыну.

Мысленно я перенесся в родной дом. Как там Эльза и Хельмут? Живы ли они, здоровы ли? А как поживают мои родители в Штутгарте? Интересно, где сейчас мой брат?

Беспокойство за родных слилось с тревогой за товарищей, за родину, к границам которой приближался шквал огня и смерти, угрожая всей Германии новым Сталинградом.

Комитет «Свободная Германия» указал мне новый путь. Значительно выросло и число членов «Союза немецких офицеров». В лагере все заметнее стал раскол между прогрессивно и консервативно настроенными офицерами. Фанатичные нацисты подняли голову. В одной из комнат они даже пели гимн «Хорст Вессель». Приверженцы Гитлера всячески старались оказать давление на тех, кто симпатизировал движению «Фрайес Дойчланд». А когда в начале января 1944 года Национальный комитет начал пропагандировать в газете «Фрайес Дойчланд» решение конференций в Москве и Тегеране, выступая за суверенитет Австрии, началась буквально травля антифашистов. Прибывшая из Лунево делегация военнопленных во главе с генералами Латманом и Шлемером была «подавлена» морально. Террор против прогрессивно настроенных пленных отрицательно повлиял на колеблющихся.

Я это почувствовал на приеме одного инженера. Он попал в плен под Сталинградом, а до этого состоял в организации «Тодта». Мы довольно часто беседовали с ним, и он полностью одобрял деятельность комитета.

– Я, разумеется, согласен с вами, – сказал он мне перед самым рождеством. – Однако я не хотел бы быть просто попутчиком. Я хочу еще раз сам изучить все материалы и подумать, как я лучше могу вам помочь. Завтра, самое позднее послезавтра, я приду к вам…

Когда же в конце января я напомнил о его обещании, инженер смутился.

– Знаете ли, – начал он, – все это довольно сложно. Меня несколько смущает отношение вашего комитета к Австрии.

– А почему? Ведь Национальный комитет довольно ясно объяснил, что Австрия в 1938 году была насильственно присоединена к рейху. Теперь же австрийцы сами должны решать свою судьбу. Вы разве с этим не согласны?

– Вы знаете, я об этом много думал. Когда я вернусь домой, мне, как архитектору, работы хватит. Разрушенного везде много,

и все нужно заново восстанавливать.

Так что зачем мне ломать голову из-за какой-то политики? Я хочу пожить спокойно.

Пожав мне руку, он удалился.

В феврале газета «Фрайес Дойчланд» сообщила о событии, которое взбудоражило весь лагерь. Это было сообщение о том, что западнее Черкасс на Днепре, под Корсунь-Шевченковским 28 января 1944 года были окружены десять немецких дивизий. Трагедия, случившаяся с нами зимой 1942/1943 года на Волге, повторилась. Как и год назад, советские ударные части взяли немецкие войска в клещи. От берегов Днепра до Шендеровки было семьдесят километров, то есть точно такое же расстояние, как от Сталинграда до Мариновки. Среди окруженных войск оказался 11-й армейский корпус – преемник разгромленного под Сталинградом корпуса генерал-полковника Штрекера. Попали в котел вновь сформированная 389-я пехотная дивизия и части 14-й танковой дивизии. Как и под Сталинградом, для обеспечения попавших в котел войск был выделен 8-й авиационный корпус. Однако и здесь это обеспечение не было налажено. Гитлер же строго-настрого запретил войскам сдаваться в плен.

Танец смерти 6-й армии повторился!

Национальный комитет и «Союз немецких офицеров» послали на фронт большое число своих уполномоченных. В части 1-го и 2-го Украинских фронтов были откомандированы полковник Штайдель, майор Энганбрехт, лейтенант Когельген и другие. Они выступали по радио, писали листовки и открытые письма окруженным. Они говорили о том, какой урок следует извлечь из поражения под Сталинградом, рассказывали о безнадежном военном, политическом и экономическом положении гитлеровской Германии.

Наши уполномоченные фактически вели ожесточенную борьбу за жизнь немецких граждан. В результате их деятельности восемнадцать тысяч человек сдались в плен и тем самым избежали бессмысленной гибели. Но среди войск, попавших в котел, были одна танковая дивизия СС и одна бригада СС. А они, вернее их командиры, казалось, готовы были пойти на любое безрассудство, лишь бы не плен. Но у них фактически не было ни артиллерии, ни танков.

Поле битвы представляло собой настоящее кладбище. Кругом – множество трупов. И среди них – труп командира 11-го армейского корпуса генерала Штемермана. Некоторые предполагали, что его застрелили по приказу эсэсовского генерала Гилле. Очевидцы утверждали, что Штемерман не хотел подчиниться приказу фюрера.

Восемнадцать тысяч солдат пошли по пути, указанному Национальным комитетом, и остались в живых. Но пятьдесят пять тысяч поплатились своей жизнью по вине Гитлера и неистовых генералов.

К окруженным под Корсунь-Шевченковским часто обращались по радио немецкие борцы за свободу, находившиеся в Советском Союзе. В феврале и марте 1944 года газету «Фрайес Дойчланд» ждали в Елабуге с особым нетерпением. Неужели окруженные не внемлют голосу разума? Неужели они не прислушаются к голосу Национального комитета?

Национальный комитет добился лишь частичного успеха. Генерал Штемерман, здраво оценив создавшееся положение, заявил своим солдатам, что попытка совершить прорыв безнадежна и неминуемо приведет к катастрофе. За это эсэсовский генерал Гилле отстранил его от командования, так как строго придерживался правила фюрера «Мы никогда не капитулируем!». Генерал-фельдмаршал Манштейн и генерал танковых войск Хубе, войска которых были вне котла, тоже остались верными сторонниками Гитлера. Таким образом, трагедия немецких войск под Корсунь-Шевченковским снова показала, что ответственные гитлеровские генералы не способны порвать с фюрером.

Начался развал восточного фронта. Из решений Тегеранской конференции мы узнали, что уничтожение гитлеровского режима будет осуществляться комбинированными ударами с востока, запада и юга.

Новая ситуация потребовала от Национального комитета сменить лозунг об отходе войск вермахта к границам рейха на лозунг о создании свободной и миролюбивой Германии. Антифашисты призывали к решительным действиям: прекращать сопротивление и переходить на сторону Национального комитета «Свободная Германия». Этот призыв указывал солдатам и офицерам ясную политическую цель: сдаваясь в плен, вы не просто сдаетесь в плен, а делаете очень важный и ответственный шаг для того, чтобы поскорее покончить с войной, свергнуть в Германии гитлеровский режим и приступить к строительству новой, свободной Германии. Этот лозунг призывал немецкий народ решительно выступить против фашизма и войны. Этот лозунг стал общим лозунгом всех антифашистских сил до самого конца войны.

Но закоренелые нацисты лагеря не собирались искать виновников катастрофы Германии. Они упорно стояли за гитлеровский режим. Они ненавидели Советский Союз и антифашистское движение в Германии. И они продолжали петь

фашистскую песню: «Мы будем маршировать дальше, если даже все будет трещать по швам…»

Между тем над Германией нависала серьезная угроза. Возникал вопрос: что же будет, если Красная Армия и ее западные союзники вступят в города Германии? Что же станет с Германией?

– Что с вами? – спросил меня как-то политинструктор Фриц Книтель. – Почему у вас такой мрачный вид?

Я попытался объяснить, что со мной происходит:

– Почти год назад Национальный комитет обратился к солдатам с призывом покончить с войной, но война все продолжается, хотя абсолютно ясно, что для Германии она безнадежно проиграна. Каждый день война уносит тысячи жизней. Над городами Германии летают бомбардировщики противника. А тактика «выжженной земли» в неимоверных размерах увеличивает вину Германии. И мы ничего не можем изменить, не можем прекратить эту трагедию.

– Человек, занимающийся политикой, должен иметь терпение, – ответил мне инструктор. – Вы требуете от Национального комитета, чтобы он в течение каких-нибудь нескольких месяцев сделал чудо – разубедил бы армию и народ. Вы забываете, что нацисты отравляли их ядом своей пропаганды больше десяти лет. А действенность Национального комитета вы, видимо, почувствовали на себе самом.

– Но я думал, что катастрофа наших войск на Волге, на Дону и под Курском должна ускорить процесс изменения взглядов, – перебил я инструктора.

– Вы имеете в виду некоторых лиц из нашего лагеря, которые все продолжают верить Гитлеру. Не всем сразу вложишь правду в голову. Мы, коммунисты, несмотря ни на что, не теряем веры в дело рабочего класса.

– Я удивляюсь стойкости коммунистов и завидую их решительности.

– Гитлеровский режим будет свергнут. Война кончится, – убежденно сказал Книтель. – И, чем больший вклад в это дело внесут сами немцы, тем лучше будет послевоенное устройство Германии. Именно поэтому коммунисты и считают самой насущной задачей нашей нации активизацию немцев. И мы свергнем Гитлера не только потому, что он проиграл войну, а потому, что он ее развязал.

На лице политинструктора застыло выражение решимости.

– Захватнические войны – это бедствие нашей нации. Мы должны создать такие условия в Германии, чтобы сделать невозможным в дальнейшем подготовку таких войн. Поэтому

Национальный комитет в своем манифесте выступает за создание сильной демократической власти. Время в плену нужно использовать для учебы. Необходимо изучить основы марксизма-ленинизма. А уж потом вы сами решите, по какому пути вам идти.

– Я уже сделал выбор, но, откровенно говоря, без соответствующей подготовки приходится трудно. Литературы так много, что легко запутаться.

Книтель улыбнулся:

– Вам можно помочь. Слышали про антифашистскую школу в Красногорске? Ближайшие курсы начинаются в мае. Так что подумайте об этом.

Антифашистская школа!

Группа офицеров из нашего лагеря, в том числе и Гельфрид Гроне, в октябре 1943 года уехала в Красногорск. Курсы были шестимесячные, так что скоро должен быть новый набор. Само собой разумеется, я очень хотел попасть в эту школу.

Спустя некоторое время я встретил в клубе одного преподавателя из красногорской школы. Это был уже немолодой, лет пятидесяти, мужчина с седой шапкой волос над высоким лбом. Звали его Герман Матерн.

– Мне сказали, что вы хотите поехать учиться в антифашистскую школу? – спросил он меня, как только я подошел к нему.

– Я хотел бы получить правильное представление о немецкой истории и познакомиться с основами марксизма-ленинизма.

– Желание учиться – похвальное желание, – сказал мой собеседник. – И правильное представление о немецкой истории вы получите. Однако марксизм-ленинизм – это мировоззрение рабочего класса, мировоззрение, которое предусматривает коренное изменение мира путем политической борьбы. Вас это не пугает?

– Мои родители ничего не знали о марксизме, хотя ни фабрик, ни земли у нас не было. Но я плохо знал жизнь. И теперь у меня нет никакого желания еще раз попасть в беду из-за собственного неведения. За последнее время я познакомился с некоторыми произведениями марксизма. Они открыли мне глаза. Они же и разбудили во мне желание учиться.

– Ну что ж, хорошо, посмотрим.

Интермеццо

Как-то в середине мая у нашего лагеря остановились восемь прилично одетых мужчин. Я был одним из восьми. Перед нашим отъездом из Елабуги начальник лагеря приказал заменить нам рванье на что-нибудь получше, чтобы производили более приличное впечатление. Мы ехали в красногорский лагерь.

Сначала мы добрались до лагеря на Каме, где нас ожидали товарищи. На следующий день нас уже было сорок человек – будущих слушателей антифашистской школы. За небольшим исключением, все мы пережили битву на Волге.

Каждый из нас уже несколько месяцев назад решил выступить против Гитлера и войны.

Каждый из нас хотел видеть в Германии сильное демократическое миролюбивое государство. И, как доказательство нашей решимости, все мы летом 1943 года сорвали со своих френчей нашивки с орлом. Но с орденами или орденскими планками поступили так далеко не все. Некоторые их владельцы считали, что награды красноречиво говорят о заслугах. И действительно, Рыцарский крест производил впечатление!

Настоящие антифашисты, однако, не долго размышляли над тем, что им делать с фашистскими орденами, – они быстро спустили их в Каму.

По Каме мы плыли на большом пароходе. Перед посадкой на пароход сопровождавший нас старшина тщательно пересчитал всех, похлопывая каждого по плечу. Места нам выделили очень удобные.

На пристани пароход стоял часа два. Сначала выгружали, а потом грузили какие-то ящики и мешки. С чувством удовлетворения мы увидели, что старшина и два солдата, сопровождавшие нас, погрузили на борт парохода много всевозможной провизии.

Затем команда парохода стала пополнять запасы пресной воды. Все пассажиры помогали им: ведра с водой передавали по цепочке из рук в руки.

Наконец раздался гудок парохода. Плыли мы семь дней и семь ночей.

Человек, который предпринимает путешествие по русским рекам, должен иметь достаточно свободного времени. Делать нас ничего не заставляли, так что недостатка во времени мы не чувствовали.

Постепенно мы вжились в ритм пароходной жизни. В восемь часов завтракали, потом занимались кто чем. Иногда, забравшись

на верхнюю палубу, я встречал восход солнца, любуясь прекрасными пейзажами по берегам.

Один берег был пологий, другой – обрывистый. Оба берега покрыты лесами. Изредка их прорезали овраги, и тогда виднелась голая желтая почва. Можно было плыть несколько часов и не увидеть никакого селения. Лишь иногда неожиданно на берегу появлялись бревенчатые избы. Под вечер первого дня наш пароход подплыл к Чистополю. Здесь мы долго стояли.

Высадка на берег, посадка, выгрузка-погрузка – все это за время нашей поездки пришлось проделать не раз.

Чем дальше мы плыли по Каме, тем шире становилась река, принимавшая в себя десятки мелких речек. Перед впадением в Волгу река разлилась почти на несколько километров.

К вечеру следующего дня на правом берегу Волги показалась Казань.

Политинструктор Вагнер рассказал нам, что Казань – столица Татарской автономной социалистической республики. В 1939 году население республики насчитывало четыреста тысяч человек, в то время как в 1926 году здесь проживало всего лишь сто восемьдесят тысяч. Казань – город с богатой историей. Давным-давно татаро-монголы, пришедшие с востока, закрепились на берегах Камы и Волги. Спустя два столетия, в период распада Золотой Орды, один из татарских ханов превратил Казань в центр своих владений. Казанские ханы жестоко угнетали не только своих соплеменников, но и все нетатарское население по среднему течению Волги. Кроме того, они постоянно нападали на исконно русские земли. Долгие годы продолжалась война русских с татарами. Наконец в 1550 году русские взяли Казань. Татарское ханство распалось, а все татарские земли были присоединены к России.

– Это произошло при Иване Грозном? – спросил я. – А как оценивают войну русских с татарами марксисты? По-видимому, со стороны русских это была справедливая, оборонительная война? Однако можно ли признать справедливым сам факт захвата территории?

– Тогда Россией правил царь Иван Грозный. И русские действительно вели оборонительную войну против татар. Само собой разумеется, справедливую войну. Присоединение татарских земель к России положило конец татарскому игу. Объективно это нужно рассматривать как прогрессивное событие для татарского народа.

– В чем же был этот прогресс?

– Разрушенная Казань была быстро восстановлена, – ответил политинструктор. – Начался период расцвета торговли и ремесел.

Появился целый ряд укрепленных городов, и среди них Чебоксары, которые мы миновали сегодня утром. Не следует забывать и Казанский университет, основанный в 1804 году. Он пользовался большим авторитетом.

– А разве не на Средней Волге разгорелись крестьянские восстания под руководством Болотникова и Степана Разина? Это было в XVII столетии, то есть после татарского ига. Значит, крестьянам и тогда жилось не сладко?

– Это, конечно, верно, – начал Вагнер. – Русские помещики притесняли татарских крестьян. Они отобрали у них лучшие земли. Различные подати и налоги, которыми облагались крестьяне, выросли до неимоверных размеров. Потому татары и приняли самое активное участие в крестьянских восстаниях, которые вы только что назвали.

– Вот и выходит, что царизм принес татарам не свободу, а ярмо эксплуатации и угнетения?

– Правильно. Однако экономически эти районы сделали значительный скачок. При Петре Великом в России появились первые фабрики, верфи, мануфактуры. На некоторых из них работало более тысячи рабочих. Классовая борьба приняла более острые формы. Возьмем, например, восстание Пугачева. Оно продолжалось с 1773 по 1775 год. В этом восстании принимало участие и татарское население.

– А какие изменения произошли в Татарии после 1917 года? – спросил я.

– Подождите, я вам сейчас все подробно расскажу. Политинструктор раскрыл книгу в синем переплете, которую до сих пор держал под мышкой, и, полистав ее, сказал:

– Вот она, Татарская АССР. В ходе социалистической индустриализации общий уровень промышленной продукции республики перед войной вырос в двенадцать раз по сравнению с 1927 годом. А по электроэнергии, металлообрабатывающей промышленности, машиностроению и химической промышленности цифры были еще выше. После нападения фашистской Германии на Советский Союз, когда крупнейшие промышленные предприятия были эвакуированы в восточные районы страны, значение Татарской республики значительно выросло.

– Могу я задать еще один вопрос?

– Разумеется, задавайте.

– В этой республике живут только татары или же и другие народы?

– Татары составляют половину населения республики, то есть около трех миллионов человек. Более сорока процентов

населения приходится на русских. Кроме того, здесь живут сто сорок тысяч чувашей и сорок тысяч мордвинов. Есть небольшие группы и других национальностей. Все они пользуются равными правами.

– Равными правами? – спросил я. – А в чем это выражается?

– В Верховном Совете республики все национальности, в зависимости от численности населения, имеют своих представителей. Кроме того, в Поволжье образованы Чувашская и Мордовская АССР. Все эти республики входят в РСФСР…

Эта короткая беседа о Советской стране, которая занимает шестую часть земного шара, показала нам, как мало мы знаем о первом социалистическом государстве.

Каждый день приносил новые впечатления. Когда мы выезжали из Елабуги, весна только начиналась, появлялась первая зелень. Спустя же трое суток, когда мы проплыли пятьсот километров в западном направлении, весна полностью вступила в свои права. Оба берега сверкали свежей зеленью. На заливных лугах паслись стада. На полях работали крестьяне. В большинстве это были женщины. Мужчин можно было увидеть очень и очень редко. Вся тяжесть работы в тылу легла на женские плечи.

По вечерам мы делились впечатлениями за день или же пели песни. Потом откуда-то сверху раздавались русские и татарские песни. Каких только песен не пели: и «Казанскую колыбельную», и «Вдоль по Питерской», и «Сулико», и «Бежал бродяга…»!

Самым большим городом на нашем пути был Горький. В Горьковском порту мы встали поздно вечером, так что многого увидеть нам не удалось. И опять политинструктор пришел нам на выручку.

– До 1932 года Горький назывался Нижним Новгородом. Это один из старейших городов России. Основан он в 1221 году князем Владимиром.

– В школе я слышал о нижегородских ярмарках, – заметил один из слушателей. – Это были знаменитые ярмарки. Здесь встречались торговцы со всех уголков России.

– Да, так оно и было, – согласился Вагнер. – Торговля наложила свой отпечаток на этот город. Промышленное производство здесь развивалось по линии строительства пароходов и вагонов. За годы Советской власти город очень изменился. После Москвы и Ленинграда Горький занимает третье место среди промышленных городов РСФСР. Основу промышленности составляет транспортное машиностроение. В рекордно короткий срок в городе был построен автомобильный завод – один из крупнейших заводов первой пятилетки. Вступили в строй также заводы дизель-моторов, фрезерных станков,

деревообрабатывающих машин, текстильные фабрики и так далее.

– Вы все время рассказываете о промышленности, – заметил лейтенант в форме зенитчика. – А какие изменения произошли в области культуры?

– Жаль, что мы не имеем возможности все посмотреть собственными глазами. В царское время здесь было несколько гимназий, торговых школ и духовных училищ. Теперь же в городе больше сотни общеобразовательных школ и детских садов. Кроме того, десятки специальных школ и институтов. В городе три театра, много кинотеатров, около сорока клубов и домов культуры. Горький стал одним из крупнейших культурных центров страны.

– А что вы еще можете рассказать об этом городе? – не унимался лейтенант-зенитчик.

– Вы, наверное, слышали, что в Нижнем Новгороде в 1868 году родился Максим Горький. Горький – это литературный псевдоним писателя Алексея Максимовича Пешкова. В 1892 году после странствий по Руси Горький возвратился в Нижний Новгород и целиком занялся литературной деятельностью. В 1932 году, когда праздновался сорокалетний юбилей литературной деятельности Горького, Советское правительство решило переименовать Нижний Новгород в город Горький. Горький считается основоположником литературы социалистического реализма…

Ночью наш пароход двинулся дальше.

На последнем участке нашего пути мы были буквально ошеломлены, когда увидели канал Москва – Волга. Это было еще одно достижение социализма. Этот канал, построенный в годы пятилетки, решил сразу несколько задач. Во-первых, Волга соединилась с рекой Москвой, и советская столица стала портом пяти морей: Балтийского, Белого, Каспийского, Черного и Азовского. Был создан дешевый водный путь для транспортных перевозок. Кроме того, канал сократил водный путь из Москвы в Ленинград и из Москвы в Горький. Строительство канала улучшило снабжение Москвы питьевой водой и позволило соорудить восемь новых гидростанций, энергия которых влилась в московскую систему.

В предпоследний день нашего пути, на рассвете, мы подплыли к деревне Иванково. Дальше Волга разливалась в Московское море. Потом пошли шлюзы.

Канал произвел на нас огромное впечатление. И не только как гидроэнергетическое сооружение, но и как шедевр архитектуры. По всему было видно, что строили его на века, и не

только прочно, но и красиво.

И вот наконец Химкинский речной вокзал – легкое и красивое сооружение. Дожидаясь автобусов, которые должны были увезти нас в антифашистскую школу, мы уселись в удобные кресла в вестибюле вокзала и с восхищением рассматривали его внутреннее оформление.

Часть четвертая
Условия формируют человека

Немецкая история на перекрестном допросе

До начала курсов оставалось несколько дней, и я решил осмотреться.

Когда я ехал в Красногорск, то надеялся встретить здесь Гельфрида Гроне. Однако меня ждало разочарование. Гельфрид, как и почти все слушатели предыдущих курсов, был послан в лагеря для военнопленных, на антифашистскую работу. Рассказал мне это один знакомый из Елабуги, который учился вместе с Гроне и после окончания остался в Красногорске в качестве ассистента. Он и познакомил меня со школой.

Наш лагерь в Елабуге окружала высокая толстая каменная стена. Антифашистская школа в Красногорске была обнесена лишь двойным рядом колючей проволоки. Далее виднелись бараки, которые, судя по всему, имели непосредственное отношение к школе. Все эти здания были обнесены забором и занимали площадь в несколько сот квадратных метров. Вокруг росли высокие сосны и ели.

В антифашистской школе № 27 помимо немецкого сектора, на котором училось ровно двести человек, были австрийский, венгерский, итальянский и румынский секторы. В каждом из них занималось по сорок-пятьдесят курсантов. Немецкий сектор состоял из шести групп. В них входили как офицеры, так и солдаты.

Каждая группа имела свое специально оборудованное классное помещение и две или три спальные комнаты с двух – или трехэтажными нарами. В полуподвальном помещении находилась аудитория на двести человек. Помимо этого в школе были хорошие библиотека, санчасть, кухня и еще одна аудитория для занятий. Баня и прачечная разместились в зоне № 1, в двадцати минутах ходьбы, в лагере для военнопленных самых различных национальностей. Еженедельно, в строго определенный день, курсантов водили в баню. В лагере № 27 была еще и так называемая зона № 2. Там временно содержались генералы, захваченные в плен под Сталинградом. Таким образом, в Красногорске кроме антифашистской школы под № 27 значились еще два лагеря для военнопленных.

В Красногорске мне предстояло прожить пять месяцев. Это был новый этап в моей жизни. На антифашистскую школу я возлагал большие надежды. Мне хотелось научиться критически мыслить, чтобы твердо стоять на избранном пути.

Как же оправдались мои надежды?

***

В нашей группе № 1 занималось двадцать пять курсантов – представители всех классов и слоев немецкого населения. Тут были и протестанты, и католики, и атеисты. Уроженцы Рейнской области и Пфальца, Берлина, Саксонии и Вюртемберга, даже был один из Восточной Пруссии. Из офицерского лагеря в Елабуге в группу № 1 попало семь человек. Я сразу подружился с некоторыми товарищами. Среди моих друзей оказались Руди – рабочий из Берлина, Макс – доктор философии из Рейнской области, Роман – доктор экономических наук из Гамбурга и, наконец, Пауль – кадровый офицер, капитан, награжденный в свое время Рыцарским крестом.

Возглавлял наш сектор педагог товарищ Рудольф Линдау (в эмиграции он жил под фамилией Грец). На вид ему можно было дать лет пятьдесят. На лице у него выступали фиолетовые пятна, что говорило о нарушении кровообращения. Кроме того, у него сильно болели глаза. Однако, несмотря на все свои недуги, Линдау был весь олицетворение энергии и вдохновения. Все свои силы отдавал он делу партии, делу рабочего класса и нации.

Вскоре мы узнали, что наш учитель с юношеских лет активно участвует в рабочем движении. В годы первой мировой войны Линдау встал на сторону левых социал-демократов и последовательно боролся против империалистической войны. В конце 1918 года он был одним из организаторов Коммунистической партии Германии.

После 1933 года Линдау пришлось немало скрываться от преследований нацистов. Многие из его товарищей и друзей были убиты или брошены в концлагеря. По решению Центрального комитета КПГ Линдау вместе с женой уехал в эмиграцию.

Наша первая встреча с ним произошла в конце мая 1944 года. Тогда мы еще ничего не знали о жизненном пути нашего педагога, однако уже на первых занятиях, когда Линдау знакомил нас с программой курса антифашистской школы, мы почувствовали, что за плечами у этого человека большой политический опыт. В Линдау удачно сочетался революционер и ученый.

– Товарищи! Здесь вы познакомитесь прежде всего с наукой об обществе. История, политическая экономия и исторический материализм, которым мы здесь отдаем предпочтение, помогают создать всеобъемлющую картину общественного развития.

Изучение этих наук поможет лучше познать действительность, проникнуть в сущность тех или иных событий, правильно ориентироваться и правильно действовать…

Правильная ориентировка – это то, чего мне не хватало. Об этом я не раз думал в вагоне эшелона. За время пребывания в лагере в Елабуге меня уже кое в чем просветили, однако сколько еще неясного гнездилось в моей голове…

– Необходимо, товарищи, – говорил далее Линдау, – учесть горькие уроки прошлого. Захватническая война, развязанная фашистами, орудием и жертвой которой вы стали, нанесла вам тяжелые раны. Государственные деятели и командование вермахта бессовестно растоптали вашу веру, ваше доверие. Долгие годы вас считали буквально пушечным мясом. Вам нужно немалое мужество, чтобы признать, как вас жестоко обманули. И сейчас нужно приложить все силы, чтобы разобраться, где правда, а где ложь.

Несколько минут Линдау молчал, словно для того, чтобы сказанное лучше усвоилось.

– Наша школа поможет вам понять сущность, цели и методы фашизма. Мы, учителя, поможем вам встать на верный путь. Но все зависит от вашего желания преодолеть собственные заблуждения. Это главное. Наша задача – поднять миллионы против империализма и нацизма.

Затем преподаватель коснулся непосредственно нашей учебной программы.

– Начнем мы с изучения истории Германии, а именно с крестьянской войны Германии в 1525 году. Это было первое национальное революционное движение масс в Германии. Прежде всего нас будет интересовать отношение различных классов к проблеме национального единства и демократии. Мы подробно рассмотрим, почему в решающие моменты истории демократические силы Германии не раз терпели поражение. Мы будем говорить как о прогрессивных традициях нашего народа, так и об его опасных заблуждениях. Проследим, какую роль сыграл в истории Германии прусский милитаризм. Поймем, как ему удалось поднять огромные национальные силы против Наполеона и почему прусская военщина выступала как против демократических преобразований, так и против национального объединения Германии. Узнаем, почему потерпела поражение буржуазно-демократическая революция 1848 года, как марксисты оценивают деятельность Бисмарка, первую мировую войну, ноябрьскую революцию в Германии и Веймарскую республику. Попытаемся разобраться, каким образом немецкий народ был ввергнут в «коричневую» ночь, какая ложь замаскирована в

теории «жизненного пространства», расовой теории и теории так называемого национального социализма.

Таковы некоторые вопросы, с которыми вы здесь познакомитесь. Все исторические события мы будем рассматривать с точки зрения марксистско-ленинской философии, которая ведущую роль в истории отводит рабочему классу…

В этом месте товарищ Линдау снова сделал передышку. Я невольно вспомнил лекции, прослушанные в Елабуге, после которых мы долго спорили у себя в кружках. Кое-что из того, что нам сейчас рассказывал Линдау, было мне уже знакомо. Но наша учебная программа не исчерпывалась только историей. Повысив голос, лектор продолжал:

– Уроки, извлеченные из истории Германии, свидетельствуют о том, что крупная немецкая буржуазия не раз предавала интересы нации. Такие святые для миллионов немцев понятия, как «нация», «право» и «честь», реакционные силы Германии фальсифицировали и злоупотребляли ими. В ходе занятий вы убедитесь, что на свете нет вечных моральных категорий, а мораль, как и прочие надстройки, понятие классовое. Трудящиеся массы понимают под «правом» и «честью» совсем не то, что банкиры и бароны. Вы познакомитесь здесь с основами общественной и политической жизни, научитесь отличать истинное от ложного. Изучая классовую борьбу современного общества, борьбу буржуазии и рабочего класса, вы сможете лучше определить собственную точку зрения.

Формированию вашего мировоззрения будет способствовать и цикл лекций о Советском Союзе. Вам, которые еще совсем недавно с оружием в руках выступали против первого в мире социалистического государства, эти лекции помогут освободиться от многих заблуждений и ошибок. В этой связи я хочу напомнить слова Томаса Манна о том, что антикоммунизм – самая большая глупость нашей эпохи…

Эти слова Томаса Манна я уже слышал в Елабуге. Они мне врезались в память, так как после всего пережитого под Сталинградом эти слова нельзя было пропустить мимо ушей. Уже тогда во мне родилось страстное желание как можно больше узнать о Советском Союзе. И теперь я очень обрадовался, когда услышал, что наша учебная программа предусматривает и это.

– Примерно с середины курса вы начнете систематически изучать теоретические основы марксизма: политическую экономию, философию, учение о классовой борьбе пролетариата и о государстве. Эти лекции помогут вам представить в перспективе историю развития человеческого общества и убедят

вас, что социализм не сегодня-завтра станет реальностью и в Германии.

На этом, товарищи, я заканчиваю вводную часть своей лекции. Учитесь упорно и помните, что вы не только приобретаете знания, но и формируете свое мировоззрение.

В перерыве у всех только и разговору было, что о вводной лекции Линдау.

– Ну и нахватаемся мы знаний! Голова треснет, – высказался Руди.

– Да, мой дорогой, учиться – это потруднее, чем самая тяжелая работа, – заметил Макс, которого я знал еще по Елабуге. – Меня лично интересует философия.

– Хорошо вам говорить, вы уже учили философию, – сказал берлинец. – А что делать нам? Ведь мы, кроме школы, ничего не кончали!

– Не бойся, – успокоил я его. – Было бы желание. Ты ведь рабочий и должен знать философию собственного класса. Я лично рад, что у нас будет такая программа. Я прямо-таки соскучился по учебе.

***

Наши занятия проходили строго по плану. Ежедневно с восьми утра и до позднего вечера мы или сидели на лекциях, или читали, или получали консультации, или готовились к семинарам. Разговоры и споры не прекращались даже за обедом и во время коротких прогулок, а также вечером, когда все укладывались по своим местам.

– Сегодня Фридрих Рекс действительно отличился, – проговорил Роман, доктор общественно-политических наук, когда мы сидели в столовой. – Если бы мой школьный учитель истории слышал его сегодняшнюю лекцию о реакционном характере пруссачества, его бы хватил удар.

– С каждой лекцией я все больше и больше понимаю, какую скверную политику вели мы и до тридцать третьего года, – заметил я.

– Ничего удивительного в этом нет! Ведь все средства пропаганды находились в руках крупного капитала, а заправилы банков и концернов во что бы то ни стало хотели взять реванш за свое поражение в первой мировой войне.

– Потому они и старались завоевать людские души, – высказался Макс, который в свое время изучал философию в университете. – Однако сегодняшняя лекция ставит перед нами

вопрос: «Когда, в каком случае историческую личность можно называть великой?»

– Я сейчас как раз читаю работу Плеханова «О роли личности в истории», – сказал я. – Плеханов пишет, что великая личность не потому великая, что ее индивидуальные особенности накладывают на исторические события свой отпечаток, а по тому, насколько она отвечает нуждам общества. Плеханов называет выдающиеся личности начинателями.

– Ну хорошо, тогда выходит, что Фридрих Второй тоже начинатель? – желая показать свою ученость, спросил Роман. – После окончания Семилетней войны он приказал рыть новые каналы, осушать болота. Пруссаки окрепли экономически, так как Фридрих приказал построить мануфактуры. Кроме того, никто не станет отрицать, что Фридрих был великий полководец и умный философ.

– Это так, – поддержал его Макс. – Между прочим, и лектор говорил о том, что Фридрих был буржуазным философом. На практике же он больше своего отца поддерживал дворянство. Я лично считаю, что между его философскими взглядами и государственной деятельностью – большое противоречие.

– Однако, Роман, не следует забывать и другого, о чем говорил лектор, – вмешался в разговор Руди. – За время своего правления Фридрих Второй удвоил свои владения. Пруссия в то время имела солдат больше, чем во всей Европе. У Меринга можно прочитать, как вели себя высокопоставленные офицеры во время рекрутских наборов и на занятиях.

В этом месте в разговор вступил Пауль, бывший капитан:

– Я с этими высокомерными юнкерами еще до войны познакомился. В нашем полку почти все офицеры были благородного происхождения, и я оказался в числе немногих – неблагородных. Нечего и говорить, как эти выскочки обращались с солдатами. Они и на меня смотрели свысока, хотя я был уже лейтенантом.

– Ты прав, – поддержал я его. – Так что вопрос о том, что сделал Фридрих Второй для нации, решен. Четвертую часть своего правления он вел захватнические войны, стремясь укрепить прусское юнкерское государство. Милитаризм лег на плечи народа тяжелым бременем. Лессинг назвал Пруссию самым рабским государством Европы.

– А вспомните раздел Польши в 1772 году… Фридрих Второй был тогда особенно активен, – заметил Руди. – Именно тогда пруссаки и увеличили свои владения, захватив восточные земли.

***

Суп, каша и хлеб были уже съедены, а мы все еще дискутировали. Поневоле пришлось кончать спор, так как итальянцы начали уборку в столовой, которая после обеда находилась в распоряжении итальянского сектора.

Выйдя во двор вместе с Паулем и Максом, мы немного погуляли на воздухе.

– Знаете, я только сейчас, после этих лекций, начал кое-что понимать. А ведь до этого и для меня Фридрих Второй был гениальным полководцем, одержавшим немало крупных побед, – признался Пауль.

– Нечто подобное случилось и со мной, – согласился я. – Я тоже раньше считал его героем. Когда я думаю о том, что в августе 1756 года Фридрих Второй без объявления войны напал на Австрию, ввергнув тем самым Европу в долгую кровопролитную войну, мне становится не по себе. Ведь Гитлер последовал его примеру и стал нападать на европейские страны без объявления войны.

– Я думаю, что Фридриха Второго и Гитлера роднит не только это, – добавил Макс. – Я хорошо помню, как шла милитаризация всего хозяйства, всей экономики и как росли захватнические аппетиты фашистов. Гитлер, Гинденбург и большинство депутатов рейхстага зарекомендовали себя приверженцами реакционного пруссачества, еще когда они 28 марта 1933 года собрались в гарнизонной церкви у могилы Фридриха Второго.

***

Мы понимали, что нам необходимо уяснить для себя сущность прусского милитаризма и проследить его влияние на историю нашего народа. Но, говоря об антинациональных тенденциях прусского милитаризма, мы не должны впадать в другую ошибку, то есть не должны недооценивать национальных демократических традиций немецкого народа в прошлом. Об этих вопросах мы часто спорили.

Мы прогуливались втроем по двору школы.

– Во всех лекциях слишком много говорится о национальных традициях, – сказал Роман. – До сих пор мы только и слышали, что Пруссия была антигерманским, антинациональным государством. Вы не находите, что в этом есть какое-то противоречие?

– Не следует отождествлять население Пруссии с прусским государством, – возразил я. – Прусские рабочие, крестьяне, ремесленники, студенты и бюргеры и даже кое-кто из

привилегированного сословия доказали, что они, вопреки факту существования антидемократического государства, способны мыслить и действовать в интересах всей нации.

– Вы имеете в виду 1812 и 1813 годы? Народные массы вынудили тогда прусскую монархию действовать в интересах нации.

– Но лишь на время, – возразил Роман. – Господство реакционных сил в Пруссии не было сломлено. После изгнания Наполеона они так же крепко засели на своих местах, как и раньше.

– Вот в этом-то и трагедия немецкой нации, – сказал я, – что реакция, несмотря на все усилия многих мужественных и самоотверженных борцов из народа, в решительные моменты торжествовала победу. Так было в 1813, 1848, 1918 и, наконец, в 1933 годах.

– Сравним задачи, которые ставили Шарнгорст, Гнейзенау и другие, с целями Фридриха Второго, – заметил Макс. – Шарнгорст и Гнейзенау выступали за создание национальной армии, за отмену телесных наказаний в армии и требовали при назначении на офицерские должности руководствоваться исключительно знаниями и мужеством…

– Шарнгорст предлагал прогрессивную систему комплектования армии и выступал за введение всеобщей воинской повинности, – добавил я. – Вот видишь…

– Это я и без тебя знаю, – согласился Роман.

– К сожалению, в истории Пруссии побеждает не прогрессивная, а реакционная линия, – высказался Макс. – Возьмем хотя бы 1813 год. Национальная армия воевала не только ради национальных, но и ради династических интересов. А все ключевые позиции находились в руках династии и привилегированных классов.

– А как дело обстоит сейчас? – спросил я. – Ведь германский фашизм выражает отнюдь не демократические и не национальные интересы немецкого народа, а интересы самой черной реакции. Прогрессивным традициям нашего народа следует лишь Национальный комитет «Свободная Германия».

На этом наш спор закончился, но подобные дискуссии возникали у нас при малейшей возможности по самым различным вопросам.

***

На первом этапе нашей учебы в антифашистской школе

главным было вывести нас из-под влияния нацистской идеологии. Кроме истории мы основательно анализировали теорию о жизненном пространстве и расовую теорию гитлеризма. Мы научились понимать, что благосостояние народа зависит отнюдь не от количества квадратных километров территории, которой он располагает, а в значительной степени от общественного строя, степени развития производительных сил и политики.

Учеба в антифашистской школе помогла мне понять, что будущее немецкого народа зависит не от «нового порядка» в Европе и не от колониальных владений. Гитлеровский лозунг о завоевании «жизненного пространства», как и требование Вильгельма Второго о «месте под солнцем» ввергли Германию в катастрофу. И теперь перед германским народом стояла задача – навести порядок в собственной стране.

Постепенно я понял, что теория арийской расы есть не что иное, как гнусная ложь. Эта ложь оправдывала господство монополистического капитала и идеологически готовила захватническую войну, стремясь поработить целые народы. Прикрываясь этой расовой теорией, гитлеровская Германия развязала вторую мировую войну и совершила многочисленные преступления против человечества. Самым варварским проявлением такой политики стала политика крайнего антисемитизма.

Немецкий народ был отравлен ядом расовой теории. Профашистские школы и школы, носящие имена таких крупных гуманистов, как Гете, Шиллер или Гердер, а также институты и университеты – все отравляли молодежь ядом расизма.

В антифашистской школе с наших глаз спала пелена. Разобравшись в этой теории, мы прямо-таки ужаснулись.

Материалы, опубликованные в советской прессе, рассказывали о зверствах гитлеровцев над мирным населением во временно оккупированных районах. Находясь в Елабуге, мы уже слышали о таких преступлениях. После каждого нового отступления войск вермахта «Правда» и «Известия» помещали на своих страницах материалы Чрезвычайной государственной комиссии Советского Союза. Только в районе Смоленска было умерщвлено 135 тысяч человек, под Ленинградом – 172 тысячи, 200 тысяч в районе Одессы, 195 тысяч в Харькове. И Бабий Яр в Киеве! А сейчас стало известно о зверствах фашистов в Краснодаре.

Под Москвой лето в полном разгаре. На безоблачном небе раскаленное солнце. И преподаватели и курсанты расположились прямо на траве, в тени развесистых деревьев. Товарищ Ханна Вольф держит в руках пачку советских газет. Она хорошо владеет

русским языком. Она переводит нам заявление Чрезвычайной государственной комиссии.

В ноябре сорок третьего года Красная Армия в ходе решительного наступления освободила столицу Украины Киев. План верховного командования вермахта занять на берегу Днепра позиции на зиму разлетелся вдребезги под ударом советских войск.

По всему Советскому Союзу люди ликовали по случаю этой новой большой победы. Но эту радость омрачило печальное известие: в Киеве были обнаружены тысячи трупов советских людей – мужчин, женщин и детей, замученных фашистами. Государственная комиссия определила, что умерщвлено более 195 тысяч человек.

Как такое могло случиться?

Летом 1941 года после захвата Киева немцы распространили слух о том, что советские служащие и члены Коммунистической партии будут якобы переведены в восточные районы. Для этого все переселяемые, захватив с собой ценные вещи, должны явиться на сборный пункт, что находится неподалеку от еврейского кладбища. Все облегченно вздохнули и вместе с женами, детьми и стариками потянулись к указанному месту.

Тут-то и произошло самое ужасное.

Людей окружили вооруженные эсэсовцы. Женщин, мужчин и детей рассортировали по группам. Затем последовал приказ: «Сдать все ценные вещи! Раздеться!» Группу за группой людей загоняли в овраг. Несколько часов подряд там раздавались автоматные очереди и выстрелы из винтовок и пистолетов.

Некоторых из несчастных эсэсовцы временно оставляли в живых, но отнюдь не из жалости, а лишь для того, чтобы они забрасывали убитых и раненых землей.

Подобные преступления творились и в концентрационном лагере на окраине Киева. Десятки тысяч советских граждан умерли там за колючей проволокой от голода и болезней. Их избивали, над ними издевались. За несколько недель до освобождения Киева советскими войсками фашисты испугались своих злодеяний. И тогда они погнали триста узников концлагеря к массовым могилам, заставив их вырывать и сжигать трупы. Фашисты хотели замести следы своих преступлений и потому расстреляли команду и этих узников. Но двенадцати из них удалось бежать. Они-то и рассказали обо всем этом…

Товарищ Ханна Вольф замолчала и обвела взглядом слушателей. Среди двухсот человек в военной форме той самой армии, что совершила подобные преступления, царила мертвая тишина.

Как такое могло случиться?

Ведь этих убийц родили женщины, воспитывали родители и учителя, которые разъясняли, что убийство, пытки, воровство, грабежи и поджоги – тяжкое преступление. Как могло случиться, что нация, которая дала миру Лютера, Баха, Бетховена, Гете и Шиллера, пала так низко, что допустила эти преступления?

Пораженный услышанным, я чувствовал себя как побитая собака. Я не мог вымолвить ни слова. В подобном же состоянии находились и мои товарищи.

Товарищ Вольф продолжала. Она сказала, что подобные преступления гитлеровцы совершили и на Кубани, в районе Краснодара. Почти семь тысяч гражданских лиц было отравлено в душегубках. Таким образом фашисты мстили за действия советских партизан.

Наша преподавательница с полным основанием могла надеяться, что после всего услышанного мы сделаем соответствующее заявление, которое отделило бы нас от подобных преступлений. Однако всех нас словно парализовало. Мы молчали.

Тогда встал товарищ Гейнц Гофман{1} – руководитель и педагог пятой группы.

– Товарищи, – начал он тихо. – Моя домашняя хозяйка – советская женщина. Война нанесла ей страшную рану: у нее погиб любимый человек. Иногда эта женщина спрашивает меня: а что за немцы учатся в антифашистской школе? И я говорю ей о нашем стремлении к новой жизни. Но что я скажу этой много пережившей женщине сегодня? Неужели то, что немцы промолчали, когда им рассказали о зверствах фашистов в Бабьем Яру и в Краснодаре?

Голос товарища Гофмана звучал твердо.

– Сейчас речь идет о том, чтобы каждый из вас проверил самого себя. Ведь эти массовые преступления совершены не двумя-тремя эсэсовцами. Часто им помогали и войсковые подразделения. Во всяком случае об этом они знали. Немало преступлений совершено военнослужащими вермахта на фронте. Неужели из двухсот слушателей антифашистской школы не выступит здесь хоть один человек?

Стало тихо-тихо. Но вот кто-то встал. Это был капитан Аркульф Йесперс. Я знал его еще с Красноармейска, то есть с февраля 1943 года. Этот человек всегда был готов помочь товарищу.

– Не могу больше скрывать того, что не дает мне покоя ни днем ни ночью, что мучит мою совесть. – Передохнув, он продолжал: – Летом 1942 года, когда мы наступали через донские

степи, я приказал расстрелять двух советских пленных. Красноармейцы оказались отрезанными от своих и попали к нам в плен. Я обязан был направить их в штаб полка, но вместо этого приказал их уничтожить. Сейчас я понимаю всю преступность моего приказа и глубоко сожалею о случившемся. Я готов понести за это любое наказание.

После признания Йесперса в аудитории стало еще тише. Капитан показал всем, что, как ни горько ему было сознаваться в своем преступлении, он нашел в себе мужество сделать это.

Преподавательница, казалось, не знала, что и сказать в ответ на это признание. И опять слово взял товарищ Гофман.

– Эта откровенность делает товарищу Йесперсу честь. Лучше поздно, чем никогда. Это и есть тот путь, который может вывести нас из болота, куда фашизм затащил наш народ и армию. В отношении последствий этого преступления решать будут советские власти. Однако я полагаю, что чистосердечное признание капитана только смягчит его вину.

Советские органы безопасности внимательно рассмотрели этот случай, и, учитывая, что капитан Йесперс сделал признание сам, а также то, что в настоящее время его поведение не внушало никаких подозрений, ему дали возможность закончить курсы. Позже я узнал, что своей пропагандистской деятельностью Йесперс завоевал себе большой авторитет и в 1948 году его отпустили домой.

Наша беспомощность и растерянность, когда мы услышали о страшных преступлениях фашистов, объяснялись несколькими причинами. Во-первых, нашему народу долгое время методично внушали гнусную теорию о превосходстве германской расы, о неполноценности коммунистов, евреев и всех славянских народов. У нашего народа просто вытравили элементарное этическое отношение к другим нациям. Кроме того, страх перед наказанием заставлял многих военнослужащих вермахта слепо повиноваться приказам.

В антифашистской школе мы получили возможность познакомиться с некоторыми секретными документами командования вермахта. В одном из приказов генерал-фельдмаршала Рейхенау, например, говорилось следующее:

«… Солдат обязан знать о неполноценности еврейского населения… Борьба против нашего врага за линией фронта ведется недостаточно серьезно. Жестоких партизан еще до сих пор берут в плен».

Приказ главного командования вермахта от 6 июля 1941 года гласил:

«Инициаторы варварских азиатских методов борьбы –

политкомиссары. К ним необходимо применять самые крайние меры: пленных политкомиссаров немедленно уничтожать!»

Таким образом, сотни тысяч людей объявлялись вне закона. Их физическое уничтожение вменялось в обязанность каждому немецкому солдату.

К счастью, на земле жили и другие немцы. Они всю свою жизнь боролись против преступного фашистского режима. К числу таких людей относились и наши педагоги. Мужество борцов Сопротивления стало для нас путеводной звездой в черной ночи фашизма.

Само собой разумеется, не каждый немец был убийцей. Однако почти не было немца, который не имел бы ни малейшего представления об этих зверствах. Большинство из тех, кто отрицает это, просто не искренни.

Я считал, что непосредственных виновников всех злодеяний необходимо строго наказывать. Но главное было не только в этом. Предстояло помочь каждому немцу освободиться от путаницы расовой теории и обрести здравый смысл. Должно переродиться не только германское государство, но и сами люди. Изменения эти будут носить политический и моральный характер.

Постепенно дурман националистической идеологии рассеялся. У нас формировалось новое мировоззрение. Нашему духовному перерождению во многом способствовали наши педагоги – лучшие представители революционного рабочего класса Германии. Огромное влияние оказывали на нас и видные деятели Национального комитета и Коммунистической партии Германии. Они не раз читали нам лекции на политические темы. Так, летом 1944 года я познакомился с товарищами Вильгельмом Пиком, Вальтером Ульбрихтом и Вильгельмом Флорином. Кроме них к нам в Красногорск не раз приезжали из Москвы товарищи Эрих Вайнерт, Эдвин Хернле, Антон Акерман, Фрида Рубинер, Фред Ельснер, Ганс Маале и другие. Все они глубоко верили в немецкий рабочий класс, в немецкий народ, в его светлое будущее.

Эти люди – авангард рабочего класса – были плоть и кровь своего народа. Они шли в первых рядах и протягивали руку каждому, кто хотел идти вместе с ними. Все, что они говорили, было хорошо и всесторонне продумано. И все это помогало нам в нашей учебе.

Большую помощь получали мы и от советских коммунистов, например от начальника школы подполковника Парфенова, которого очень любили за его волнующие, богатые фактами лекции. Он читал нам историю Советского Союза. От него мы узнали о значении Великой Октябрьской социалистической

революции как поворотного пункта в истории всего человечества.

Я чувствовал, как постепенно растут мои знания о социализме. Еще полтора года назад социализм казался мне загадочным и даже чем-то враждебным. Теперь я стал понимать, какую великую освободительную роль призван сыграть социализм. Теперь я понимал тот патриотизм и героизм бойцов Красной Армии, с которым мне довелось познакомиться еще в 1942 году. Должен сказать, что все это я понял не сразу, не вдруг, а постепенно.

И вот наконец курсы в Красногорске окончены. Каждый из нас стал ассистентом, то есть помощником педагога в воспитании и обучении других немецких солдат и офицеров.

Поздние признания некоторых генералов

Пока мы в антифашистской школе занимались изучением истории, колесо самой истории не стояло на месте. В середине мая 1944 года части Красной Армии полностью освободили Крым. Вскоре после этого американцы прорвали немецкие позиции у Монте-Кассино. 4 июня был очищен от гитлеровцев Рим. Началась высадка союзников на севере Франции. 26 июля капитулировал немецкий гарнизон крепости Шербур. На западе был открыт второй фронт: с юга и запада войска союзников теснили немецкую армию. Однако быстрее всего фронт приближался к границам Германии на востоке.

Красная Армия предпринимала одно наступление за другим: сначала на Карельском фронте, затем, 22 июля, – против группы армий «Центр». Ровно через три года после вероломного нападения на СССР немцев постигла судьба, которую они готовили Красной Армии. От берегов Двины на севере до Припятских болот на юге, то есть на участке в пятьсот километров, советские войска прорвали линию фронта. Образовалось несколько десятков различных котлов. Были освобождены Витебск, Бобруйск, Могилев. 3 июля в Москве прогремел мощный салют: Красная Армия освободила Минск – столицу Белорусской Советской Социалистической Республики. А через десять дней советские войска предприняли наступление против группы армий «Северная Украина» и «Север».

Красная Армия принудила отступить части вермахта на всех фронтах. Близился конец войны, но гитлеровский режим все еще существовал. Создавалось такое впечатление, будто немецкий народ и его армия плывут по течению, позволяя втянуть себя в катастрофу.

Трезво оценивая обстановку, мы с болью в сердце следили за событиями на фронте. С одной стороны, нас радовало, что близится конец войны, а с другой – было нелегко сознавать, что каждый день на фронтах бессмысленно гибнут тысячи немцев, тысячи советских солдат и солдат других национальностей.

Всю вину и ответственность за развязанную войну несла немецкая нация. Эта мясорубка стала трагедией нашего народа, тем более что погибало не столько высших офицеров, сколько заблуждающихся их подчиненных.

Несколько месяцев подряд Национальный комитет «Свободная Германия» обращался к немецким генералам с требованием «Отвести войска вермахта к границам рейха». Да и более поздний лозунг антифашистов «Организованный переход

на сторону Национального комитета» также был обращен к генералам.

С тех пор прошел целый год, но ни один немецкий генерал так и не отдал подчиненным ему войскам приказа об отходе к границам рейха. И ни один генерал не перешел на сторону Национального комитета! Все гитлеровские генералы покорно выполняли приказы фюрера. Их не остановили и предупреждения генералов бывшей 6-й армии. По-прежнему тысячи солдат ежедневно посылались на бойню.

И хотя военное и политическое положение Германии стало более ясным, чем в период битвы на Волге, и хотя перед глазами был печальный пример разгромленной армии Паулюса, ни один немецкий генерал не выступил против Гитлера.

Однако в июне – июле 1944 года еще двадцать один немецкий генерал попал в плен. Многие из них подобным образом спасли себе жизнь, хотя до этого они сражались «до последнего солдата». Но когда советский танк останавливался перед его КП или когда на генерала смотрело дуло автомата, тогда тот или иной генерал вдруг решал, что с него довольно, что хватит подчиняться Гитлеру.

И они сдавались в плен, твердя при этом, будто давно понимали, что война для Германии проиграна.

Газета «Фрайес Дойчланд» превратилась в настоящий «Генераланцайгер», так как целые ее полосы занимали фотографии генералов с лицами а ля Фридрих Второй или Мольтке.

Генералы твердили, что считали войну против Советского Союза превентивной и что Гитлер оказался в военном деле самым настоящим дилетантом, так как он не имеет ни малейшего представления, как следует вести войну. И все же каждый из них до полного разгрома своего корпуса или дивизии отдавал приказ сражаться «до последнего солдата». И то, чего они не сделали сами, находясь на фронте, теперь они требовали от своих коллег-генералов: решительно порвать с Гитлером!

«Все генералы и офицеры, сознающие свою ответственность, должны сделать выбор: или ждать, пока Гитлер уничтожит вермахт и немецкий народ, или же ответить насилием на насилие, то есть выступить против Гитлера, отказаться выполнять его приказы и покончить с гитлеровским режимом и войной.

Не ждите, пока Гитлер приведет вас к гибели!

Выступайте против Гитлера за новую Германию!»

Эти патриотические слова взяты из одного призыва пленных генералов. Читая этот призыв, я невольно задумался. Почему эти генералы еще совсем недавно посылали десятки тысяч солдат на

бессмысленную гибель? Почему они вовремя не одумались и не сдались в плен? Какими законами чести руководствовались они? Почему между их теперешними заявлениями и совсем недавними поступками такая пропасть?

Изо всех генералов только один составил исключение. Это был генерал-лейтенант Винценц Мюллер – командир 12-го армейского корпуса. 8 июля 1944 года он вместе с одним офицером и горнистом подъехал к советским позициям и заявил, что согласен дать подчиненным ему войскам приказ на прекращение огня. Советское командование в свою очередь пообещало оказать помощь всем раненым. Офицерам и солдатам разрешалось сохранить все ордена. И генерал-лейтенант немедленно отдал своим войскам приказ прекратить всякое сопротивление.

«Положить конец бессмысленному кровопролитию!

Я приказываю всем немедленно прекратить сопротивление. Повсеместно создать группы человек по сто под командованием офицера или старшего по званию унтер-офицера. Всех раненых собрать в одно место. Необходимо проявить максимум организованности, чтобы как можно скорее воспользоваться всем тем, что нам обещали русские. Настоящий приказ письменно и устно передать дальше».

Так заканчивался приказ генерал-лейтенанта Винценца Мюллера 8 июля 1944 года.

Потом я с большим интересом читал его статьи в газете «Фрайес Дойчланд» Этот генерал был большим знатоком военного дела и умел правильно оценить обстановку. Я считал его настоящим немецким патриотом. Много лет спустя, работая вместе с ним в рядах Национал-демократической партии Германии, я мог убедиться в этом лично.

Однажды слушателей антифашистской школы взбудоражило одно известие. Сообщил об этом майор Бернард Бехлер – член Национального комитета и член правления «Союза немецких офицеров». Бехлер тоже учился на краткосрочных курсах, но в отличие от других слушателей получал частенько разрешение на выезд из школы для участия в совещаниях в Лунево. В мае 1944 года его как представителя Национального комитета послали на Ленинградский фронт. И вот тут-то случилось то, что явно не входило в наши планы.

На фронт майор выехал в сопровождении двух членов Национального комитета – капитана и лейтенанта. Неожиданно Бехлер вернулся назад, в Лунево. Оказалось, один из его сопровождающих признался Бехлеру в том, что получил приказ перебежать через линию фронта и, возглавив группу десантников,

выброситься затем в Лунево, чтобы арестовать членов Национального комитета и членов правления «Союза немецких офицеров».

Через несколько дней после этого Бехлер проинформировал курсы при антифашистской школе о ходе специального собрания.

Кто мог дать такое задание? Этого человека звали д-р Ганс Хубер. Ровно год назад он приехал из Елабуги на конференцию «Союза немецких офицеров» и остался в Лунево. По словам Бехлера, д-р Хубер в прошлом был штурмбанфюрером СС, работал в СД. Находясь в Елабуге, он пытался создать тайную организацию. Лейтенанту, который выезжал на фронт, Хубер передал секретный номер, по которому тот должен был позвонить. Далее майор Бехлер высказал опасение, не передавал ли бывший штурмбанфюрер в своих выступлениях на радиостанции «Фрайес Дойчланд» закодированных радиограмм? В Лунево Хубер установил связь с генерал-лейтенантом Роденбургом…

Как только Бехлер назвал фамилию Хубера, я сразу же вспомнил фанатичную речь старшего лейтенанта, произнесенную в нашей комнате. Теперь-то я понимал, почему он тогда так говорил. Этот человек с отталкивающей внешностью с первых дней плена начал вести подрывную деятельность. Он вошел в доверие к офицерам, отъезжающим на конференцию «Союза немецких офицеров», и вскоре зарекомендовал себя как незаменимая личность. На самом же деле он и здесь оставался тайным агентом СД. Хубер и Роденбург после разоблачения были исключены из «Союза немецких офицеров» и переведены в другой лагерь.

***

21 июля 1944 года слушателей немецкого сектора срочно собрали – какое-то экстренное сообщение! Перед нами выступил Герман Матерн, тот самый Матерн, который несколько недель назад в Елабуге интересовался, почему я хочу в антифашистскую школу.

Оказалось, Московское радио сообщило о покушении на Гитлера. В ставке фюрера «Вольфшанце» под Растенбургом, в Восточной Пруссии, взорвалась бомба. В заговоре были замешаны высокопоставленные офицеры и генералы. Гитлер якобы ранен. Ходили слухи о стычках восставших с эсэсовцами. Теперь все зависело от того, как поведут себя солдаты и офицеры вермахта, и в первую очередь антифашисты.

Это сообщение мы встретили громом аплодисментов. Все были очень возбуждены. Лица светились радостью. Наконец-то немцы решили действовать! Это яркий пример того, что вермахт и народ недовольны предательской политикой Гитлера. Пусть в самый последний момент, но немцы все же нашли в себе силы подняться против «коричневой чумы»…

Но Гитлер только ранен. Он жив, и кто знает, что он теперь натворит в ярости…

Он может пойти на многое, на все. Через несколько дней стали поступать новые сообщения. Мы были разочарованы. Гитлер, Гиммлер, СД и СС жестоко мстили за покушение. Расстреляны генерал Ольбрихт, полковник фон Штауфенберг, полковник Мерц фон Квирингейм, генерал-полковник Бек.

Судебный процесс проходил при закрытых дверях. К смерти через повешение были приговорены генерал-фельдмаршал фон Вицлебен, генерал-полковник Хепнер, генерал-майор Штиф, лейтенант фон Вартенбург и другие.

Через четыре недели были опубликованы смертные приговоры д-ру Герделеру, Вильгельму Лейшнеру, Ульриху фон Хасселю, фон Хельдорфу и другим. Многих расстреляли без суда и следствия.

23 июля 1944 года Национальный комитет через газету «Фрайес Дойчланд» обратился к немецкому народу, солдатам и офицерам вермахта с воззванием, в котором говорилось, что народ не должен оставлять в одиночестве тех, кто поднялся против Гитлера.

Однако заговорщики, совершившие покушение на Гитлера, сами действовали в одиночку. Правда, настоящие патриоты из них жертвовали своей жизнью ради того, чтобы покончить не только с самим Гитлером, но и с этой войной – как на востоке, так и на западе. Однако большинство тут было таких, кто мечтал о прекращении военных действий только на западном фронте с тем, чтобы, сговорившись с западными державами, продолжить войну против Советского Союза.

Постепенно выяснилось, что покушение 20 июля 1944 года – дело рук буржуазной и юнкерской оппозиции. Большинство заговорщиков были высокопоставленные военные и чиновники. Они искали выхода из безнадежного военного и политического положения фашистской Германии. Свергнув гитлеровский режим, заговорщики надеялись установить в Германии власть монополистов и милитаристов, которые не слишком скомпрометировали себя связями с Гитлером. Заговорщики надеялись заключить сепаратный мир с западными державами и вместе с ними выступить против Советского Союза. Совсем другие

цели ставили перед собой представители прогрессивных сил. Такие, как Юлиус Лебер, Хельмут фон Мольтке и фон Штауфенберг. Эти люди стояли за сотрудничество с коммунистами, однако они не были в состоянии изменить общий характер заговора.

Таким образом, цели заговора 20 июля 1944 года коренным образом отличались от задач Национального комитета «Свободная Германия», всего Национального фронта антифашистских сил, выступающих под руководством Коммунистической партии Германии. Неудачу заговора 20 июля поэтому можно объяснить тем, что его участники опирались на антидемократические силы.

Долгое время все разговоры в антифашистской школе только и велись вокруг заговора. Мы, разумеется, глубоко сожалели, что в этом заговоре было слишком мало настоящих патриотов.

***

8 августа 1944 года повесили генерал-фельдмаршала Эриха фон Вицлебена.

И в этот же самый день другой фельдмаршал восстал против Гитлера. Это был Фридрих Паулюс – главнокомандующий разгромленной под Сталинградом 6-й немецкой армией.

– Наконец-то! – с облегчением сказали оставшиеся в живых участники Сталинградской битвы, которые уже давно были настроены против преступлений рейхсканцлера.

– Паулюсу не место в наших рядах, – говорили некоторые прогрессивно настроенные военнопленные. – Он виноват в гибели многих наших товарищей.

– Изменник! Мерзавец! – надрывно кричали стойкие фашисты, которых было особенно много в 1-й и 13-й зонах лагеря № 27.

Такое отношение к генерал-фельдмаршалу было не случайным.

В трудной обстановке Паулюс зарекомендовал себя как человек нерешительный, слишком осторожный, который не был способен на самостоятельные действия. По крайней мере потребовалось очень многое, чтобы он полностью осознал всю бессмысленность и преступность гитлеровских приказов.

И даже находясь в русском плену, Паулюс долгое время вел себя как солдат. Он еще верил, что политика и солдатский долг – вещи несовместимые. Однако фельдмаршал не мог не чувствовать, что между послушным выполнением приказов сверху

и моральной ответственностью перед подчиненными лежит пропасть, но не нашел в себе мужества разрешить этот конфликт. Находясь в котле, он ограничивался лишь тем, что забрасывал ставку Гитлера многочисленными докладами, сводками и просьбами. И в то же время беспрекословно выполнял все приказы фюрера! В этом его поддерживали начальник штаба генерал-лейтенант Шмидт и его непосредственный начальник генерал-фельдмаршал фон Манштейн – командующий группой армии «Дон».

После второй мировой войны появилось немало книг, в которых высокопоставленные генералы представлялись как послушное орудие Гитлера. Однако одним таким объяснением эту проблему не решить, так как большинство генералов, за редким исключением, по своей доброй воле стали прислужниками фюрера.

Это полностью относится и к Паулюсу, который еще в 1940 году принимал участие в разработке плана «Барбаросса» – плана нападения на Советский Союз. Паулюс не задумывался о личной политической и моральной ответственности. Руководствуясь только абстрактными понятиями чести, Паулюс, таким образом, стал одним из главных исполнителей бесчеловечных гитлеровских приказов. Это чувство рабской покорности позволило ему даже в последние минуты трагедии под Сталинградом принять присвоенное ему звание фельдмаршала от человека, который злоупотреблял его доверием и возложил на его плечи большую вину. Паулюс оказался в плену у собственного честолюбия и не решился отвергнуть маршальский жезл.

Все поведение Паулюса в котле под Сталинградом – яркий пример того, что понятие солдатской чести без должной политико-моральной основы – пустое место.

Но если сначала Паулюс отказывался признать себя виновным перед историей, то позже он сумел правильно оценить события, и этим он выгодно отличается от всех генералов, которые позже писали мемуары только с целью собственного оправдания, и в первую очередь от его бывшего начальника Эриха фон Манштейна. Нельзя не обратить внимания на следующее заявление Паулюса:

«Генералы… видели свою задачу в том, чтобы поставить все свои силы и знания на службу главе государства, а тем самым, по их субъективному убеждению, немецкому народу. С некоторыми явлениями национал-социализма они были не согласны, что-то они просто проглядели, да и вообще национал-социализма они не знали. Субъективно они верили, что служат своему народу. Объективно же они стали опорой системы, которую сами позже

отвергли. Однако как бы там ни было, все они были лишены чувства личной ответственности, что привело к печальным последствиям на поле боя. Я тоже находился в таком заблуждении и теперь признаюсь в этом».

К этой критической оценке Паулюс пришел в советском плену. Впервые он сказал об этом в своем заявлении 8 августа 1944 года.

Для Национального комитета было бы очень важно, если бы Паулюс сказал это раньше, то есть еще летом 1943 года, так как слово фельдмаршала прозвучало бы для войск более весомо, чем призывы каких-то там майоров. Фельдмаршал запоздал с признанием своей вины.

Но лучше поздно, чем никогда.

8 августа 1944 года Паулюс выступил по радиостанции «Фрайес Дойчланд» с заявлением о том, что Германия должна порвать с Гитлером и избрать себе такое правительство, которое было бы способно покончить с войной я установить дружественные отношения с нашим теперешним противником.

Фельдмаршал, воспитанный в прусском духе и еще недавно послушный своему верховному главнокомандующему, превратился в мятежника, ратующего за дружбу со всеми народами, а также с Советским Союзом. Это было важное решение. И Паулюс остался верен ему до последних дней своей жизни (умер он 1 февраля 1957 года в Дрездене).

В декабре 1944 года Паулюс одним из первых поставил свою подпись под воззванием пятидесяти немецких генералов, попавших в русский плен. Это воззвание было обращено к народу и вермахту. В нем писалось:

«Продолжение самоубийственной, ставшей полностью бессмысленной войны служит только интересам Гитлера и его партийных руководителей.

Наш народ не должен погибнуть! Именно поэтому войну нужно немедленно прекратить!»

А в феврале 1946 года, находясь на суде над главными военными преступниками в Нюрнберге, Паулюс пошел еще дальше. Он заявил, что план нападения на Советский Союз готовился заблаговременно.

Этот план, по признанию Паулюса, предусматривал захват и последующую колонизацию русской территории с целью ее ограбления и эксплуатации людских резервов. А затем Гитлер хотел победоносно закончить войну на западе и установить свое господство во всей Европе.

Далее свидетель Паулюс сказал, что события под Сталинградом помогли ему прийти к правильному решению,

помогли понять всю преступность нападения Германии на СССР.

После освобождения из плена фельдмаршал уехал в Германскую Демократическую Республику. Он жил и работал в немецком государстве, основным принципом которого стала дружба с Советским Союзом. Так бывший командующий германской империалистической армией окончательно порвал с лагерем реакции и перешел на сторону народа. В своих речах и письменных заявлениях он предостерегал немецкий народ от опасности возрождения фашизма, разоблачал реваншистские устремления господствующих кругов в федеративной республике. Паулюс призывал бывших генералов и офицеров Гитлера сделать правильные выводы из горького опыта войны и бороться против курса на вооружение германского империализма.

Выступая за мирную политику ГДР, против агрессивной политики федеративной республики, Фридрих Паулюс действовал как патриот. Он поддерживал новое немецкое социалистическое государство, которое подняло знамя нации и, следуя ее лучшим традициям, добилось признания и у других народов.

Бывший гитлеровский фельдмаршал Фридрих Паулюс за последние тринадцать лет жизни сделал решительный поворот. Признав собственные ошибки, он встал на правильный путь. Так же поступили и другие бывшие высокопоставленные генералы гитлеровского вермахта – Винценц Мюллер, Арно фон Ленски, Мартин Латман, д-р Отто Корфес, Ганс Вильц, Артур Бранд. Большинство же гитлеровских генералов или остались в стороне, или же снова пошли по старому пути.

Прозрение

Во втором семестре в антифашистской школе в Красногорске нам предстояло открыть для себя марксизм-ленинизм. Сначала мы начали изучать политическую экономию. Ее нам преподавал венгр профессор Ласло Рудаш. Начальником немецкого сектора был товарищ Линдау.

Сначала я был несколько удивлен: венгр будет преподавать немцам! Да еще такую серьезную дисциплину! Сможет ли он донести до нас эту науку? Ведь для этого необходимо хорошо знать немецкие условия и безукоризненно владеть немецким языком. Как-то это будет выглядеть? Я был само нетерпение.

И вот лектор стоит в аудитории перед нами. Небольшого роста и совсем невзрачный на вид. Не спеша, с чуть заметным акцентом он начал читать свою лекцию на немецком языке. И как доходчиво! А как легко и просто он обращался с материалом! Казалось, профессор Рудаш знает весь курс наизусть. Говорил он по памяти, без конспекта. Его лекция буквально захватила нас. Все взгляды застыли на его фигуре.

Лекция следовала за лекцией. Постепенно вырисовывалось стройное учение о политической экономии. Экономические материалы один за другим оседали в нашей голове. Сильное впечатление произвела на нас теория прибавочной стоимости, лектор назвал ее краеугольным камнем всей политической экономии.

«Но почему именно краеугольным?» – думал я. С политэкономией я был, собственно говоря, не в ладах. Лекции профессора Рудаша разрушили все мои прежние представления о некоторых явлениях политэкономии. Но Рудаш писал на доске различные формулы, доказывая сказанное, и многие понятия становились предельно ясными.

Все это было открытием для меня. Теперь я хорошо понимал, что между работодателями и работополучателями не может быть никакого «единства», о котором так много твердили в Германии власть имущие. Теперь я еще раз убедился, как глубоко заблуждался раньше.

***

Каждая лекция открывала все новые горизонты. Я тщательно конспектировал «Капитал» Маркса и другие работы. И даже подготовил реферат о марксистской теории кризисов. Написать

реферат мне помог Роман, который вел у нас в группе семинар по политэкономии.

Профессор Рудаш шаг за шагом знакомил нас с мировоззрением рабочего класса и его революционной партии. Исторический материализм помог мне лучше понять русскую и немецкую историю. Все общественные явления я стал рассматривать с марксистских позиций. Постепенно я понял, что социализм – не случайное явление, а закономерное развитие человеческого общества, результат целенаправленной классовой борьбы пролетариата и его союзников. Постепенно мне стало ясно, что марксизм-ленинизм имеет решающее значение не только для рабочего класса, но и для всех прогрессивных слоев общества.

Ласло Рудаш был первым профессором-коммунистом, с которым я познакомился. Его мастерство преподавателя во многом способствовало тому, чтобы мы глубоко усвоили основы марксизма-ленинизма. Благодаря ему я стал ориентироваться в истории. Личность Рудаша настолько меня заинтересовала, что я старался узнать о нем как можно больше.

Рудаш еще в молодые годы принимал активное участие в венгерском рабочем движении. В 1918 году Рудаш вместе с другими товарищами основал Коммунистическую партию Венгрии, а в 1919 году играл видную роль в дни Венгерской советской республики. Террор контрреволюции вынудил его покинуть родину. Рудаш нашел убежище в Советском Союзе, где преподавал в партийной школе при Коминтерне, а позже в антифашистской школе в Красногорске.

Но прежде чем попасть на преподавательскую работу, Рудаш сорок лет отдал революционному рабочему движению. Сорок лет – борьбе за интересы рабочего класса! Рудаш помог нам, немецким военнопленным, понять правду. Все его лекции были проникнуты глубокой партийностью. Ласло Рудаш фактически сделал нас политически зрелыми людьми.

Как-то мне в руки попала небольшая книжица под названием «Сибирская смена». В ней рассказывалось о первых шагах советских людей на бескрайних просторах Сибири. Жить и строить в Сибири было очень и очень трудно. Многое держалось на одном энтузиазме, но энергия и самоотверженность советских людей, готовых на любые трудности ради достижения великой цели, делали свое дело. Здесь, на стройках пятилетки, рождалась настоящая человеческая дружба. Усилия каждого сливались с усилиями общества.

Под титулом «Сибирская смена» стояло, что это – заметки и репортажи с мест. Автором этой книжки был некто Гуно Хуперт,

австриец. В Вене он изучал общественно-политические науки, в Сорбонне – социологию. В Париже познакомился с Анри Барбюсом – этим страстным обличителем империалистической войны. Затем Хуперт как политэмигрант переехал в Советский Союз. Здесь он вел большую литературную и научную работу. Летом 1944 года Хуперт преподавал у нас на курсах. Так же, как немецкие писатели Фридрих Вольф и Вилли Бредель, он вел у нас в школе одну группу.

Книга Гуго Хуперта рассказывала о социалистических преобразованиях в Сибири. А ведь Сибирь для многих из нас была страшным пугалом. При царе в Сибирь ссылали всех непокорных, чтобы сломить их духовно и физически. Там был в ссылке Ленин. Немецкие солдаты и офицеры знали только об этой Сибири. А теперь я читал совсем другое. На территории Сибири строились гигантские промышленные предприятия. И я высказал свое восхищение в статье для стенной газеты.

На следующий день староста нашей группы сказал мне, чтобы я зашел к товарищу Гуго Хуперту.

Это был темноволосый мужчина среднего роста, с темными глазами и слегка горбатым носом на узком лице. Он тепло поздоровался со мной.

– Отто Рюле? Уж не сын ли вы Отто Рюле – депутата рейхстага от социал-демократической партии? Автора Истории культуры и нравов? В годы первой мировой войны он вместе с Карлом Либкнехтом голосовал против военных кредитов. Что с ним стало теперь?

– Этого я, к сожалению, не могу сказать. Я знаю только то, что мой отец Отто Рюле был ректором одной из школ в Дрездене и что он ровно на сорок лет старше меня. Мои родственники по линии отца – швабы. Так что депутат рейхстага – не мой родственник.

– Значит, случайное совпадение фамилий. А вы, я вижу, внимательно прочли мою «Сибирскую смену». Ваша статья в стенной газете заинтересовала меня. Сибири действительно принадлежит будущее. Уму непостижимо, как изменился этот край! Война приостановила там мирное строительство, но, несмотря на это, производственная мощь Сибири с каждым днем растет за счет предприятий, эвакуированных из западных районов страны.

– Так что старые представления о Сибири нужно выбросить на свалку?

– Точно. В этой стране я живу и работаю уже более десяти лет. И все время учусь.

Гуго Хуперт познакомился в Советском Союзе с Владимиром

Маяковским и даже перевел некоторые его стихи на немецкий язык.

Однажды вечером он рассказал нам о своих встречах с Маяковским и о том, как трудно было переводить на немецкий язык его поэму «Хорошо». Даже само название заставило Гуго немало подумать.

– Перевести название поэмы просто словом «Гут» казалось мне явно недостаточным. Поэма говорила о большем. И тогда я решил, что к слову «хорошо» следует добавить еще и «прекрасно». Таким образом, я перевел название поэмы «Хорошо» как «Гут унд шен» – «Хорошо и прекрасно». Вот я сейчас кое-что вам из нее прочитаю.

Хуперт раскрыл книжку с портретом Маяковского и начал читать. Поэт призывал к штыку приравнять перо. Читал Гуго настолько взволнованно, что я забыл обо всем на свете. Громкие аплодисменты вернули меня к действительности. Потом Гуго читал нам отрывки из поэмы «Владимир Ильич Ленин» и «Левый марш».

Равнодушных здесь не было. Большинство восторженно встретило чтение этих стихов, однако были и такие, которым стихи Маяковского пришлись не по вкусу.

– Я не знаю, – проговорил Роман, когда мы возвращались домой, – искусство ли это? Мне кажется, Маяковский перешагнул привычные границы жанра. По-моему, это не поэзия, а агитплакат.

– Без всякого сомнения, как содержание, так и форма стихов Маяковского для нас, представителей буржуазного мира, несколько необычны, – заметил я. – Маяковский в своих стихах клеймит старый мир и всего себя отдает делу революции и социализма.

– Это и есть агитация…

– Уж не хочешь ли ты сказать, что социализм не признает искусства? – спросил я.

– Нет, я так не думаю, – ответил мне Роман. – Но поэтический язык Маяковского мне кажется слишком грубым.

– Язык у него разный. Все зависит от того, о чем он пишет. Когда поэт клеймит капитализм, он специально употребляет грубые слова. Когда же Маяковский говорит о новом человеке, о социализме, в его стихах звучат неподдельные лирические интонации.

– Возможно, ты лучше меня разбираешься в поэзии, – возразил он. – До меня же это не доходит.

Лежа на нарах, я еще долго думал о стихах Маяковского, мысленно продолжая свой спор с Романом. Да, поэт не стеснялся

в выражениях, когда речь шла о разоблачении капиталистического общества. Но в этом, собственно говоря, и была партийность поэта, его вера в социализм.

После знакомства с Гуго Хупертом я по-настоящему увлекся поэзией Владимира Маяковского.

Две недели лил дождь. Стояла распутица, и лишь в начале ноября установилась зимняя погода. Солнце почти не показывалось, но когда оно изредка прорывалось сквозь густую пелену облаков, то было таким ослепительным, что все вокруг преображалось.

После окончания курсов слушатели антифашистской школы собрались в лекционном зале на прощальный вечер. В президиуме рядом с нашими преподавателями-немцами сидели начальник школы подполковник Парфенов и венгерский профессор Рудаш. Доклад сделал товарищ Рудольф Линдау. Он подробно остановился на актуальных политических и военных проблемах.

Гитлеровская военная коалиция была расчленена на части. Летом 1943 года Италия выпала из фашистского блока и объявила Германии войну. На этот же путь встали Румыния и Болгария. Финляндия подписала в Москве договор о прекращении военных действий. Флоренция, Париж, Брюссель, Афины были освобождены союзниками при активной помощи национальных войск и борцов движения Сопротивления. Однако, несмотря на это, судьба всей войны по-прежнему решалась на Восточном фронте. Войска Советской Армии накинули гигантскую петлю на группу армий «Север». 11 октября советские войска вступили на территорию Восточной Пруссии. Советские солдаты вместе с югославскими партизанами освободили Белград. Дуйсбург, Эссен, Кельн подвергались налетам англоамериканской авиации. Аахен заняли американские войска, Бельфорт и Мюльхаузен – французские. Американцы наносили удары по Японии.

Германия находилась перед крахом. Сбывалось предсказание Национального комитета «Свободная Германия»: «Скоро все резервы у Гитлера кончатся».

В своем докладе товарищ Линдау подчеркнул, что в настоящий момент немецкие трудящиеся должны подняться на всеобщую борьбу. Только рабочий класс может преобразовать германское государство, так как коренные интересы нации полностью совпадают с интересами рабочего класса. Необходимо сплотить все антифашистские демократические силы, чтобы поскорее покончить с этой войной и приступить к строительству новой Германии – без империалистов, без милитаристов и

фашистов.

– Работать и бороться ради этой высокой цели, товарищи, – святой долг каждого из нас! – сказал в заключение докладчик.

Все присутствующие в зале встали и зааплодировали. Затем выпускники антифашистской школы приняли присягу…

– Я – сын немецкого народа, торжественно клянусь из любви к своему народу, к своей родине и своей семье бороться во имя того, чтобы мой народ сбросил ярмо гитлеровского режима и стал свободным и счастливым.

Я торжественно клянусь все свои знания, все свои силы, а если нужно – и жизнь отдать этой борьбе. Клянусь быть верным своему народу до последней капли крови!

Пусть эта присяга объединит меня со всеми антифашистами, с которыми я буду сражаться до полной победы нашего святого дела.

Начальник школы поздравил нас с окончанием учебы. С ответным словом выступил один из выпускников.

Настало время применить на практике полученные знания. Первое испытание обрушилось на нас раньше, чем мы этого ожидали.

***

В канун двадцать седьмой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции погода стояла холодная, пасмурная. И все же я каждый вечер любил немного прогуляться. Накануне лагерное начальство разрешило мне вместе с другими товарищами поехать в Талицу. Я обрадовался этой поездке.

– Пойдем подышим свежим воздухом, – предложил мне Макс.

– Пойдем, только на четверть часа. В такую погоду долго не нагуляешь.

Надев шинели и меховые шапки, мы вышли во двор. Моросило. Окруженные туманным ореолом, тускло светились электрические лампочки на столбах вдоль забора.

– Два года назад в это самое время я был под Сталинградом, – заговорил я. – Помню, части Красной Армии устроили там грандиозный фейерверк. Это был салют по случаю 7 ноября. Мы еще смеялись тогда, что русские не забыли отметить свой революционный праздник. Мы же считали, что русская твердыня на Волге вот-вот падет.

– А через две недели кольцо окружения было затянуто, – заметил Макс. – С тех пор прошло всего-навсего два года, а у нас, бывших врагов Советской власти, в этот день праздничное

настроение. Разве это еще раз не доказывает преобразующую силу идей Октября?

– Действительно, разве не удивительно, что мы и нам подобные в ходе войны перешли на сторону Советского Союза? Все пережитое и учеба здорово нас перековали.

В этот момент ударил гонг. Потом кто-то крикнул:

– Немецкий сектор, строиться!

– Что бы это значило? – спросил я. – Торжественное собрание назначено на завтра?!

У входа мы увидели старосту немецкого сектора и начальника, обычно назначающего на работы. Из жилых корпусов выбежали курсанты. Когда все построились, староста сектора вышел на середину перед строем.

– Товарищи, послушайте меня, – начал он. – На станцию прибыло несколько вагонов с лесом. Вагоны нужно немедленно разгрузить. Мы должны ровно в десять вечера выйти на разгрузку этих вагонов.

Нам и до этого довольно часто приходилось разгружать вагоны на станции. Эта работа нам нравилась, так как она разнообразила наше житье-бытье: иногда хорошо было оторваться от учебников. Но сегодня, в такую непогоду, никому не хотелось идти на станцию. Да и настроение у всех было праздничное, нерабочее. Оставалось только надеяться, что работы там мало.

Однако как бы там ни было, а в назначенное время мы все были на станции. На путях стоял целый состав, груженный лесом. На разгрузку каждого вагона назначили по пятнадцать человек. Нужно было не только выгрузить из вагонов двухметровые бревна, но и сложить их штабелями в стороне от железнодорожного полотна. Работа оказалась тяжелой. В самом вагоне сначала мог поместиться только один человек. Бревна принимали на плечи двое и несли метров триста к месту укладки их в штабеля.

Мы уже работали несколько часов. И вдруг кто-то крикнул, что сегодня праздник, а в праздник не работают.

Этот призыв подействовал как искра в пороховой бочке. Большинство сразу же побросало бревна на землю.

Первой бросила работу небольшая группа курсантов. Их примеру последовали и другие. Все сели на землю. Работа остановилась. Я тоже сел на бревно.

Нашему сопровождающему ничего другого не оставалось, как повести нас обратно в лагерь.

По дороге в лагерь до меня наконец дошел смысл случившегося. Ведь это была забастовка – забастовка курсантов антифашистской школы. И как раз накануне годовщины

Октябрьской революции!

Это было поражение каждого из нас. В праздник у нас было скверное настроение, Я не хотел никого слушать, кто пытался хоть как-то оправдать наше поведение ночью. На следующий день было назначено общее собрание нашего сектора. Товарищ Линдау коротко доложил о случившемся. Он сказал нам, что мы сорвали погрузку и из-за этого по крайней мере десять вагонов целые сутки простояли зря, в то время как они были очень нужны.

Большинство из нас по-настоящему загоревало, осознав, что между нашими теоретическими знаниями и этим реальным случаем лежит громадная пропасть. Слова и заверения тут были ни к чему. Этот промах нужно было исправить делом. Об этом мы и говорили на собрании. Работу по разгрузке вагонов закончили добровольно.

Об этом случае я вспомнил еще раз позже, когда, сидя в библиотеке, читал речь В. И. Ленина на 3-м съезде комсомола в 1920 году. Слова Ленина, сказанные им двадцать четыре года назад юношам и девушкам из Коммунистического союза молодежи, в известной степени имели отношение и к нам:

«Без работы, без борьбы книжное знание коммунизма из коммунистических брошюр и произведений ровно ничего не стоит, так как оно продолжало бы старый разрыв между теорией и практикой, тот старый разрыв, который составлял самую отвратительную черту старого буржуазного общества»{2}.

Я решил никогда не забывать этих слов Ленина.

Через несколько дней школа опустела. Жаль было расставаться с преподавателями и товарищами, вместе с которыми целых полгода жил и учился познавать правду. Основная масса курсантов разъехалась по лагерям для военнопленных, чтобы там помочь своим товарищам во всем разобраться. Нескольких из нас направили в распоряжение Национального комитета «Свободная Германия», а также как пропагандистов для работы в газете, на радио и на фронте. Восемь человек, в том числе и я, были направлены преподавателями в антифашистскую школу № 165 в Талицу. Пятеро курсантов остались для преподавательской работы в Красногорске.

Наши учителя

Ноябрь 1944 года. Москва. Казанский вокзал.

Куда ни посмотришь, всюду полно людей. Одни сидят, другие лежат прямо на полу. Женщины с маленькими детишками на руках, тут же детвора чуть постарше, возле – различные вещи. Старики с большими тюками. Много солдат и офицеров: одни едут в отпуск после ранения, другие возвращаются на фронт.

И среди этой пестрой толпы – восемь немецких и три итальянских военнопленных в сопровождении человека в гражданском, по фамилии Свиталла, и старшины Красной Армии. Мы не без труда пробираемся сквозь толпу. Кто рассматривает нас с нескрываемым любопытством, кто абсолютно равнодушен. Одни провожают нас сердитыми взглядами, другие смотрят по-дружески. Видимо, от взгляда последних не ускользает, что наш старшина с улыбкой разговаривает с нами, пленными. Нас приглашают попить чайку из кипящего самовара. Когда же мы произнесли «Гитлер капут», а наш старшина назвал нас друзьями, лед недоверия окончательно растаял. И нам уже протягивают махорку. На ломаном русском языке мы пытаемся объяснить, что считаем эту войну, развязанную фашистами, не чем иным, как преступлением, и что с ней нужно как можно скорее кончать.

– Пошли, пошли, – торопит нас старшина, глядя на часы. Мы говорим хозяевам, пригласившим нас к чаю, «спасибо» и следуем за старшиной. Товарищ Свиталла замыкает нашу группу.

Состав уже стоит под парами. Для нас забронировано три купе.

Часа в два дня паровоз дает свисток и трогает состав с места. За окнами в ноябрьском тумане мелькают дома, столбы, мосты. Очень скоро начинает темнеть. Света в купе нет.

– Куда мы, собственно говоря, едем? – спрашивает кто-то из нас товарища Свиталлу. Он очень хорошо к нам относится, но разговаривать много не любит.

– Едем на восток, – коротко отвечает он.

– Но куда именно?

– Едем по линии Москва – Горький. Когда сойдем с поезда, будем добираться в Талицу.

Мы уже хорошо знаем, что пленным обычно неохотно называют географические пункты. На этот счет, вероятно, есть какой-нибудь приказ. Но ведь мы никуда бежать не собираемся! А случаи побегов пленных из лагерей, несмотря на огромное расстояние до родины и прочие трудности, все же были. Через несколько дней беглеца обязательно ловили. Однако такие

случаи доставляли советской комендатуре очень много хлопот.

Мы решили набраться терпения. Наступившая темнота не располагала к разговорам. Вскоре все улеглись спать.

«Вязники», – прочитал я утром на здании вокзала. На место мы попали только через двое суток. Ночевали в избе сельсовета, а утром – дальше по снегу и морозу. Прекрасная картина для глаз! Но ногам не до красоты.

Лишь поздно вечером на вторые сутки мы добрались до антифашистской школы № 165. Смертельно усталые, мы свалились на кровати, указанные нам. Комната была не топлена, матрацы, набитые соломой, как лед. Однако крепкий сон заставил забыть обо всем на свете.

***

Разбудили меня чьи-то голоса. Когда я откинул с лица полу шинели, то увидел, что нахожусь в светлой комнате. В окна светило солнце.

Мои товарищи тоже проснулись от шума.

– Алло, красногорцы, вставайте! Уж не хотите ли, чтобы начальник сектора принимал вас в кроватках?

Голос говорившего показался мне знакомым. По произношению это был уроженец Ганновера. Вот он повернулся, и я увидел его лицо.

Это был Пауль из елабугского лагеря. Осенью 1943 года он уехал учиться в Красногорск. Теперь же работал преподавателем в Талице. Товарищи, которые зашли к нам в комнату вместе с Паулем, тоже целых полгода уже работали преподавателями. Все они оказались нашими старыми знакомыми.

Пока мы приводили себя в порядок и заправляли постели, товарищи рассказали нам кое-что о здешней антифашистской школе.

– Пусть двое из вас пойдут со мной, – предложил один из них. – Я покажу, где у нас выдают завтрак и кофе.

Вскоре два наших товарища принесли целый чайник кофе и восемь порций хлеба.

– Ну а теперь пошевеливайтесь, – торопил нас Пауль. – Через пятнадцать минут вас ждут начальник сектора и преподаватели.

***

Когда мы вошли в преподавательскую, наши знакомые уже

были там. От имени всего немецкого сектора нас приветствовал Бернард Кенен. Наши старые знакомые сказали нам, что он был членом прусского государственного совета.

– Это замечательный человек. Он удивительно много знает.

У стола стоял стройный мужчина в гимнастерке без погон, в темных брюках и сапогах. По внешнему виду ему можно было дать лет сорок, но не его пятьдесят пять. Один глаз был неподвижен. Позже Бернард Кенен рассказал нам, что правый глаз ему выбили в феврале 1933 года молодчики из СА в Эйслебене.

Несколько дней спустя мы слушали его лекцию «Приход фашистов к власти». Кенен упомянул в ней и о кровавых событиях 1933 года в Эйслебене. Он обвинял фашистов в терроре, однако ни словом не обмолвился о своем мужественном выступлении против них…

– Добро пожаловать, новички, – сказал он нам. – Мы вас очень ждали, так что теперь можно начинать наш курс.

Без лишних слов Кенен приступил к делу. Он рассказал об антифашистской школе в Талице, о том, что в настоящее время здесь находятся военнопленные из шести стран: словаки, венгры, румыны, австрийцы, итальянцы и немцы. Секторы других национальностей, как правило, состоят из двух или трех групп. Немецкий сектор – самый большой, он состоит из двенадцати групп, в которых обучается триста слушателей.

Затем начальник сектора представил нам наших педагогов. Кое о ком из них мы уже слышали от товарищей, а вскоре познакомились с ними ближе в своей практической работе…

***

Одним из наших педагогов был Георг Касслер – бывший депутат рейхстага от Коммунистической партии Германии. Небольшого роста, седоволосый, он дружески кивнул нам при первом знакомстве. У меня сразу же сложилось о нем представление как о душе-человеке. Таким он оказался и на самом деле. Касслер умел заразительно смеяться и радоваться как ребенок. В первое же воскресенье он пришел к нам в комнату. Помню, он рассказал тогда об одном случае, который произошел с ним в московской парикмахерской вскоре после его приезда в Советский Союз (он эмигрировал из Германии).

Он знал тогда всего-навсего несколько русских слов, таких, как «здравствуйте» и «да». Его постригли и побрили. Когда же он хотел встать, парикмахер попросил его минуточку посидеть.

Касслер послушался. Через несколько секунд парикмахер вернулся с флаконом одеколона в руках. Клиент согласно кивнул. Парикмахер, поставив флакон на тумбочку, снова куда-то скрылся. На этот раз он принес коробку туалетнего мыла. Глядя на мыло, клиент снова кивнул, сказав два раза «да». Точно так повторилось с пудрой и флаконом духов. Георг недоумевал. Сказав наконец «спасибо», он поднялся с кресла и направился к кассе, чтобы расплатиться за стрижку и бритье. Каково же было его удивление, когда кассир подал ему бумажку, на которой значилось сорок с чем-то рублей. «Не может быть, – подумал Касслер, – чтобы стрижка стоила так дорого!» Но как он мог объясниться со своими пятью русскими словами? Он еще больше удивился, когда девушка подала ему большой сверток. В нем было упаковано все, что показывал ему парикмахер. Оказалось, своими «да» Касслер договорился о покупке всех этих вещей. Георг быстро расплатился и вышел из парикмахерской.

– Так что смотрите, – смеясь, сказал он, – осторожнее обращайтесь с незнакомыми словами, и особенно со словечком «да».

Касслер всегда находил время обсудить волнующие нас проблемы. И он бывал очень строг, если видел равнодушие к политическим вопросам. Когда же ему приходилось сталкиваться с кем-нибудь из закоренелых фашистов, Касслер был непреклонен. Он не признавал никаких компромиссов, на которые порой соглашались другие. И кто действительно был предан делу антифашизма, тот ценил в Георге больше всего именно это его качество.

В антифашистской школе № 165 работали четыре женщины, и среди них Фрида Кенен – жена и соратница Бернарда Кенена.

– Равнодушие и приспособленчество очень опасны как для нации, так и для каждого человека. Это заклятые враги, – говорила нам другая преподавательница, Паула Хохкеплер. Она и до войны была учительницей.

Большим знатоком основ марксизма-ленинизма была у нас Лене Берг. Гимнастерка ладно облегала ее стройную фигуру. Лене Берг всегда воодушевлялась, когда читала свои лекции курсантам или же проводила с нами, ассистентами преподавателей, семинарские занятия. Берг помогла нам разобраться во многих вопросах. На ее занятиях мы говорили о характере народной демократии, обсуждали речь Черчилля в Фултоне. Речь Черчилля лишний раз подтверждала марксистское положение о том, что стремление империалистов к войнам коренится в экономических причинах. Одновременно нам стало ясно, что народы будут сильнее, если выступят в едином строю.

Задача немецких антифашистов – помочь такому союзу.

Лекции Лене Берг способствовали нашему идеологическому воспитанию. В первую очередь это относится к ее лекциям по истории немецкого рабочего движения. С какой гордостью рассказывала она о Карле Либкнехте, о том, что 2 декабря 1914 года он выступил в рейхстаге с предложением голосовать против военных кредитов. Из лекций Берг мы много узнали о борьбе левых сил против империалистической политики войны в период 1914-1918 годов, о деятельности Коммунистической партии Германии, о том, что такое пролетарский интернационализм. Лекции и семинары Берг укрепили во мне веру в победу пролетариата.

Преподавательница никогда не навязывала нам своего мнения. Обведя всех взглядом, она как бы спрашивала каждого из нас:

«А как думаешь ты, товарищ?»

Нравилось мне в ней и то, что она решительно выступала против философии самообмана. В 1946 году одну из своих лекций она закончила следующими словами: «Несмотря на все свои заслуги, революционному движению немецкого рабочего класса не удалось сковать силы германского империализма и преградить ему путь. Однако тактика антифашистского единого фронта была правильной. КПГ зарекомендовала себя последовательным борцом за интересы всей нации, за демократию, за мир и прогресс. Компартия доказала это своими жертвами, которые она принесла в черную ночь фашизма…»

И курсанты и ассистенты очень любили и другую преподавательницу – Труду Дюрр. Она тоже носила гимнастерку и портупею. Долгое время я был у нее помощником в группе. Она никогда не мешала мне и всегда выручала, если курсанты своими вопросами ставили меня в тупик. Делала она это очень тактично: скажет только несколько слов, а у меня уже твердая почва под ногами. Сначала нам, ассистентам, было действительно нелегко отвечать на многочисленные вопросы двадцати пяти человек, у которых в голове была черт знает какая путаница. Некоторые важные семинары товарищ Дюрр проводила сама. Ее методику преподавания я усвоил на всю жизнь.

***

Затем начальник сектора представил нам товарища Роберта Наумана – руководителя восьмой группы. Он был специалистом по политэкономии. Это был мужчина среднего роста, худенький, с

загорелым лицом. Седеющие виски говорили, что ему уже за сорок. Летом, однако, он удивил нас всех своими гимнастическими способностями. Позже я довольно близко сошелся с товарищем Науманом. Эта дружба помогла мне в занятиях по политической экономии. Вспоминая лекции профессора Рудаша в Красногорске, восхищенный знаниями Наумана, я очень скоро засел за чтение «Капитала» Маркса, штудируя его страницу за страницей.

Товарищ Науман научил меня лучше понимать Ленина. На многочисленных примерах преподаватель показал мне, как Ленин развил учение Маркса – Энгельса применительно к новой исторической обстановке. Товарищ Науман порекомендовал мне прочитать работы В. И. Ленина, в которых дается классический анализ эпохи монополистического капитала: «О лозунге Соединенных Штатов Европы», «Социализм и война» и другие. Сейчас эти работы известны большинству немцев, но в то же время о них мало кто из нас знал. Науман не раз слышал выступления Владимира Ильича.

Занятия под руководством Роберта Наумана дали мне очень многое. Благодаря ему я стал разбираться в законах развития человеческого общества.

И наконец, товарищ Гейнц Эверс. Он был одних лет с Бернардом Кененом. Это был стойкий боец-антифашист. Все любили его за принципиальность и непримиримость к недостаткам.

Нескольких преподавателей в тот день, на первой встрече с нами, не оказалось. С ними мы познакомились позже. Это были товарищ Кааман – специалист по крестьянскому вопросу, австриец товарищ Фабри и товарищ Свиталла. На старших курсах преподавателями работали товарищи, которые в свое время мужественно сражались в интернациональных бригадах в Испании. Противник у них и теперь остался тот же – фашизм, только оружие они сменили на слово. А сражаться за умы людей не менее трудно и ответственно.

***

Здесь, как и в Красногорске, перевоспитание военнопленных в антифашистском духе считали самой главной задачей. Здесь, как и там, нас учили умные, испытанные педагоги. Антифашистские школы открыли глаза сотням людей, которые при решении самых сложных вопросов заняли правильную позицию. Значит, учеба не прошла для них даром.

А ведь наших педагогов подчас иначе и не называли, как «людьми без родины». Позже мы поняли, что настоящий патриотизм неотделим от интернационализма.

Наши преподаватели пользовались большим авторитетом как у курсантов, так и у нас, ассистентов. Однажды Книпшильд сказал мне, что он солдат своей партии, солдат Коммунистической партии Германии. Вспоминая эти его слова, я понял, что за личным авторитетом каждого нашего преподавателя стоит авторитет партии рабочего класса.

***

В учебе дни проходили незаметно. В восемь утра курсантам читали двух – или трехчасовую лекцию. Лекции читали нам в клубе, что был в трехстах метрах от здания, в котором мы жили.

В клубе умещалось человек шестьсот – семьсот. Здесь всегда было довольно свежо, так что уснуть на лекции было просто невозможно. Сидели, подняв воротники шинелей. Тетради держали прямо на коленях.

Как и в Красногорске, здесь тоже много внимания уделяли семинарским занятиям, на которых курсанты свободно высказывали свое мнение. На семинарах обсуждали наиболее важные вопросы лекций, старались связать теоретические выводы с действительностью. На семинарах, как правило, преподаватель стремился говорить как можно меньше, давая больше выступать самим курсантам. Для нас, ассистентов преподавателя, на первых порах казалось очень трудным делом расшевелить своих слушателей. Однако постепенно мы освоились.

В антифашистской школе были созданы элементарные условия для учебы. Разумеется, это были далеко не райские условия. Мы, двенадцать ассистентов, размещались на двухэтажных нарах. В левом углу комнаты стояли стол и две скамьи, на которых могли усесться только шесть человек. Другим приходилось работать или сидя на койке, или же стоя. Но мы ухитрялись все же и писать конспекты, и заниматься до поздней ночи. Мы учились по десять-двенадцать часов в сутки.

Я с головой ушел в учебу. Минимум знаний, полученных в Красногорске, подготовил меня к самостоятельной работе над книгой. Хотелось лучше разобраться в происходящих событиях. С каждым днем становилось все яснее, что Гитлер проиграл войну. Нужно было все это не только осмыслить самому, но и объяснить другим.

Однако как бы ни было печально нынешнее положение

Германии, мы не имели никакого права раскисать. От всех нас скоро потребуются активные действия, и к этому нужно подготовиться, учитывая уроки прошлого.

Примером для нас во всем были советские и немецкие коммунисты. Постепенно мы пришли к убеждению, что судьбу немецкой нации можно будет повернуть в лучшую сторону, если рабочий класс свергнет в стране власть монополистической буржуазии. Перед каждым из нас встала задача – теоретически и практически усвоить мировоззрение рабочего класса.

За время моей работы в антифашистской школе в Талице я познакомился еще с одним очень хорошим человеком – с советским капитаном Исаковым. Он был заместителем начальника школы. Несколько позже ему присвоили звание майора.

Для меня Исаков олицетворял настоящего советского человека. Чем он занимался до войны, я точно не знал, но, вероятно, он имел какое-то отношение к литературе. Исаков был высокообразованным человеком. Свои лекции для немцев он читал на немецком языке, для итальянцев – на итальянском. Поговаривали, будто он делал переводы шекспировских драм. Кроме того, он изучал и испанский язык.

В середине декабря 1944 года капитан Исаков прочитал нам лекцию о соотношении сил воюющих сторон. Капитан говорил быстро, не сводя при этом глаз со своих слушателей. В свой конспект он почти не заглядывал.

Исаков говорил о совершенно неизвестных нам фактах, приводил соответствующие цифры, убедительно показывая роль германского империализма в подготовке второй мировой войны. Еще в 80-х годах прошлого столетия господствующие круги Германии, используя временный экономический подъем, стали готовиться к первой мировой войне, мечтая о господстве в Европе и во всем мире.

– Однако, – продолжал далее лектор, – все планы милитаристских кругов тогдашней Германии потерпели фиаско. Неизбежное поражение ждет и Гитлера. Гитлеровский военный блок уже распался под ударами Советской Армии и ее союзников. Растет дух сопротивления и в среде самого немецкого народа. Красноречивее всего об этом говорит движение «Свободная Германия».

Затем капитан Исаков дал характеристику антигитлеровской коалиции. С особенной гордостью и уверенностью говорил он о своей родине. Однако ни в его голосе, ни в словах не было и тени превосходства. Советский офицер говорил о силе и непобедимости своей страны.

Капитан Исаков оценивал значение антигитлеровской коалиции не только с точки зрения сотрудничества во время войны, но и в послевоенные годы. Он высказал мысль, что, быть может, это поможет надолго исключить войну из жизни общества. Капитан Исаков говорил как ученый, со знанием дела.

С совершенно другой стороны узнал я капитана несколько недель спустя. Было это в один из мартовских дней. Весеннее солнце ярко светило с голубого неба, и хотя оно еще не слишком припекало, все же то тут, то там на снегу появились темные проталины. В тот день товарищ Исаков рассказывал нам о лагерях смерти в Майданеке и Освенциме. Говорил он приглушенным голосом. И не как судья, не как обвинитель, а как человек, который, казалось, прошел этот путь вместе с миллионами жертв этих лагерей. Никогда я не забуду слов, которыми капитан закончил свою лекцию: «Немцы, это должно заставить вас задуматься!»

После окончания войны я не раз встречался с Исаковым и каждый раз открывал в нем что-то новое для себя. Как-то вечером я пошел к нему, чтобы составить конспект к очередному занятию. Мне пришлось трижды постучать, пока я услышал: «Войдите». Исаков, теперь уже майор, сидел за столом. Вид у него был очень усталый. Перед ним лежал номер газеты. Спросив, что мне было нужно, я хотел уже уйти, но майор пригласил присесть. Он начал читать наизусть из «Фауста» Гете. Прочитав несколько отрывков, помолчал и сказал:

– И все эти замечательные произведения Гете создал в Ваймаре. А вот сейчас я читаю сообщение из того же самого Ваймара о концлагере Бухенвальд, где умерщвлены десятки тысяч людей только за то, что они не были согласны с фашистами.

Мне, собственно говоря, нечего было ему ответить. Помолчав, я с трудом выдавил из себя:

– Да, это ужасно… стыдно…

– Я не хотел заставить вас здесь каяться…

Когда я вышел из комнаты, то снова вспомнил слова Исакова, сказанные им в конце лекции о концлагерях: «Немцы, это должно заставить вас задуматься!»

***

Война близилась к концу. 24 декабря 1944 года Красная Армия замкнула кольцо окружения вокруг Будапешта. 17 января 1945 года была освобождена Варшава. Немецкое наступление в Арденнах перед Новым годом было остановлено союзными

войсками.

И чем ближе был конец войны, тем острее вставал вопрос о будущем Германии. Об этом много говорили и у нас в антифашистской школе.

В середине января 1945 года к нам приехал товарищ Вальтер Ульбрихт. Он сделал обстоятельный доклад о международном положении и задачах движения «Свободная Германия».

Вальтер Ульбрихт подчеркнул тот огромный вклад, который внес Советский Союз в разгром гитлеровской Германии, указал, что союз трех великих держав ускорил разгром фашизма. (В это же самое время в Германии проводилась тотальная мобилизация.)

Далее Вальтер Ульбрихт говорил о задачах немецких антифашистов, подчеркнув, что будущее Германии решается уже сегодня и в значительной степени зависит от антифашистского движения. Ульбрихт так сформулировал наши задачи: «Все силы на борьбу против Гитлера! Сохранить Германию как государство в довоенных границах! Создать народные комитеты! Всех фашистских преступников привлечь к ответственности! Для выполнения этих задач нужно создать единый фронт всех антифашистских сил».

Затем докладчик сказал и о послевоенных задачах. Недостаточно только повергнуть фашизм на поле боя. Более ответственная и трудная задача – не допустить впредь никакой агрессии, которая исходила бы с немецкой земли. А для этого необходимо создать социальные, экономические и идеологические предпосылки, и прежде всего покончить с засильем монополистического капитала.

Далее Вальтер Ульбрихт назвал четыре основных положения, которые следует учесть, создавая новое немецкое государство.

Во-первых, как господствующие круги, так и весь немецкий народ должны признать военное поражение и взять на себя вину за развязывание этой войны.

Во-вторых, империалистическая политика дважды за жизнь одного поколения ввергала Германию в катастрофу.

В-третьих, фашизм олицетворяет самые реакционные силы во всей истории Германии.

В-четвертых, только новая демократия может гарантировать Германии свободную и мирную политику. Эта демократия родилась в борьбе рабочего класса в союзе с широкими массами трудящихся и другими патриотически настроенными слоями населения.

В своем докладе товарищ Вальтер Ульбрихт подчеркнул, что причины национальной катастрофы Германии – не в военных ошибках, а в антинародной политике захватнических войн,

которую столь бесчеловечными методами насаждал фашизм.

Ульбрихт развенчал расовую теорию нацистов, теорию, которая оправдывала войны, которая считала, что правда и победа всегда на стороне сильнейшего. По этому поводу мы, курсанты, тоже очень много спорили. Ульбрихт заявил, что именно расовая теория фашизма и вызвала во всем мире ненависть к Германии. Фашисты, провозгласившие «теорию джунглей», перенесли законы животного мира на человеческое общество. На практике это вылилось в уничтожение нескольких миллионов польского населения. Говоря об этом, Ульбрихт привел цитату Карла Маркса о том, что германо-польские отношения могут быть решены лишь на основе демократии.

Далее Вальтер Ульбрихт сказал:

– С точки зрения наших будущих границ нам далеко не безразлично, каким государством станет Польша, как не безразлично и то, будет ли она проводить у себя демократическую политику, будет ли поддерживать ликвидацию прусского милитаризма. Польша уже не раз страдала от прусской военщины. И она имеет полное право стать независимым, суверенным государством. Жизненные вопросы германской нации зависят не от количества квадратных километров территории, а от системы государственного правления и дружеских связей с другими народами и государствами.

Вальтер Ульбрихт подчеркнул, что в новой Германии на первом месте будет стоять труд – труд по восстановлению немецких городов и сел, труд как средство реабилитации в глазах других народов, труд как средство воспитания трудящихся.

– Нам никогда не надо забывать, что будущее Германии зависит в первую очередь от того, насколько удастся нам выкорчевать корни фашизма и империализма.

Мы будем бороться против любых реакционных сил, за новую демократию.

В заключение Вальтер Ульбрихт сформулировал задачи, стоящие перед Национальным комитетом «Свободная Германия» и Коммунистической партией Германии. Лозунг Национального комитета по отношению к вермахту был и остается правильным. Первая задача – покончить с войной и прекратить это безумное кровопролитие. Прекращение войны будет предпосылкой для всего остального.

Для любого немецкого солдата, который не хочет бессмысленно рисковать своей жизнью, – это единственный выход. Что касается послевоенного периода, Национальный комитет – за разумное сотрудничество всех сил, борющихся против гитлеровской политики. Коммунистическая партия

Германии и Национальный комитет выступают за союз всех демократических сил, которые стоят за мир, равенство, работу для всех. Самое главное – лишить власти тех, кто дважды ввергал Германию в войну. Немецкий народ должен знать правду о своей вине.

Спасение германской нации – в демократизации всей общественной жизни. Главный враг немецкой нации – германский империализм.

Вальтер Ульбрихт познакомил нас с антифашистско-демократической программой перестройки Германии. Прозорливость КПГ удивила меня, когда я из уст ее руководящего деятеля услышал о готовности коммунистов сотрудничать со всеми антифашистскими силами, защищающими интересы нации.

Да, мы хорошо понимали, что Гитлер проиграл войну, а Германия несет огромную вину за ее развязывание. Каждый из нас горел желанием хоть в какой-то мере способствовать созданию новой Германии. Некоторые из нас не понимали только, почему Национальный комитет «Свободная Германия» не переходит к решительным действиям.

Новая Германия

События развивались стремительно. В советской прессе и в газете «Фрайес Дойчланд» публиковались материалы, в которых говорилось о приближающемся конце третьего рейха. В Германии были созданы специальные трибуналы для суда над инакомыслящими. Теперь каждому из немцев, от простого солдата до генерала, грозила виселица, если только он вдруг вздумал бы воспротивиться гитлеровскому режиму.

Началась агония в политике фашистов. В конце марта Гитлер приказал взрывать мосты, фабрики, заводы, дороги и железнодорожные линии, которые были под угрозой захвата противником. Находились смельчаки, которые пробовали препятствовать выполнению этого безумного приказа. Однако основная масса военнослужащих, независимо от рангов, покорно выполняла этот приказ, нанося хозяйству страны миллиардные убытки.

13 февраля был освобожден Будапешт, 30 марта – Данциг, 14 апреля – Вена. 24 апреля, то есть спустя два года и пять месяцев после окружения 6-й армии под Сталинградом, Красная Армия замкнула кольцо вокруг Берлина.

***

В это время в Талице разнесся слух, что Гитлер покончил жизнь самоубийством. Многие восприняли это известие как своеобразный трюк «коричневого» диктатора, предпринятый им для того, чтобы легче скрыться. Как бы там ни было, но гросс-адмирал Дениц сформировал в Шлезвиг-Гольштейне новое правительство. Однако дни существования этого кабинета были сочтены.

8 мая 1945 года, в прекрасный солнечный день, всех курсантов антифашистской школы выстроили на плацу.

Майор Исаков сообщил, что по радио передано сообщение о безоговорочной капитуляции Германии.

Вторая мировая война закончилась. Наконец-то настал час, которого с нетерпением ждали миллионы людей во всем мире!

Послышались радостные возгласы. Ликовали итальянцы, румыны, венгры, чехи, словаки, австрийцы. Все обнимались, в воздух летели шапки.

Немцы тоже радовались, однако их радость омрачалась сознанием того, что это их страна до последнего момента вела

разбойничью войну.

Удручало сознание собственной вины.

Этот торжественный день закончился торжественным прохождением военнопленных всех национальностей перед командованием и педагогическим коллективом антифашистской школы.

Начинался новый курс в антифашистской школе. Было больше слушателей, больше групп и педагогов. Это был первый послевоенный курс. Самый мобильный наш педагог, товарищ Бернард Кенен, прочитав всего несколько лекций, уехал на родину. Там его ждала ответственная работа.

В своей последней лекции он рассказал нам о революции 1848 года.

Говорил он не спеша, чеканя каждое слово. Лектор дал развернутую картину событий в Германии с 1815 по 1848 год.

– Победа над войсками Наполеона, – сказал он, – не принесла трудящимся Германии освобождения от внутренних врагов. Нерешенным остался вопрос о единстве нации и буржуазной демократии. Восстание силезских ткачей 1844 года показало, что немецкий рабочий класс ведет классовую борьбу против буржуазии и феодально-милитаристского прусского государства. В это время начали свою революционную деятельность Карл Маркс и Фридрих Энгельс. В это время они написали «Манифест коммунистической партии».

В мартовские дни 1848 года народ вышел на баррикады.

Далее лектор рассказал о предательской роли тогдашнего буржуазного правительства.

Особое впечатление на меня произвело то, как коммунист Кенен увязал идеи «Коммунистического манифеста» с руководящей ролью рабочего класса, как доходчиво раскрыл значение союза рабочего класса с крестьянством, интеллигенцией и мелкобуржуазными слоями населения.

– В 1848 году, – продолжал лектор, – буржуазия стояла во главе нации в борьбе за демократию и единство. Но буржуазия подорвала свой авторитет, пойдя на компромисс с королем и дворянством. И тогда рабочий класс заявил о себе и поднял знамя нации.

Затем Кенен остановился на том периоде немецкой истории, когда единство рейха было достигнуто реакционным путем. Единство провозгласили немецкие князья в Зеркальном зале Версальского дворца, без участия народных масс. Представители монополистического капитала, объединившись с реакционными прусскими милитаристами, стали еще сильнее и начали проводить агрессивную политику. Политика Вильгельма Второго

привела к мировой войне и стоила Германии почти двух миллионов человеческих жизней.

С приходом Гитлера к власти были уничтожены все демократические свободы, завоеванные в дни ноябрьской революции 1918 года.

Вопрос установления демократии в Германии снова встал на повестку дня. Ради его решения мы и учили в антифашистской школе немецкую историю.

Мне, да и всем моим товарищам, очень нравился Бернард Кенен. Этот человек, несмотря ни на что, верил в немецких рабочих, крестьян и ремесленников. Свою задачу Кенен видел в том, чтобы правильно ориентировать людей, и, не щадя себя, прилагал все силы, чтобы пробудить их к активной деятельности, сделать из них борцов за новую Германию.

Время от времени он обводил аудиторию взглядом, словно каждого из нас спрашивал: «А будешь ли ты надежным борцом за дело своей нации?»

После лекции слушатели наградили своего любимого педагога аплодисментами, выражая тем самым свое искреннее желание трудиться на благо новой Германии.

Вечером того же дня слушатели нашей группы собрались все вместе. С чувством удовлетворения мы вспоминали лекцию нашего педагога.

В тот вечер я думал о том, как было бы хорошо, вернувшись на родину, работать рядом с таким же опытным и энергичным человеком.

На новом курсе у меня значительно прибавилось работы. До сих пор я был вторым ассистентом в группе, которую вел товарищ Науман. Мои обязанности заключались в том, чтобы проводить консультации, семинары или заниматься с отстающими. В остальное время я посещал лекции, готовил конспекты, много читал, детально изучал «Капитал» Маркса.

Теперь же меня назначили первым ассистентом в группу, которую вела преподавательница Дюрр. Это перемещение заставило меня серьезно готовиться ко всем занятиям. На консультациях слушатели засыпали меня вопросами. На семинарских занятиях нужно было помочь людям отличить правду от фальши, разоблачая фашизм. Было отнюдь не легко работать с людьми, которые долгие годы находились под влиянием фашистской пропаганды. Нужно было сделать из этих людей активных борцов за новую немецкую нацию.

Большую помощь оказывал нам актив семинарской группы. Этот актив состоял из трех-четырех человек – как правило, убежденных антифашистов. Обычно это были члены КПГ,

Коммунистического союза молодежи Германии или члены СДПГ. Эти люди обладали такими знаниями и опытом, что педагоги и ассистенты охотно могли опереться на них. Активисты проводили большую воспитательную работу. Они помогали слушателям, у которых учеба шла туго, показывали во всем личный пример.

До антифашистской школы мне почти не приходилось заниматься педагогикой. Теперь же у меня накопился некоторый педагогический опыт. Довольно часто я замечал, что некоторых слушателей мучат те же самые вопросы и сомнения, которые год-два назад одолевали меня. Мой собственный опыт подсказывал мне, что все эти внутренние конфликты нельзя решать схематично. Помимо необходимых знаний воспитателю-педагогу антифашистской школы приходилось запастись и терпением.

Успех воспитательной работы, по-моему, зависит в первую очередь от личности самого воспитателя, его образованности, его способности зажечь личным примером. У него должен быть зоркий глаз и чуткое ухо. И глубокая вера в правоту своего дела! Только тогда он сможет привить своим слушателям антифашистско-демократическое мировоззрение.

Не менее важно для педагога-воспитателя уметь рассказывать или вести задушевную беседу. Нужно уметь выслушать ученика, уметь тактично с ним поспорить.

Еще в антифашистской школе в Красногорске педагоги большое внимание уделяли критике и самокритике. Помню, каждый из нас рассказывал товарищам по группе о своем жизненном пути. Рассказы о своей жизни давали возможность как самому, так и товарищам все критически взвесить и решить многие важные вопросы. Однако и здесь возникала опасность принципиальные вопросы заслонить мелкими субъективными оценками. Тут уж педагог должен был направить спор в нужное русло. Метод критики и самокритики помогал мне формировать характер как отдельного человека, так и коллектива в целом.

Большое значение в процессе воспитания имели взаимоотношения индивидуума и общества. По этим вопросам мне приходилось много спорить, особенно с интеллигентами. И я раньше считал, что вопросы профессии, понятия чести – глубоко личная область, а политика – сфера неличного. Ужасы военной жизни изменили такой взгляд на вещи и события. Такой подход ко всему был не что иное, как самообман. Смысл жизни – не в личном благополучии, а в борьбе за благо человека и общества. Невозможно жить в мире изолированно от политики. И верным компасом в нашей жизни стало учение марксизма-ленинизма.

В напряженной работе, учебе проходила неделя за неделей. Помимо работы с группой я готовился к лекции на тему

«Советское государство». Эту лекцию я должен был прочитать вместо преподавателя, которого послали на работу в Германию. Для меня, ассистента, это было большой честью, так как таких серьезных лекций ни одному военнопленному еще никогда не поручали.

Педагоги и ассистенты постоянно проводили индивидуальную работу с военнопленными. В лагерь прибыло много новичков. Большинство из этих пленных были в сносном обмундировании, откормлены и потому вели себя довольно заносчиво.

– Мы вам никакие не военнопленные, а интернированные, – говорил то один, то другой из них. – Мы из Курляндской армии, которая капитулировала добровольно! Иначе русские пообломали бы об нас зубы. Мы протестуем против того, чтобы нас считали военнопленными!

– То, что вы капитулировали, это хорошо, – начал я объяснять одному из крикунов. – Но вы должны были это сделать гораздо раньше. И тогда многие из тех, кто сейчас лежит в земле, остались бы в живых. Не забывайте, что и ваше положение было безвыходным. Прошло бы несколько дней, и Красная Армия полностью ликвидировала бы вас.

– Вы потому так говорите, – ответил мне какой-то лейтенант, – что работаете в этой школе. Я же лично злюсь на себя за то, что не сопротивлялся дольше и не уложил еще многих русских.

– Тогда бы вы наверняка не находились здесь. Вот вы мне скажите, ради чего, ради какой цели вы хотели сражаться дальше? Какой смысл убивать людей, когда война для Германии уже проиграна?

– Это была война двух мировоззрений, – не сдавался лейтенант. – Мы боролись против большевистской опасности. Чем больше русских мы уложили бы, тем больше ослабили бы большевиков, тем больше сделали бы для спасения фатерланда.

– Да, с такими взглядами вы действительно «спасли бы» фатерланд. Вам мало миллионов убитых, раненых, вдов, сирот, вам мало разрушений и развалин? И вы называете это спасением фатерланда? Да имеете ли вы вообще хоть какое-нибудь представление о большевиках?

– Об этом можно прочесть у Двинчера или у Рахмановой, – ответил лейтенант и повернулся ко мне спиной.

И это был далеко не единичный случай. Яд антикоммунистической пропаганды глубоко засел в головах людей. Но мы не имели права складывать оружия. Сталкиваясь с людьми подобного рода, мы понимали, как много еще нужно

сделать, чтобы преобразовать Германию духовно. И мы не могли не замечать, что наша работа приносит свои плоды.

Особенно «крепким орешком» оказался один юрист, который занимался в моей семинарской группе. На каждом занятии он задавал мне каверзные вопросы. Во-первых, его интересовала проблема – революция и право. Право частной собственности он считал святым и незыблемым. Посягать на частную собственность, даже если речь шла о конфискации имущества военных преступников, он считал преступлением. Не один километр исходил я вместе с ним по дорожкам нашего двора, прежде чем мне удалось вложить в его голову верное представление о собственности, праве и государстве.

– Вы убедили меня, – признался он мне наконец. – Я принимаю сторону рабочего класса. Концепция марксистов теперь представляется мне самой справедливой.

С тех пор юрист стал поддерживать в группе прогрессивно мыслящих товарищей.

Нас радовали вести с родины. Хотя и с опозданием, но мы получали газеты, издаваемые в советской зоне: «Дойче Фолькcцайтунг» – орган Коммунистической партии Германии; «Берлинер цайтунг», «Теглихе рундшау» и «Зоннтаг» – еженедельную газету Культурного союза по обновлению Германии. Эти газеты зачитывали до дыр. Из них мы узнавали о рождении новой Германии, по крайней мере на востоке страны. А как обстоят дела на западе Германии, на моей родине?

Из номера «Теглихе рундшау» от 10 июня 1945 года я узнал, что советские оккупационные власти разрешили в своей зоне деятельность антифашистско-демократических партий, ставящих своей целью искоренение остатков фашизма и милитаризма. Разрешалась деятельность профсоюзов и других демократических организаций.

А несколько дней спустя я прочитал в «Дойче фолькcцайтунг» программное воззвание Коммунистической партии Германии от 11 июня 1945 года. И хотя я впервые читал этот документ, отдельные его положения показались мне знакомыми. Они были изложены еще два года назад в манифесте Национального комитета.

Коммунистическая партия, учитывая уроки прошлого, призывала объединиться всех, кто стремится к миру и прогрессу. Компартия считала, что интересы нации требуют решительной борьбы против империализма и милитаризма, борьбы за мир. Впервые я услышал об этом в Елабуге. В Красногорске я окончательно убедился в правильности этих положений. Изучая труды классиков марксизма-ленинизма, я открыл для себя

мировоззрение рабочего класса. Я понял, что только рабочий класс способен преобразовать нацию, что только рабочий класс под руководством марксистско-ленинской партии сможет сбросить с себя иго тех сил, которые не раз ввергали страну в пучину бед. Я понял, что национальный вопрос тесно связан с социальными проблемами.

Я с восхищением читал о том, как молодой Маркс без колебаний поднял знамя рабочего класса, так как верил, что только этот класс способен обеспечить прогресс Германии.

Программа КПГ от 11 июня 1945 года была философским выражением воли немецкого пролетариата, его авангарда. Программа намечала важный этап на пути освобождения Германии, ставила актуальные задачи дня.

Читая воззвание КПГ, я невольно вспомнил доклад Вальтера Ульбрихта. В призыве КПГ были использованы положения его доклада. Партия рабочего класса призывала немецкий народ до конца довести буржуазно-демократическую революцию и, покончив с империализмом и милитаризмом, приступить к созданию демократического государства. Речь шла не о восстановлении буржуазно-демократических порядков Веймарской республики, а о демократии без империалистов, демократии рабочих, крестьян, ремесленников и интеллигенции при руководящей роли рабочего класса. Программа действий КПГ закладывала фундамент блока антифашистско-демократических партий.

И действительно, через несколько дней коммунистическая и социал-демократическая партии пришли к единому мнению о необходимости совместными усилиями уничтожить остатки нацизма и приступить к построению антифашистски-демократической парламентарной республики. 14 июля 1945 года КПГ, СДПГ, христианско-демократический союз и либерально-демократическая партия Германии высказались за новую Германию. Общая политическая платформа этих партий была фактически сформулирована еще в воззвании КПГ от 11 июня 1945 года.

Интересно, какой отклик встретил этот призыв в других зонах оккупации? Информация, поступающая к нам, ясного ответа на этот вопрос не давала.

Один из пунктов программы антифашистско-демократического блока касался и нас, военнопленных. Речь шла о необходимости хоть в какой-то мере возместить ущерб, нанесенный гитлеровской агрессией. Для этого нужно было пленным поработать, правда, слушатели нашей антифашистской школы больше учились, чем работали. Но в других местах и

слушатели и ассистенты принимали активное участие в строительстве мостов или на торфоразработках. На каждом курсе специальные дни отводились работе, особенно перед началом занятий. По окончании курса все определенное время работали на уборке картофеля или на заготовке дров.

Как правило, каждая семинарская группа составляла производственную бригаду. Между бригадами развертывалось соревнование. Лучшие бригады премировались. Ассистенты и в труде старались показывать пример слушателям. Однако тем из нас, кто пережил сталинградский котел, порой нелегко было обогнать слушателей, которые попали в плен недавно. Но мы прилагали все силы, чтобы именно наша бригада вышла на первое место.

И еще в одном мы соревновались – на спортивной площадке. В сентябре 1945 года состоялся спортивный праздник слушателей антифашистской школы. В нем принимали участие пленные многих национальностей. На плацу оборудовали футбольное поле, разметили беговые дорожки. Начались ежедневные тренировки. Соревновались мы между секторами. Я сам принимал участие в легкоатлетическом троеборье и занял одно из первых мест: мои гимнастические упражнения дали себя знать.

***

Начиная с середины июля 1945 года главы правительств Советского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании вели переговоры в Потсдаме о послевоенном устройстве Германии. Договор, принятый на этой конференции, изучался нами на занятиях. Мы сравнивали статьи этого договора с требованиями Национального комитета «Свободная Германия» от 13 июля 1943 года. Сравнивали и с удовлетворением отмечали, что статьи Потсдамского соглашения о денацификации, демилитаризации и демонополизации новой Германии в основном совпадали с предложениями Национального комитета. Особенно приятно было читать о том, что союзные державы не собираются ни уничтожать, ни порабощать немецкий народ. Союзники предоставляли Германии возможность подготовить почву для создания нового, демократического и миролюбивого государства.

Далее сообщалось, что оккупационные державы рассматривают Германию как единое целое в экономическом отношении. Министрам иностранных дел поручалось подготовить проект мирного договора с Германией, который позже будет подписан единым немецким правительством. Все это были

предпосылки для создания в Германии антифашистского демократического суверенного государства.

Мы, антифашисты, с удовлетворением отмечали, что Потсдамский договор не ущемляет национальных интересов немецкого народа. Много дискуссий и споров, однако, вызвал вопрос об установлении германо-польской границы по Одеру – Нейсе и о передаче Кенигсберга Советскому Союзу. Те, кто проживал в районах, которые должны были отойти к Польше и Советскому Союзу, ходили опечаленные. От товарищей, которые недавно попали в плен, мы узнали, что по приказу нацистов сотни тысяч немецких граждан в последнее время переселяются в западные районы страны. Эти бесконечные вереницы беженцев – женщин, детей и стариков – не могли оставить равнодушным ни одного немца, тем более антифашиста.

И только теперь я по-настоящему понял смысл того, о чем говорил в своем докладе товарищ Вальтер Ульбрихт. «Изменение государственных границ Германии пройдет для многих немцев не безболезненно, – говорил он тогда. – Но никто не должен забывать ни Майданека, ни Освенцима! Не следует забывать и о бывших разделах Польши, в которых германские милитаристы сыграли решающую роль. Польша имеет все права стать суверенным государством. Как бы ни горьки были уроки для Германии, главное в германо-польских отношениях сейчас – вопрос не о границах, а о демократизации Польши и Германии. Именно в этом следует искать ключ для установления длительных добрососедских отношений между обоими народами».

В основе такого понимания вопроса лежал исторический опыт и сознание огромной вины Германии в развязывании войны. В. Ульбрихт указал мирное решение этой проблемы.

Вопросы об изменении границ Германии решались строго, но обоснованно. После обсуждения этого вопроса в группе ко мне подошел один товарищ из Бреслау. На семинаре он молчал, а тут ему вдруг захотелось излить свою душу.

– На занятиях мы учили, что социалистическому государству чужды захватнические войны, – начал он. – А что мы видим теперь?

– Я понимаю твое беспокойство, – перебил я его. – Но сначала как следует подумай, кто вел захватническую войну: Польша, Советский Союз или Германия?

Товарищ из Бреслау молчал, упрямо глядя перед собой.

– Бесспорно, что это сделали мы, немцы, – продолжал я. – И сделали не только для того, чтобы захватить всю территорию Польши и присвоить себе советские земли. Не только! Фашисты

уничтожили миллионы польских и советских граждан. Это была политика уничтожения целых народов. По-моему, это – самое тяжкое преступление, которое когда-либо знала мировая история. Так разве славянские народы не вправе оградить себя от повторения подобного преступления со стороны немцев?

– Мне понятно, что мы, немцы, сильно виноваты. Но в установлении новых границ я вижу повод для новой войны.

– Конечно, в Германии есть силы, которые мечтают о новом реванше. И граница по Одеру – Нейсе для них будет главным поводом. Задача антифашистов – полностью покончить в нашей стране с поджигателями войны. Разве ты не знаешь, что, пока в Польше и Чехословакии находились немцы, обстановка все время оставалась напряженной? А вспомни-ка политику Гитлера в отношении этих стран… Как ты на это смотришь?

– Я тогда думал, что все немцы имеют право жить в большом немецком рейхе…

– Именно в этом мы и ошибались. Ты очень плохо думал. И все мы плохо думали. «Фрайес Дойчланд» в последнем номере поместила статью генерал-майора Ленски. Я тебе дам мою газету, прочти эту статью и как следует подумай. Ленски сам родился в Восточной Пруссии. Так что, ему ли не жалеть об этих районах? Но он хорошо знает, что новая война за восточные районы была бы преступлением и привела бы немецкую нацию к полной гибели.

На последующих занятиях я намеренно много внимания уделял вопросу о границе по Одеру – Нейсе, стараясь осветить его со всех сторон. Я говорил о характере захватнической войны, которую развязала Германия, об истории германо-польских отношений, о «теории жизненного пространства» и расовой теории, наконец, о демократическом переустройстве как в самой Германии, так и в Польше. Я нарисовал слушателям картину новых добрососедских отношений двух народов.

После этого занятия мой знакомый из Бреслау вернул мне номер «Фрайес Дойчланд».

– Мне трудно сразу перестроиться, – начал он. – Нужно действительно смотреть на события шире. Конечно, поляки имеют право на границу по Одеру – Нейсе.

***

В августе каждый военнопленный получил открытку Общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. Там были вопросы, на которые предлагалось ответить.

В мае 1943 года, находясь в Елабуге, я уже заполнял такую открытку. Позже мы узнали, что немецкие власти отказались принять почту из Советского Союза. Таким образом, очень долгое время мы не имели никаких вестей с родины. Дома даже не знали, убит их родственник или попал в плен. Официально все мы числились погибшими.

Из Елабуги я послал на радиостанцию «Фрайес Дойчланд» небольшой материалов котором высказал свое отношение к Национальному комитету. Однако я так и не знал, получила ли моя жена эту весточку от меня. Только по возвращении на родину я узнал от самой Эльзы, что зимой 1943/44 года она получала много анонимных писем о том, что я жив. В письмах неизвестные указывали волны, на которых вещала радиостанция «Фрайес Дойчланд».

И вот через два года я снова получил открытку Красного Креста. Что написать на этой небольшой открытке? Что я жив, здоров и надеюсь, что и мои близкие тоже живы? Или же, что я вернусь на родину совершенно другим человеком? Но как поймет это моя Эльза?

Нет, несколькими словами такое не объяснишь. Лучше всего написать о том, что жив, и пожелать родным благополучия.

Какой ответ получу я на эту открытку? Моему сыну уже исполнилось три года, а он ни разу не видел своего отца. Более двух с половиной лет я не получал никаких вестей из дому: с декабря 1942 года все мои связи с домом были полностью порваны. А ведь в Германии тоже шла война! Как все это пережили мои родные?

Я заполнил открытку, и мне было и радостно, и тревожно.

***

Время от времени нас, ассистентов, выпускали за ворота антифашистской школы, и тогда мы шли покупаться в реке или же побродить по лесу, в котором было очень много грибов и ягод. Мы собирали их и приносили на кухню. Грибы сушили по русскому обычаю и зимой варили суп с грибами.

Хорошо было собирать грибы и ягоды, но это приятное занятие омрачали комары, которые тучами летали в воздухе. Страшнее всего было то, что комары переносили малярию. Летом 1945 года я перенес первый приступ малярии. Сам по себе приступ был не тяжелым, но его последствия сказались даже через несколько лет.

В одно воскресенье мне и еще двадцати пяти товарищам

разрешили отлучиться из школы безо всякого сопровождения, то есть без педагогов. Такие вещи у нас практиковали не часто, так как до этого было несколько случаев побега и всему персоналу и педагогическому коллективу лагеря приходилось отправляться на поиски. Последний побег был недели две назад: бежали два человека, найти которых так и не удалось.

Мне лично выдали пропуск на более длительное время, так что я не раз ходил в лес.

У ворот лагеря дежурный офицер сказал мне, чтоб на обратном пути мы захватили с собой дровишек и ровно в пять вечера были на месте. Перейдя через мост, мы очутились в прекрасном смешанном лесу. До ягодного места нужно было идти не меньше получаса. Мы спокойно шли по лесу, любуясь природой. Казалось, даже комары не очень нас донимали. Шли мы группами, тихо разговаривая. Кто-то даже запел. Это был Курт, самый пожилой из слушателей.

Несколько человек стали ему подпевать. Однако пели далеко не все: молодые не знали слов этой песни. Более того, они даже не знали, что песня эта родилась из стихотворения Гете.

Да, с приходом Гитлера к власти стихи в Германии стали не в моде. Молодежь распевала только эсэсовские боевики.

– Эту песню я слышу впервые, – признался мне Манфред. Его послали на фронт в семнадцать лет. – К своему стыду, только в плену я вдруг узнал, что «Лорелей» написана Генрихом Гейне. А в школе, помню, в учебнике было написано: «Автор неизвестен».

– Да, немало хлама нам придется вывозить за фашистами, – осторожно начал я разговор. – И не только разбить ложную версию о том, что евреи якобы ничего не внесли в культуру немецкого народа…

Манфред рассказал мне об одном случае, который заставил его задуматься.

– Моей любимой драмой был «Вильгельм Телль». Я дважды видел этот спектакль в театре. «Телль» всегда производил на меня сильное впечатление. Конечно, нацистские режиссеры прочитывали драму по-своему, так что от нее несло душком национал-социализма. Каково же было мое удивление, когда я увидел «Вильгельма Телля» в Донбассе в лагере военнопленных! Это было первое драматическое представление за колючей проволокой, и именно «Вильгельм Телль»!

– И тогда ты подумал, что большевики используют наше культурное наследие в своих целях?

– Да, я так и подумал. Это было еще до того, как я записался в антифашистскую школу. Позже я понял, что идея свободы, которой дышит шиллеровская драма, была исковеркана

фашистами. Чем дальше, тем лучше я понимал, что дух свободы может быть только там, где нет варварства.

За разговором мы незаметно дошли до ягодного места. Я попросил товарищей по возможности держаться кучкой. Время шло очень быстро, и вскоре нужно было подумать об обратном пути. Но вот беда! Мы так увлеклись ягодами, что потеряли ориентировку. В какой стороне находится наш лагерь? Кругом лес. Над головой лишь кусочек неба. Куда идти?

Слова дежурного офицера «до пяти вечера» не выходили у меня из головы. Не хватало только, чтобы организовали поиски нашей группы, подняв на ноги всех наших педагогов! Положение было скверное. Я беспомощно оглядывался по сторонам. Товарищи догадались, что мы заблудились, но никто не знал толком, куда идти. Что же делать?

Было уже четыре часа. До школы меньше чем за час ни за что не доберешься! В каком же направлении идти?

– Гюнтер, – обратился я к штабс-фельдфебелю, – ты работал в штабе. Может, ты подскажешь, куда идти?

Он подумал и показал направление:

– Думаю, вот туда.

– Хорошо, положимся на твой опыт.

Шли мы быстро. Вскоре показалось какое-то болото. Места были незнакомые, я никогда раньше не проходил здесь. Уж не ошибся ли штабс-фельдфебель?

– Мы идем в обратном направлении, – заговорили товарищи.

Я остановился и осмотрелся. Болото со всех сторон сплошной зеленой стеной окружал лес. Но что там виднеется за болотом? Уж не те ли это высоченные сосны, что растут по берегам реки?

– Мы вышли как раз в противоположную сторону, Гюнтер, – заметил Курт.

– Попытаемся обойти болото, – предложил я. – Сколько сейчас времени?

– Точно пять, – сказал кто-то.

– Тогда быстрее, нас ждут в лагере. А то еще дежурный объявит тревогу по всей школе!

Вскоре болото осталось в стороне. Лишь бы только не отправили людей на наши поиски!

– Послушайте, товарищи, – обратился я к тем, кто шел поближе. – Вон видите бревна? Два человека свободно могут нести одно бревно. Если уж опоздали, то хоть давайте сделаем коменданту подарок. Может, не так сердиться будет…

Сказано – сделано! К проходной мы подошли только в семь часов. У ворот нас встретил сам дежурный. По его лицу нельзя было сказать, чтоб он очень нам обрадовался.

Собрав весь свой запас русских слов, я обратился к нему:

– Товарищ комендант, извините, пожалуйста, за опоздание. Дрова есть…

Казалось, что сейчас на наши головы обрушится брань. Однако, увидев, что мы принесли тринадцать бревен, комендант сменил гнев на милость.

– Ничего, бросайте бревна сюда… – сказал он.

Все сошло как нельзя лучше.

Через несколько недель после этого случая я с товарищами снова бродил по болоту. Теперь мы собирали на болоте ягоды. Было это в начале ноября, по первому морозцу.

Походы за грибами и ягодами, работы по уборке картофеля, на заготовке дров и прочее шли нам только на пользу и укрепляли нас физически.

Широкий размах получила у нас и культурно-массовая работа. Все мы посмотрели знаменитые фильмы Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“ и „Десять дней, которые потрясли мир“. Видели мы и фильмы о таких выдающихся личностях русской истории, как Иван Грозный, Петр Первый, Суворов. С большим интересом смотрели мы фильмы о Ленине, кинохронику о Великой Отечественной войне и повседневной жизни советских людей.

Но мы увлекались не только фильмами. На нашем курсе был организован хор. Руководил им профессиональный хормейстер. Был у нас и свой инструментальный оркестр. Наш драматический коллектив, в который вошли и несколько настоящих артистов, поставил «Коварство и любовь» Шиллера, «Медведь» и «Свадьбу» Чехова, «Матросы из Каттаро» Вольфа. Эти спектакли с восторгом встретили наши зрители. Профессиональный артист из Бад-Ойнхаузена с таким блеском сыграл роль прелестной вдовушки Поповой, что присутствовавшие на нашем представлении в качестве гостей красноармейцы после спектакля пошли за кулисы, чтобы лично убедиться, что это мужчина, а не женщина.

Культурные мероприятия, проводимые немцами, помогали прокладывать «мостики» к сердцам пленных других национальностей: итальянцев, венгров, румын, австрийцев. Они в свою очередь стали приглашать нас на свои спектакли.

Как первый ассистент, я возглавлял весь коллектив помощников преподавателей. Не раз меня выбирали в президиум различных собраний других национальных секторов. И хотя я мало что понимал из речей на этих собраниях, все равно это помогало нам сдружиться. А свое хорошее отношение можно было выразить громкими аплодисментами. Сближению пленных различных национальностей помогали и шахматные турниры. Так

незаметно между бывшими солдатами вермахта и солдатами других национальностей родилась дружба на совершенно новой основе.

***

Из газет мы узнали, что Вильгельм Пик выступил с речью перед крестьянами и батраками семидесяти пяти общин о необходимости проведения земельной реформы. А через несколько дней, 3 сентября 1945 года, в Саксонии был опубликован специальный закон.

Представителем от КПГ в Саксонии работал наш бывший руководитель сектора Бернард Кенен. Читая «Теглихе рундшау», я думал о том, что Кенен, конечно, сыграл немаловажную роль в проведении этого закона, оказав тем самым своей партии и всему антифашистскому демократическому блоку большую помощь.

По этому закону все юнкерские земельные участки свыше ста гектаров реквизировались и передавались в общий фонд. Независимо от размеров реквизировались все земельные наделы военных преступников и нацистских руководителей. Такие мероприятия проводились во всех пяти районах советской зоны.

Демократическая земельная реформа нанесла тяжелый удар по тем силам в Германии, которые в течение столетий поставляли кадры офицеров и генералов прусскому государству для ведения захватнических войн.

Из лекций по истории, прослушанных в Красногорске, я узнал, что к началу первой мировой войны все генерал-фельдмаршалы, генерал-полковники и генерал-лейтенанты Германии были выходцами из дворян. А это значит, что юнкеры составляли руководящее ядро армии. В годы второй мировой войны среди фельдмаршалов и генералов вермахта было полным-полно дворян. Я назову лишь таких, как Манштейн, Рундштедт, Бок, Лист, Шверин, не упоминая здесь многих других, верных слуг Гитлера, тех, кто разрабатывал для него военные планы.

Демократическая земельная реформа выбивала из-под ног германского милитаризма одну из важных позиций. Реформа, кроме того, вела к демократизации деревни. Исполнилась заветная мечта крестьян и безземельных батраков о своем земельном участке.

Но будет ли проводиться такая же земельная реформа в западных зонах? Я видел деревни западных районов в 1936-1937 годах во время маневров вермахта. Князья, графы и бароны владели тогда огромными земельными участками.

У нас в школе не было ни одного человека, кто бы не приветствовал земельную реформу. Те, кто до армии был крестьянином или батраком, по собственному опыту знали, как тяжела жизнь земледельца. Промышленные рабочие, которые не имели ничего, кроме собственных рук да кучи детишек, тоже хорошо понимали интересы крестьян. Бывшие служащие или интеллигенты видели в земельной реформе проявление гуманизма. Ну а что касается крупных землевладельцев или монополистов, то их в антифашистской школе не было.

Таким образом, среди нас не могло быть заядлых противников демократических преобразований на селе. Зато в самой Германии, где проводилась реформа, их было довольно много. Об этом мы узнавали из газет. Земельная реформа проходила в условиях острой классовой борьбы…

***

За учебой незаметно летели дни и недели. Вот уже восемь недель, как начались занятия на новом курсе. Это был третий курс, на котором я работал ассистентом.

Снова приближалось рождество – первое после окончания войны. В такие дни невольно вспоминаешь родину, родных.

Интересно, получила ли Эльза мою открытку? Может быть! Если получила, вот обрадуется! Смогла ли она купить елку, свечи? Самое главное – чтоб жена и сын были живы и здоровы. Но когда я об этом узнаю? И чем с большим нетерпением ждал я того времени, когда можно будет вернуться домой, тем сильнее росло во мне чувство большой ответственности за родину, за своих близких. Теперь для меня любовь к родным сливалась с любовью к человечеству вообще.

Утром 1 января наши комнаты обошли педагоги, крепко пожимая нам руки и желая счастливого 1946 года.

О скорой поездке домой никто не говорил. Никто не знал, когда это будет. Для ассистентов антифашистской школы еще хватит работы…

И вдруг пришла почта. Ее принесли от начальника сектора. Одно из писем было адресовано мне. Эльза и Хельмут живы и здоровы, родители и брат – тоже. Все с нетерпением ждут моего возвращения.

Возвращение! Вот уже несколько лет миллионы людей на земле ждут своих родных. Когда шла война, жены и дети, матери и невесты с нетерпением и страхом ждали почты, чтобы узнать, жив ли он, их дорогой. Приедет ли когда-нибудь в отпуск? И

вообще, когда наконец кончится это светопреставление?

Солдат на фронте точно так же ждал писем, отпуска, окончания войны.

Война кончилась, но миллионы солдат находились в плену, и их продолжали ждать дома. Тяжелее всего было в первое время, как только смолкли пушки. Неизвестность всегда тяжела. И долгие месяцы матери, жены и дети с трепетом подходили к своим почтовым ящикам в надежде получить весточку, обрести надежду на возвращение отца, сына или мужа. И вдруг – первое письмо из какого-нибудь лагеря!

Однако чаще всего никаких известий не приходило. Это значит – пропал, погиб – неизвестно как и где.

Родные могли ответить военнопленным только в том случае, если получат от них весточку. Но чаще всего никаких известий не было.

Счастливый, я написал домой ответ и через одиннадцать недель снова получил письмо. Постепенно письма стали приходить через месяц.

Моя жена перебралась к своему отцу. Он жил неподалеку от Штутгарта, то есть в американской зоне. А в нашей квартире поселился какой-то французский врач.

Отец писал, что сейчас умы людей заняты не политикой, а поисками хлеба насущного. Меня это взволновало. А не получится ли опять разрыв между политикой и повседневной жизнью, что и привело Германию к катастрофе? Все свои опасения я изложил в пространном письме, которое передал солдату, отпущенному на родину. Через несколько недель я получил ответ на это письмо.

Отец писал: «Ты прав, сынок. Немецкий народ не должен больше никогда стать новой жертвой плутократов и военных преступников. Все честно работающие люди должны объединиться, чтобы самим решать свою судьбу».

Меня радовала такая решительность старика. Жена тоже писала о том, что нам необходимо сделать выводы из случившегося. Между прочим, в этом письме она призналась, что мои прежние политические взгляды ей но нравились.

«Я мечтаю, – писала она, – что после твоего возвращения домой мы начнем новую жизнь. Пусть она будет заполнена миром и спокойствием…»

Я понимал Эльзу. Это была ее давнишняя мечта – мечта о своем маленьком мирке, где царила бы гармония. Но ведь именно такая жизнь и не смогла обеспечить нам ни мира, ни спокойствия. Этот образ жизни оказался несостоятельным перед лицом действительности, перед лицом империалистической

войны. И я был благодарен своим учителям за то, что они научили меня мыслить по-другому. Разумеется, я не сразу пристал к новому берегу. Для этого потребовалось многое: знакомство с русскими и немецкими коммунистами, учеба, споры, беседы с пленными.

В своем новом письме жена писала:

«Ты мне должен будешь многое объяснить. Я и твой сын ждем тебя и мечтаем о новой, лучшей жизни».

Теперь я знал, что, вернувшись домой, найду в себе силы и умение объяснить своим близким правду.

***

Однажды из Берлина пришло известие об объединении Коммунистической партии Германии с социал-демократической. Объединенная партия стала называться Социалистической единой партией Германии.

Года три назад это известие вряд ли бы заинтересовало меня. Во всяком случае, я бы не понял тогда значения этого факта.

Встречи с настоящими антифашистами научили нас, пленных, понимать собственный жизненный путь, показали выход из того тупика, в котором мы оказались.

Готовясь к очередному занятию с группой, я невольно думал о прошлом. Четыре столетия боролся наш народ за свои права и свободу. В конце XV – начале XVI века восстали порабощенные немецкие крестьяне. Руководитель восстания Томас Мюнцер провозгласил программу народных реформ. Он резко критиковал непоследовательность Лютера, который пытался затушевать корни социального зла.

Мюнцер призывал крестьян к вооруженной борьбе. Тысячи и тысячи крестьян взялись за оружие, собираясь под знамена восставших, и одержали несколько побед. К крестьянам присоединились ремесленники, городская беднота, низшее духовенство и горнорабочие. Но противник был лучше вооружен и обучен. Во главе войск противника стояли опытные военачальники. И крестьянское восстание было потоплено в крови.

Тогда главным был вопрос о том, кто поведет народ на борьбу, кто и откуда достанет оружие.

В то время это было в состоянии сделать сословие городских бюргеров. Однако на сторону крестьян встали лишь отдельные представители бюргерства. Большинство из них или заняло нейтральные позиции, или же примкнуло к Лютеру, который

довольно скоро начал действовать заодно с князьями.

Более двух с половиной столетий не было в Германии такого внушительного народного волнения, как Великая крестьянская война. В XVIII веке прогрессивные представители дворянства провозгласили лозунг свободы, равенства и братства. Откликом на французскую революцию 1789 года стало восстание саксонских крестьян в 1790 году, а также провозглашение в 1793 году демократической республики в Майнце. Однако оба эти события имели местное значение. Всколыхнуло народные массы на борьбу лишь наполеоновское нашествие. Однако вся трагичность положения народа была в том, что освобождение от цепей внешнего порабощения еще не означало освобождения от внутреннего угнетения. Вместо национального единства в стране царила разобщенность. И сейчас, в начале XIX века, буржуазия вновь отказалась стать во главе национальной борьбы, как и в 1525 году.

В этот период на историческую арену выходит новый класс – рабочий класс. Восстание силезских ткачей 1844 года было первым мужественным выступлением рабочего класса. В дни революции 1848 года Коммунистическая партия Германии выступала с требованием единой, неделимой республики.

Единство и демократизация – это были национальные лозунги. Они отвечали интересам и буржуазии, так как требовали лишить власти князей и дворян. Однако интересы нации не стали интересами буржуазии. Представители буржуазии, вопреки интересам всей нации, пошли на соглашение с феодальными властями и тем самым изменили делу революции. Таким образом, буржуазия навсегда потеряла право стать во главе нации.

Объединение Германии произошло в 1871 году, но отнюдь не на демократической основе, а под властью Пруссии. В Германии началась борьба между защитниками национальной концепции, которую отстаивал рабочий класс, юнкерами и представителями крупной монополистической буржуазии. Классовые интересы реакционные силы противопоставили интересам нации. Их политика привела нацию сначала к первой мировой войне, затем к фашизму, второй мировой войне, к газовым печам Освенцима, Майданека и Бухенвальда, к гибели четверти миллиона немецких солдат под Сталинградом и, наконец, к национальной катастрофе 1945 года.

Рабочий класс действовал недостаточно решительно и сплоченно в борьбе против реакции. Так было в дни ноябрьской революции 1918 года, так было в дни прихода к власти фашистов.

И вот теперь, в 1946 году, две партии объединились. Рабочий

класс сделал правильные выводы из уроков истории. В стране Маркса и Энгельса осуществился лозунг пролетарского единства. Рабочий класс призывал сплотиться все демократические и прогрессивные силы. Это была важная предпосылка для победы над германским империализмом.

Социалистическая единая партия Германии, опираясь на прогрессивные традиции немецкого народа, в союзе со всеми антифашистско-демократическими партиями шла навстречу своей цели. На съезде была провозглашена программа перестройки Германии. В ней излагались насущные задачи времени и после двенадцатилетней фашистской диктатуры в стране и шести лет войны открыто говорилось об исторической миссии рабочего класса. 21 апреля 1946 года СЕПГ заявила, что она выступает за освобождение трудящихся от всякой эксплуатации и порабощения, от экономических кризисов, нищеты, безработицы и империалистических войн. Решить эти национальные и социальные проблемы можно лишь путем построения социализма.

Багаж человека, возвращающегося на родину

Лето 1946 года стояло жаркое. Дождей почти совсем не перепадало. И как только выдавалось свободное от занятий время, мы уходили на речку или в лес.

Однажды кто-то из нас нашел в библиотеке книгу «Современный германский империализм». Книга вышла в Москве в 1928 году. Написал ее некто Зонтер. Двадцать лет спустя я совершенно случайно узнал, что под псевдонимом Зонтера писал коммунист д-р Рихард Зорге, который своей героической деятельностью во имя мира в годы второй мировой войны снискал себе неувядаемую славу.

Как-то в августе, направляясь вместе с молодым ассистентом Георгом на речку, я взял эту книгу с собой. Георг учился в группе № 8, в которой я тогда работал. Георг был прямым, откровенным человеком. Он жадно тянулся к знаниям. В армию его призвали с курсов преподавателей. Как одного из лучших слушателей, начальство сектора рекомендовало Георга на курсы в Красногорск.

– А что, правда, эта книга так интересна, как говорят? – спросил он меня.

– Я нахожу ее очень умной. Между прочим, автор исследует в ней и отношение рабочего движения к империалистической войне…

– Эти вопросы обсуждались на конференциях в Штутгарте и Базеле, – перебил меня Георг. – Рабочие партии были обязаны сделать все возможное, чтобы не допустить войны. А если война все же разразится, они должны были использовать кризис, чтобы ускорить свержение господства капиталистов.

– Да, такие решения принимались и в 1907 и в 1912 годах. А когда настал 1914 год, мы знаем, что случилось. Только партия большевиков осталась на принципиальных позициях! В других же рабочих партиях верность принципам пролетарского интернационализма сохранили лишь отдельные небольшие группы, как, например, левые в Германии.

– А какова позиция Второго Интернационала сегодня? – поинтересовался Георг.

Мы вошли в лес. В воздухе летали мириады комаров. В лесу мне показалось более душно, чем обычно.

– Зонтер пишет, что, по мнению Второго Интернационала, Лига наций должна была сделать все, чтобы предотвратить

военную опасность.

– Лига наций?.. Но что с тобой? Ты так побледнел!..

– Приступ малярии, – пробормотал я и свалился на землю.

Все поплыло у меня перед глазами. Сделав усилие, я поднялся на ноги. Они показались мне какими-то ватными. Опираясь на Георга, я кое-как доплелся до лагеря. Малярия трясла меня несколько дней подряд, и как никогда сильно. Меня даже забрали в лазарет. Но и после выписки я неважно чувствовал себя, и только зимой мне стало лучше. С наступлением весны самочувствие мое снова ухудшилось. Порой мне так нездоровилось, что я с трудом доводил занятия до конца.

Потом последовал новый сильный приступ малярии. Три дня меня бросало то в жар, то в холод. Два дня передышки – и новая атака на трое суток. Все это время есть ничего не хотелось, только мучила жажда.

Начальник сектора навестил меня в лазарете и посоветовался с советскими и немецкими врачами. Было решено направить меня для полного выздоровления в госпиталь для военнопленных в Шую.

Таким образом, мне предстояло проститься с местами, где я два с половиной года учился и учил других. Проститься с лагерем, который стал для меня важной вехой на моем пути в новую Германию. Проститься с педагогами, которым я был так многим обязан. Проститься со слушателями, с моей семинарской группой, шестой по счету, которую я принял в новом учебном году.

И вот в начале июля 1947 года меня и еще нескольких больных слушателей на легковой машине повезли в Шую.

Под вечер мы остановились перед светлым зданием на большой площади. Приехали.

Сопровождавший нас сержант позвонил у двери. Нам открыл молодой человек в хорошо сшитом костюме из серого сукна. Это был старший санитар. Такой же пленный, как и мы. Он поздоровался с нами и распределил по комнатам. Я попал в комнату, где стояло восемь коек.

– Это наша офицерская палата, – сказал санитар. – Ваша койка у окна. Здесь все офицеры, знакомьтесь.

Более чем за три года пребывания в плену я впервые обращался к немецким военнопленным на «вы». Здесь так было принято. Здесь снова были «господин майор» и «господин капитан», а также лейтенанты и старшие лейтенанты. Правда, с моим соседом справа, лейтенантом из Саксонии, я так быстро подружился, что скоро перешел с ним на «ты».

Первые четыре недели мне предписали строгий постельный

режим. Не разрешалось даже вставать. Медицинское обслуживание здесь было превосходное. Каких только лекарств я не получал! Дважды мне делали даже переливание крови. Через пять недель я почувствовал себя значительно лучше. Постепенно начал делать прогулки и заниматься гимнастикой.

В госпитале я считался относительно легким больным. Многим больным здесь предстояли сложные операции. Советские врачи прекрасно справлялись со своими обязанностями.

У одного из слушателей, которого привезли вместе со мной, был туберкулез костей. Ему сделали операцию и давали пенициллин, который в 1947 году было очень трудно достать.

От госпиталя в Шуе осталось у меня незабываемое впечатление. Сколько доброты и заботы проявляли о нас, больных пленных, советские люди – сестры, нянечки, секретарша, переводчица и все врачи!

То, что я увидел и почувствовал здесь, в Шуе, не было повторением того, что я пережил в елабугском госпитале. Это было нечто большее. Работники госпиталя, узнав, что я и мои товарищи встали на новый путь, не просто оказывали нам медицинскую помощь. Они обращались с нами как с людьми, которых принимали за своих.

Переводчица, симпатичная, образованная женщина лет тридцати, тоже была очень любезна с нами. Когда были письма, она приносила их прямо в палату. Однажды переводчица пригласила меня и еще одного больного в городской кинотеатр, где шел какой-то фильм с участием Беньямино Джильи. Двадцатилетняя секретарша Люба достала где-то для нас мяч и сетку.

И все это было отнюдь не показное. Все это говорило о том, что меня теперь считали своим. Я стал одним из «наших», как называли меня русские. И это наполняло меня гордостью и радостью. Я не раз беседовал об этом с переводчицей.

– Я очень люблю произведения Лессинга, Гете, Шиллера и Гейне, – сказала мне однажды она. – Любила и люблю их сейчас. Когда началась война, я жила в западном районе Советского Союза. Гитлеровская армия наступала, и я упаковывала книги, чтобы отправить их в безопасное место. Но не успела. Пришлось эвакуироваться в чем была.

Так я еще раз встретился с человеком, судьба которого была бесчеловечно исковеркана гитлеровцами. Я, разумеется, понимал, что мне говорят далеко не обо всех страданиях, которые перенесли эти люди. Что я мог ей ответить? Но переводчица сама пришла мне на помощь.

– Извините, пожалуйста, – сказала она, – я понимаю, что вы

очень переживаете. Меня радует, что есть такие немцы, как вы. Такие, кто сознательно отвернулся от прошлого. И мы таких, как вы, уважаем.

– Я благодарю вас за это. Мой собственный горький опыт и поиски истины убедили меня, что здоровая национальная политика в Германии возможна лишь только в дружбе с СССР.

В госпитале в Шуе находилось пятнадцать генералов гитлеровского вермахта. Большинство из них носило военную форму. Они следили за своим здоровьем и регулярно прогуливались по госпитальному двору вдвоем или втроем. И хотя теперь они уже не пели «Хорста Всесселя», как это было в Елабуге, однако, несмотря на то, что война закончилась более чем два с половиной года назад и Германия приняла безоговорочную капитуляцию, бывшие генералы фюрера продолжали вести войну против большевиков. Многие из них твердили, что «борьба против большевизма – главная задача немецкой нации…».

Или говорили о том, что идея «создания нового порядка в Европе была правильной, только этот дилетант Гитлер…».

Или: «Читали вы книгу Нонненбрука „Новый порядок в Европе“? Она заслуживает того, чтобы ее прочитать. Автор безусловно прав. В Германии нет никаких социальных вопросов, а есть лишь национальный вопрос. Наш народ должен быть освобожден от нужды…»

«… Если бы не борьба на два фронта, мы взяли бы Москву…»

Со временем я заметил, что не все генералы вели подобные разговоры. Были и такие, которые молча отходили в сторонку. Одним из таких был генерал-майор Роске – последний командир 71-й пехотной дивизии, попавшей в сталинградский котел. Я точно не знал, какие выводы сделал он из поражения 6-й армии. Мы с ним здоровались при встрече, иногда обменивались несколькими словами, но до серьезного разговора дело не доходило.

Однажды я, к своему удивлению, заметил, что трое генералов о чем-то таинственно совещаются по-английски. Делали они это так, будто упражнялись в языке. Через несколько дней я застал их за тем же занятием. С большим трудом мне удалось понять смысл их разговора.

Эти господа мечтали о том (а было это в 1947 году), что США, используя монополию атомной бомбы, поставят Советский Союз на колени. И тогда Германия с помощью Америки вновь станет великой. Недобитые гитлеровские генералы уже сейчас учились английскому языку, чтобы лучше договориться с американскими империалистами!

Эти господа собирались спекулировать на угрозе атомной войны. Они мечтали о новом реванше, вопреки здравому смыслу. Это были неисправимые милитаристы. Глядя на них, я понял, что путь в Германии к миру будет нелегким.

Как-то вечером на прогулке у меня с соседом по палате произошел следующий разговор:

– Мы ни в коем случае не должны забывать о своей ответственности перед историей. Мы должны восстановить доброе отношение к нам со стороны других народов. Необходимо сплотить всех антифашистов и демократов для построения новой Германии.

– Что ты, собственно, понимаешь под новой Германией? – спросил меня Хельмут.

– Главное – в чьих руках в стране будет находиться власть, какой класс поведет нацию. Гибельная политика, которую вело наше правительство в годы второй мировой войны, показала, что старые государственные мужи никуда не годятся. Это значит, что буржуазия не может стоять во главе нации. Вождем нации может быть только рабочий класс.

– А что же прикажешь делать с миллионами бывших нацистов? Что будет с крестьянством, со средними слоями населения, с интеллигенцией? Я ведь сам сын крестьянина.

– Ты буквально засыпал меня вопросами. Нужно отличать преступников от тех, кто не совершал никакого преступления. Преступники должны быть строго наказаны. А заблуждающимся нужно помочь освободиться от яда нацистской пропаганды. Это положение в равной мере относится и к бывшим офицерам и солдатам вермахта.

– А что будет с сыном крестьянина?

– Трудящиеся крестьяне, так же как ремесленники и интеллигенты, – союзники рабочего класса и ни в коем случае – буржуазии.

– Скажи мне, – не отставал от меня Хельмут, – вернувшись в Германию, ты вступишь в какую-нибудь партию?

– Я твердо и окончательно решил все свои силы отдать построению новой Германии. И это я буду делать не как одиночка, а в союзе с единомышленниками. Конечно, я вступлю в партию.

– Ты вступишь в СЕПГ?

– Ты спрашиваешь так, будто экзаменуешь меня, – рассмеялся я. – Конкретно на этот вопрос я тебе сейчас не отвечу. Во всяком случае это будет национальная партия. Национальная – в том смысле, что она обеспечит рабочему классу руководящую роль в стране и дружбу с Советским Союзом.

– Ах да, чуть было не забыл, – сказал Хельмут после минутного молчания. – Меня вызывает на осмотр главврач.

– Надеюсь, он тобой доволен? Иди, не заставляй его ждать. Я еще немного погуляю. Такой хороший вечер…

Я смотрел товарищу вслед, пока он не скрылся из виду. Потом снова сел на скамейку.

На безоблачном небе появился диск луны. Луна была такой большой, что напомнила мне рисунок сына, который мне прислали в письме из дому. Нарисованная ребенком луна отбрасывала большой пучок лучей на маленький домик, стоящий под деревьями посреди цветущего луга. Сынишка при этом сказал, что он зажег над нашим домом яркий небесный фонарь, чтобы отец нашел дорогу домой и ночью.

Да, я найду дорогу домой. Я знаю теперь не только дорогу до моего дома, до родных, но и дальше – дорогу в будущее.

Теперь я знал, зачем, ради чего я живу. Я нашел путеводную нить и людей, вместе с которыми пойду по избранному пути.

Раньше мое представление о гармоничной жизни не шло дальше узкого семейного круга. Теперь же я был твердо убежден, что гармоничная жизнь отдельной личности возможна лишь в гармоничном обществе. Само общество должно поставить в центр мысли, чувства и поступки человека. В этом клич к тому, что Маркс называл самоусовершенствованием личности.

Марксизм-ленинизм указал мне дорогу. Я знал, что мне предстоит еще много трудностей. Но знал я и о том, что на этом пути встречу немало надежных друзей. С некоторыми из них я уже познакомился.

Участие в движении «Фрайес Дойчланд» показало мне, что во имя интересов нации нужно уметь отбросить все лишнее, побочное, чтобы объединиться для совместных действий. Изучение основ марксизма-ленинизма углубило мои знания и помогло мне сделать выбор.

***

В середине октября любезная переводчица сказала мне:

– Скоро вы поедете домой.

Вскоре меня вместе с группой выздоровевших пленных направили из Шуи в Иваново. Там мы сели в поезд, который увозил в Германию более тысячи военнопленных.

И вот застучали колеса вагона. Прошло почти пять лет с окружения 6-й армии под Сталинградом. Эти пять лет стали для меня и многих других пленных настоящим университетом.

Моя жизнь теперь обрела смысл. И с этим багажом я возвращался на родину.

Примечания

{1} В эмиграции товарищ Гофман жил и работал под фамилией Рот. – Прим. нем. изд.

{2} В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 260.